

СИБИРЬ

3 • 2023

362-ЛЕТИЕ
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ Г. ИРКУТСКА



120 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ
ИВАНА МОЛЧАНОВА-СИБИРСКОГО



СИБИРЬ

398/3 3.2023

Литературно-художественный
журнал писателей Восточной Сибири
Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»
Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры Иркутской области
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Иркутская хрестоматия

120 лет со дня рождения

Гавриил Кунгуров. Оранжевое солнце. *Рассказ из повествования*3

Поэзия

К 75-летию сибирского поэта

Владимир Горчаков. «Преданий горьковатый дым...» 11

Светлана Анина. «Мир любви навеки мне подарен...» 16

Наталья Добаркина. «Идёт война — в домах,умах,на улицах...» 92

Владимир Рыданных. «Родство души с душой берёз и сосен...» 100

Сергей Стахеев. «Разлилась Благодать до небес...» 111

Екатерина Громова. «Неведомым наречьем пел мой лес...» 132

Анна Ретеюм. «Изящных трав моих портреты...» 168

Проза

Николай Вяткин. Музыка воробьёв. *Повесть* 22

Юрий Харлашкин. Свинцовое небо. *Рассказы* 96

Елена Чубенко. Сережка из-под парты. *Рассказ* 106

Неизвестный Распутин

Валентина Иванова. «Судьба моя»: Светлана и Валентин Распутины 120

Ещё раз о патриотизме

Валентина Семенова. Патриотизм — это наша ответственность.

О круглом столе «Посоветуемся с Распутиным» — 2023 135

Литературная критика

Тамара Бусаргина. Аравийские свитки 146

Эдуард Анашкин. «...На распахнутом настезь просторе...» 164

Очерк и публицистика

Надежда Крупина. Ты, да я, да мы с тобой 173

Ольга Соболева. Дети и отцы 191

Книжная полка 196

Сулочка к ребру

Степан Правдорубский. Литературные пародии..... 199

Главный редактор Ю.И. БАРАНОВ

Заведующий отделом поэзии В.П. СКИФ

Заведующий отделом прозы, ответственный секретарь С.В. ЗУБАКОВА

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, Ю.И. Баранов, В.В. Козлов,
М.Т. Орлов, О.Н. Полунина, А.М. Семенов, В.Н. Хайрюзов.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Редакция оставляет за собой право принятые к печати рукописи редактировать и корректировать. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Н.О. Шильникова.

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.**

Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Адрес учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.

Телефон редакции: 8-914-92-75-720. Электронный адрес редакции: shurnal_sibir_irkutsk@mail.ru

Подписано в печать 15.06.2023 г. Выход в свет: 30.06.2023 г. Формат 70x108/16.

Усл-печ. л. 20. Тираж 1000. Цена свободная.

Издательство: ИП Лаптев А.К. Адрес издателя: 664047, ул. Трудовая, 55-51. Тел. 8 (3952) 23-38-45.

Отпечатано в типографии: ООО «Цифровик»

Адрес типографии: 664047, г. Иркутск, ул. А. Невского, 99/2

Иркутская хрестоматия



120 лет со дня рождения

ГАВРИИЛ КУНГУРОВ



Оранжевое солнце

РАССКАЗ ИЗ ПОВЕСТВОВАНИЯ

КУНГУРОВ Гавриил Филиппович — писатель, журналист, краевед, педагог, общественный деятель. Родился в 1903 г. на станции Сретенск, Забайкальской области. Участник Гражданской войны, в 17 лет ушел добровольцем в Народно-революционную армию Дальневосточной республики. В 1924 окончил Сретенскую учительскую семинарию, в 1928 — Иркутский государственный университет. Работал учителем, директором школы, возглавлял Иркутское крайоно. С 1937 работал на кафедре литературы Иркутского педагогического института. Доктор филологических наук, профессор. С 1957 по 1962 был ответственным секретарем Иркутской писательской организации. Автор публицистических и литературоведческих произведений, переводов сказок народов Севера, разнообразных по темам и жанрам художественных произведений для взрослых и детей. Среди них: Золотая степь (1958); Рассказы о людях Монголии (1958); Артамошка Лузин. Албазинская крепость (1959); Топка (1971); Оранжевое солнце (1976) и др. Является автором исследования «Сибирь и литература» — своеобразной литературной летописи дореволюционной Сибири. Произведения Г.Ф. Кунгурова переведены на болгарский, венгерский, китайский, монгольский, польский, сербский, чешский и другие языки. За книгу «Золотая степь» писатель был удостоен государственных наград Монголии. Награжден орденом «Знак Почёта» (1963). Скончался в 1981 г. в Иркутске.

Часть I

Мальчик, который умнее всех на свете

Жгучий полдень; небо голубое, стеклянной прозрачности, воздух раскален, кажется, камни дымятся; прислушайтесь: даже потрескивают. Степь — не зеленый простор, а желтое море с красноватыми и фиолетовыми отсветами. Одинокие цветы — белые, красные, фиолетовые — стоят прямо и гордо; между ними по мелкой россыпи камней — черные молнии, мелькают, вспыхивают, — это ящерицы здешних накаленных мест. А вот те полосы изумрудной зелени — степная благодать, лучшие пастбища для скота. Так пестра пригобийская степь Монголии.

Взгляните вдаль. Горы возвышаются над степью, они оторвались от нее, плывут. Всмотритесь, это не горы, это облака; они похожи то на цепи скал, то на длинный караван огромных верблюдов, то вдруг вытянутся вверх, как серые трубы заводов. А закат? Сиренево-розовый простор угасает, быстро меняя краски. За короткий миг перед глазами сменяются все оттенки радуги, охватив небосвод от края до края. Есть ли на земле что-нибудь красивее?..

Найдется ли монгол, который не знал бы в пригобийских степях пастуха госхоза Цого? Почтенный монгол, на груди у него горит орден Сухэ-Батора, передовой чабан, знаток пастушеского дела.

Посмотрите на этого прославленного арата; среди других будто бы ничем и не приметен: среднего роста, узкоплечий, тонконогий. Седые виски, жиденькие усы — мышинные хвостики, реденькая бородка пепельного цвета. Степенно-строгое лицо его с острыми скулами, обожженное солнцем, прокаленное степными ветрами, оживляли узенькие щелки глаз; в них поблескивала умная, немного насмешливая хитринка. Она всегда переменчивая; и люди привыкли, если Цого сердится, хитринки его глаз — колючки, они обжигают, отталкивают; если Цого радуется, у всех веселые лица. Синий халат старого покроя, мягкие монгольские сапоги — гутулы — неизменный наряд Цого. Никогда не растаетея он со своей гансой — трубкой с длинным чубуком. К этой трубке и к синему халату, выгоревшему на солнце, потерявшему свою яркую окраску, привыкли все; старики посмеивались: Цого и родился в этом халате с трубочкой во рту.

Все-таки была у Цого примета, дорогая для взрослых и для детей: он — прославленный на всю восточную степь сказочник.

Любил Цого ставить свою юрту на склоне горы, где-нибудь повыше. Нетрудно догадаться: поднимешься выше — вся степь перед глазами; видна не только молочно-белая полоска, манящая вдаль, но и пастбища. Выбирать их Цого умел. Крупный и мелкий скот, доверенный госхозом его юрте, радовал. Руководители госхоза, люди, знающие толк в степных делах, хвалили пастуха, отмечали его успехи грамотами, прославляли благодарностями.

— У Цого скот и летом и зимой высокого нагула, упитанный, гладкошерстный, выносливый.

Жил Цого в своей белой юрте не один. Бывало, не успеет он выбрать для юрты лучшего места, уже слышится недовольный голос Дулмы, его жены:

— Опять залез на гору, что тебе, в степи места мало? Для умных, где вода — там и юрта! Глупый лезет на гору...

Цого не уступал, жена к этому привыкла: старательно помогала ставить юрту. Дулма — хозяйка юрты, смуглолицая, в молодости красивая монголка, ловкая,

сильная. Сейчас лицо ее в морщинах, волосы с проседью. Приветливые и живые глаза, крепкие и умелые руки, легкие движения — лучшие приметы достойной подруги, помощника Цого. Каждый знает в монгольской гэр — юрте убранство, умение расставить вещи продуманы в давние времена; об этом позаботились еще деда и прадеды. У тех, кто богаче, пол застилался ширдэг — ковром из кошмы, искусно украшенной узорами; кто победнее — простым войлоком. Западная сторона юрты — для гостей, восточная — для семьи, южная — женская. У Дулмы в юрте порядок и убранство старательной хозяйки, знающей толк в вещах, которые необходимы и украшают юрту кочевника. У входа, направо, уголок хозяйки: посуда, вода в небольшой бочке, ведро, полотенце, на подвешенной кожаными тесемками полочке — продукты. Рядом два комода, причудливо расписанные монгольскими мастерами, на первом — Арслан-лев, усыпанный желтыми, красными, синими цветами, на втором — щедрая зелень степи, всадник на необъезженном скакуне, поднявшемся на дыбы. В юрте две низенькие широкие лежанки, накрытые толстой кошмой, на них шубы, одеяла, подушки. У самого входа в юрту ящик с аргалом, на колышках — уздечки, сбруя, рядом седла.

А где же скот, кто его пасет сейчас?

Есть еще три жителя белой юрты: младший сын Дорж и два внука — Гомбо и Эрдэнэ. О Дорже не надо говорить, он в юрте гость: приехал на летний отдых, учится в городе на ветеринара.

На сердце Цого незаживающий рубец, с ним он уйдет в то далекое, откуда никто не возвращается. Это гибель его старшего сына Тумура. Его знала и помнила вся степь — бесстрашный охотник, тот, что не дрогнул вступить в единоборство с кабаном — гроза всех охотников, промышляющих в болотистых лесах.

При Дулме соседи опасались и вспоминать о Тумуре — мать всюду мать... Потеря ею старшего сына и сейчас тревожит сердца всех матерей пригобийской степи.

Горько вспоминать горькое...

В старое время что имел арат Цого? Рваную юрту, десять баранов да двух колченогих верблюдов. Подрос старший сын Тумур; как-то сидели они у очага, Цого вздохнул:

— Сын мой, не могу я дать тебе ни лошади, ни коровы. Дарю ружье и лучшую охотничью собаку, кормись охотой...

Тумур летом и зимой охотился. Продавал пушнину, покупал скот. Ухаживал бережно. Скот умножался. Поставил себе юрту, женился. Жить бы Тумуру в своей юрте с женой и детьми, но кто знает, что случится завтра! Забежал в эти места неслыханной дерзости зверь. Долго рассматривали охотники отпечатки лап на сером песке; следы волчьи, но огромные, не меньше верблюжьих. Резал зверь коров, баранов, коз. Замучились араты, многие семьи бросили родные места, укочевали. Шесть волкодавов у Тумура, и за короткий срок потерял он трех. Весной случилось невиданное — погибла лучшая собака Тумура. Переполошился весь район: как мог волк, и что это за волк, если он задушил самую сильную и надежную собаку. Тумур потерял покой: «Отыщу злодея, прикончу!» Отыскал, убил, смотрел удивленный: матерый волк оказался с гривой, длинноногий, с темной окраской. Редкий гость, таких волков ни один охотник не встречал: забежал он из Гоби.

В один печальный для Тумура день, поздней весной, натолкнулся он на волчье логово. Заглянул, волчата темной окраски; засунул их в кожаный мешок, взвалил его на седло коня. Волчица не уходит далеко от своих детенышей, и, зная, как она страшна, он поспешил вскочить на коня. Из зарослей чахлового кустарника вы-

рвался гривастый матерый волк. Тумур вскинул ружье и выстрелил. Раненый зверь, оставляя кровавый след, скрылся за бугром. А за спиной охотника крадась волчица, и только он занес ногу в стремя, она, услышав писк волчат, бешеным рывком бросилась на Тумура, повалила его, смертельно вцепившись в шею, перегрызла горло.

Так погиб храбрый Тумур... В юрте его осталась жена и два маленьких сына — Гомбо и Эрдэнэ. Жена не пережила утраты, заболела и вскоре умерла. Гомбо и Эрдэнэ осиротели. Цого взял внуков в свою юрту. Дедушка верил — вырастит их лучшими пастухами, бабушка помогала ему, но хранила тайную мечту: хотелось ей внуков видеть шоферами. Не забыла, как впервые возле юрты загудела машина. Посадил ее шофер на мягкие кожаные подушки, и понеслась Дулма по степи, обгоняя ветер. Кто может забыть такое?..

...Взгляните на правый склон холма, там бродят лошади и коровы, их пасет Гомбо, на левом склоне — бараны и козы, с ними Эрдэнэ. Дорж лежит на траве, в полутени жухлого куста, читает книжку.

Гомбо и Эрдэнэ неразлучны; они и в школе учатся в одном классе. Каждый понимает, что между большими друзьями и даже братьями случаются несогласия. Гомбо твердит — он старший пастух, ему уже пятнадцать лет, Эрдэнэ — младший, ему только четырнадцать. Случается в жизни такое, что и верить не хочется, а надо. Ростом Эрдэнэ выше Гомбо; черноглазый, с медно-красными щеками, волосы торчат в разные стороны, жесткие, как сухой дерес, брови вразлет; громкоголосый — барашки пугаются; быстроногий — разве за ним угонишься; ловкий — осенний жеребенок. Ни дедушка Цого, ни бабушка Дулма и не знали, что он боролся с Гомбо, трижды повалил его на траву. Гомбо — коротышка, толстоват, лицо светлое, глаза серые; любит поспать, потянуться в тени. Взгляните на него — скот еще жадно пасется, а Гомбо торопит:

— Пора на водопой гнать. Хватит, ладно подкормились. А мы? Время и нам чаю попить, баранины поесть, отдохнуть. Устали и руки и ноги...

Эрдэнэ недоволен: еще солнце не встало на полдень, зачем тревожить скот. Братья заспорили. Из-за куста поднялся Дорж, книжку возле куста бросил, посмотрел на ручные часы:

— Рано, пусть попасутся...

Гомбо нехотя поплелся к своему стаду. Эрдэнэ понесся, прыгая, как козел.

...Залаяли собаки, на пригорке всадник, узнали — дедушка Цого. Дорж недоволен:

— Не сидится старику в юрте. Что мы, без него не справимся?

Эрдэнэ и Гомбо обрадовались: дедушка обещанное выполнит, сказку везет, больше мешка с шерстью... У них с дедушкой давнишний сговор: он рассказывает им длинную сказку, хвастался — на все лето хватит. Такая длинная сказка! Дедушка хитрее лисицы, всегда останавливается на самом интересном: не спи всю ночь, думай, и все равно никто не догадается, что в сказке случится завтра. Дедушка умнее ста верблюдов; для него сказка просто сказка, а для Гомбо и Эрдэнэ — степной ветер, который подгоняет их в спину: иди, быстрее иди! Чуть кто запрямится, дедушка щелки свои сузит, морщинами на лбу подвигает, Гомбо и Эрдэнэ настороже: засунет он руку за пазуху, вынет трубку, закурит — Гомбо и Эрдэнэ слушать приготовились. Голос у дедушки ласковый — ручей журчащий, заслушаешься.

— А курган золотой взорвался, огонь взлетел к звездам; верблюды и лошади разбежались, коровы и овцы повалились на серый песок.

Эрдэнэ не вытерпел:

— А люди, дедушка?

— Люди укочевали в Гоби, — строго посмотрел он на Эрдэнэ: не терпел, чтобы в рассказ врывались сбоку, как непрошенные гости в юрту.

Эрдэнэ хотел спросить: почему в Гоби? Гомбо дернул его за рукав.

Дедушка набил трубку табаком, синий дымок поплыл над головой, быстро поднялся.

— А хан? А жена монгола Цэнд?.. — зашумели Гомбо и Эрдэнэ.

Дедушка показал пальцем на дверцы юрты:

— Бегите, торопитесь, пора загонять овечек!

Все выбежали из юрты, даже бабушка Дулма. Она тоже любила слушать сказки. Каждый думал, вечером у очага все раскроется: наверное, злой хан убил жену монгола Цэнд?..

Дедушка спрыгнул с коня, лицо у него пасмурное. Гомбо вздохнул:

— Рассказывать не будет..

— Иди, — толкнул его в спину Эрдэнэ, — смотри, куда коровы разбрелись.

Хорошая пора после полудня. Сытые и напоенные коровы, бараны, козы лежат в тени, жуют жвачку, лошади стоят тихие, полудремят, а люди у костра. Чайник на огне бурлит, звонко крышкой играет. Дорж открыл кожаную сумку. Бабушка все приготовила, все уложила. Запахло бараниной. Дедушка ел молча, ловко отрезая ножом у самых губ кусок баранины, бросал в рот щепотку сухого творога и шумно прихлебывал из чашки чай. Вкусная еда. Красиво дедушка ел. У всех в руках ножи, всем хотелось быть похожими на него. Самый старательный Гомбо. Дедушка скосил на него щелки глаз, рассмеялся:

— Не спеши, Гомбо, баранина не сурок, в степь не убежит..

Пообедали. Пошли скот подогнали. Вернулись. Сладко лежать на горячей траве после сытной еды. Эрдэнэ к дедушке:

— Рассказывай сказку, ты обещал..

Дедушка халат распахнул, достал трубку, не успел зажечь, щелки глаз его хитро вспыхнули:

— На чем я остановился?

Эрдэнэ заторопился, вспоминая уже рассказанное:

— Мальчик играл у золотого кургана. Курган был волшебный. Кто первый за одно дыхание смог забежать на его вершину, становился самым умным на свете... Монгол Цэнд прослышал, что в одной далекой стране спрятаны драгоценные сокровища. Поехал. Пересек всю степь, в тайном углу земли нашел сокровища. Охватила его жадность. Остался он в этой стране, хотел найти еще больше богатства. Повстречался ему земляк Цолмон. Цэнд ему с поклоном: «Друг, помоги, отвези моей жене вот этот кожаный мешок. Скажи, я скоро вернусь...»

...Тяжелый мешок. В нем золотые кувшины, чаши, пояса, блюда. Увидел Цолмон, глазам своим плохо верит — такое богатство! Кое-как взвалил мешок на спину верблюда. Устали, сели на холмик отдохнуть. Поднялись, попрощались. Цолмон как старый друг подержался за халат Цэнды: «Не сомневайся, мешок отдам твоей жене, будет счастлива...» — «Вернусь, дорого заплачу тебе, юрты поставим рядом, кочевать станем вместе».

Едет Цолмон по степи, душу его, как въедливая пыль Гоби, засоряет грязное — не отдам, не отдам... Я теперь самый богатый!

С крутого холма Цолмон и рано поутру, и в полдень, и вечером при белой луне смотрел в сторону южной степи, радовался: «Не приедет! Не приедет!»

В один светлый день осени Цолмон зарезал трех баранов и жеребенка, собрал гостей — дружков ближних юрт. Пили. Ели. Хозяин юрты, кочующий у Соленого озера, обтер жирные губы полой своего шелкового халата, громкоголосо спросил: «Какой нынче праздник?»

Цолмон расхохотался: «Ветер с юга подул — не приедет!»

Гости не догадались, о чем говорил Цолмон. Вновь пили. Ели. Когда высокая луна оглядела всю степь, котлы опустели, гости, кряхтя, поднялись, поглаживая животы, туго набитые бараниной, разъехались.

Пробежали день за днем, месяц за месяцем, пришла пора, вернулся Цэнд домой. Жена встречает, видит, что на спине верблюда и поклажи нет.

«А где же, Цэнд, твоё сокровище? Искал и не нашел?» Цэнд обиделся, удивленно оглядел жену: «Цолмон увез тебе кожаный мешок, полный богатства! Где же он?» — «Глупый сурок и обманщик, никакого мешка я и не видела...»

Цэнд поспешил к Цолмону: «Где мешок?» — «Жене твоей отдал, даже спасибо не сказала...»

Цэнд выбежал из юрты Цолмона, закричал на всю степь: «Я убью ее, злодейку, куда она девала мешок! Где мое золото?!»

Эрдэнэ умолк, тронул дедушку за рукав халата:

— Ну, давай говори, дедушка. Скорее говори, где мешок? Кто обманщик?..

Трубка у дедушки погасла, валялась на траве, а он уснул. Жаль, не узнали, кто обманщик...

Эрдэнэ и Гомбо поднялись и ушли на речку. У них была своя тайна. Еще в школе сговорились они, что убегут из юрты дедушки и дойдут вон до тех гор, чуть синееющих в тонкой дымке. За горами — белое озеро. А какое оно? Надо же увидеть. День уходил за днем, а братья не спешили. Гомбо не хотел идти так далеко, можно устать, и зачем смотреть на белое озеро? Стоит ли мучить ноги? Дедушка скоро разберет юрту, будем кочевать на новое место. Может быть, к тому белому озеру. Эрдэнэ громко смеялся над Гомбо, но и сам не торопился бежать из юрты. Задерживала сказка. Кто обманщик? Где мешок с драгоценными сокровищами? Речка небольшая пробивалась через горячий песок и заросли сухого дереса. Вода коричневая, теплая. Искупались. Легли, стали смотреть в небо, белое как молоко. Слушали стрекотание кузнечиков, жужжание ос. Потом уставили глаза вдаль. Эрдэнэ поскреб ногтем лоб, думал, думал, спросил:

— До синих гор идти надо три луны, а может, и больше... Ты, Гомбо, дойдешь?

— Нет. Мои ноги не послушаются и не пойдут...

— Зачем нам мучить ноги — поймаем в табуне двух лошадей и поедем.

— Надо ли ехать? Разве тут нам плохо? Поедем, а чем будем кормиться? Где спать? Может, ты, Эрдэнэ, юрту с собой берешь?

— Дурак ты, Гомбо. Помнишь, дедушка говорил, что в степи всем хорошо. Живут тарбаганы, лисицы, дикие козы, птицы, зайцы. Проживем и мы...

— А ты, Эрдэнэ, умный? Забыл, что по степи рыщут волки, бегают шакалы, дикие кошки!..

— Не забыл. Возьмем дедушкино ружье. Сумка всегда будет у нас набита жирной едой.

Долго бы переговаривались Гомбо и Эрдэнэ, да послышался над степью сердитый голос Доржа. Еще не смолкло эхо, братья сорвались с места, побежали к своим стадам.

Вечером, усталые, вошли в юрту, сели у очага. Бабушка готовила ужин. Сидели недолго, услышали шаги дедушки. Открылась дверца юрты, показалось облако табачного дыма, а за ним и сам дедушка. Бабушка потянула носом, уловила знакомый дымок:

— Пришел коптить юрту, выбрось изо рта трубку, скоро закипит котел, будем ужинать.

Дедушка опустил на коврик, сложил ноги крестиком, услышали голос его:

— Вы догадались, кто обманщик? Куда пропал кожаный мешок с золотом? Не знаете? Тогда слушайте. Прибежал в свою юрту Цэнд, схватил нож, бросился на жену: «Я тебя, воровка, зарежу, ты украла и спрятала все мое богатство! Сознайся, где ты его закопала?.. Не родне ли своей его подарила?» Жена заплакала, закрыла лицо руками: «Успеешь меня убить, мешок мне Цолмон не давал, обманщик он, сокровища забрал себе...» — «Врешь! Все поедем к хану-повелителю, пусть рассудит!»

Узнал Цолмон, прибежал в юрту своего друга: «Возьми пять баранов, скажи: видел, отдал Цолмон золото жене Цэнды».

Дружок пять баранов взял, согласился идти свидетелем. Успел Цолмон обещать три юрты, в каждой отдал по пять баранов, стало у него три свидетеля. Едут они на лошадях, орут, чтобы все монголы слышали: «Отдал, отдал!»

Вошли во дворец хана-повелителя, еще громче закричали свидетели: «Отдал, отдал!» Хан уши заткнул: «Оглушили! Садитесь вот сюда, отвечайте: отдал Цолмон кожаный мешок жене Цэнды? Видели своими глазами? Слышали своими ушами?» — «Своими глазами видели — отдал; своими ушами слышали — сказал: «Возьми!» Взяла, от радости в новый халат небесного цвета нарядилась, угостила нас крепким кумысом...»

Жена Цэнды горько заплакала, хотела хану правду сказать, а он волчьими глазами ее обжег, ногами затопал: «Слезы притворной женщины — молоко, разбавленное грязью!»

Оправдал Цолмона, пожелал ему и дружкам его счастливо кочевать. Вышли они в обнимку, сели на коней, запели песню, в ней хвастались: всю родню соберем, зарежем сорок баранов, сорок жеребят, будем пировать десять дней и десять ночей!

Цэнд кулаки сжал, бросился на жену: «Зарежу тебя, воровка! И хан за это похвалит!..» Перепуганная жена умирать собралась. Подходит к золотому кургану, слышит голос мальчика, который умнее всех на свете: «Цолмон обманщик! Обманщик! Не верьте ему!.. Не верьте ему!..» Цолмон и его лживые дружки разъярились, как быки: «Ты, неободранный козленок, умнее хана-повелителя? Да? Он тебя обдерет, из твоей кожи черный барабан сделает, чертей из юрты выгонять!..»

Повернули в сторону юрты Цолмона, вновь запели песню. Звонкий и язвительный голос мальчика оборвал их песню: «Обманщики, сами себя опозорите! Ложь — прогорклое масло, выльется наружу!.. Хан — слепой сурок: ложь принял за правду!..»

Дедушка умолк, выбивая трубку о кончик сапога, потом оглядел своих слушателей:

— Обманщики вскоре сами себя опозорили, ложь наружу вылилась...

Все закричали, забыв о давно кипящем котле с варевом:

— Как мальчик доказал? Дорогой дедушка, расскажи!

А он вскочил со своего коврика да к котлу:

— Котел опрокинется, еда разольется... Ужинать, скорее ужинать!.. Смотрите, какая жирная баранина!

Все пододвинулись к котлу. Дулма разлила бараний бульон по чашкам. У каждого в руках жирный кусок!

Гомбо и Эрдэнэ ели, торопились, обжигая губы, даже Дулме и Доржу не терпелось, хотели и они знать, как обманщики сами себя опозорили?

Поужинали, попили чай, смотрят на дедушку просящими глазами, ждут. Он молчит. К этому привыкли, торопить его не надо. Поднялся, вышел из юрты, опять вошел, присел к очагу, закурил трубку. Все обрадовались, усы разглаживает, говорить будет. Дулма платок с ушей сбросила, чтобы не мешал ей слушать. Дедушка о сказке забыл, заговорил о другом:

— Завтра пораньше встаньте, будем перегонять скот за Желтый холм. Где ваши глаза? Почему не заботитесь: пастбища выбиты, скот худеет.

Дорж хотел отговорить перегонять скот, пастбища не выбиты, кормов много, но знал: никто не заставит отца отказаться от задуманного, такого не бывало. Терпеливо выслушали все советы и наставления: каждый понял, что ему делать завтра.

Дедушка доволен, и все услышали:

— Время спать, завтра встанем до солнца.

Первым вскочил Эрдэнэ, за ним бабушка Дулма: а сказка? Дедушка поставил чашку, Дулма наполнила ее чаем, выпил, погладил усы и бородку. Все ждут, уши наострили. Заговорил:

Мальчик, который умнее всех на свете, сидя на вершине золотого кургана, спросил дружков Цолмона, хорошо ли они разглядели богатые подарки кожаного мешка. Лжесвидетели руками замахали, орут на всю степь: «Хорошо видели! Своим глазам верим!..» Мальчик дал каждому кусок глины: «Вылепите точную форму сокровищ, если вы их так хорошо рассмотрели!»

Цэнд и Цолмон первыми принесли точные слепки форм, лжесвидетели явились мрачными под вечер. Точно вылепить ничего не смогли, сокровищ они не видели. Один дал слепок, похожий на конскую голову, второй — на баранью, третий под громкий хохот всех показал слепок-лепешку, похожую на коровий помет.

Узнал хан-повелитель, сорвался с трона, как подстреленный шакал, кликнул палачей Острые мечи, приказал схватить Цолмона и его лжесвидетелей и на глазах почтенных монголов укоротить рост каждого на одну голову...

ПОЭЗИЯ



К 75-летию сибирского поэта

ВЛАДИМИР ГОРЧАКОВ



«Преданий горьковатый дым...»

ГОРЧАКОВ Владимир Олегович родился 29 июля 1947 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. Свыше сорока лет проработал в производственном объединении «Усольмаш» станочником. Служил в рядах Советской Армии. Имеет звание «Ветеран труда». Стихи публикуются с 1965 года в заводских многотиражах, районных, областных газетах, за годы службы публиковался в армейских газетах. После демобилизации печатался в коллективных сборниках, журнале «Сибирь», в «Антологии иркутской поэзии» 2000 г. В 1994 г. в Иркутске вышла книга стихов «Пострел», там же книга стихов «Мгновения» в 2002 году, в 2008 — «Ради красного словца». В 2011 году в Иркутске стихи вошли в коллективные сборники «Бег времени. Слово о городе», «Бег времени. Автографы писателей», «Славно Россию, Иркутск и Байкал!», «Жизнь – дорога, ведущая к храму». В 2020 году опубликован сборник стихов «Основа». Награждён юбилейной медалью в честь 350-летия г. Иркутска, знаками «Победитель соцсоревнования 1974 г.», «Ударник 9-й пятилетки» и почётной грамотой комитета РФ по металлургии горно-металлургической промышленности Российской Федерации, г. Москва, и многими другими грамотами и благодарностями за многолетний добросовестный труд. Также присвоены звания «Гвардеец-2007» и «Гвардеец рабочего класса», «Отличник качества». Имеет благодарность за значительный личный вклад в развитие литературного наследия города Усолье-Сибирское. Член Союза писателей России.

* * *

Пейзажем детства давнего любуйся
(Воспринимая зрением иным...)
Ильинична — тулунская бабуся
Врачует внука молоком парным.

Застыл Дружок, «служба» на задних лапах.
Ромашковый невыразимый запах...
Поднявшаяся гомонит родня
В преддверии очередного дня.

Басит авторитетно маневровый...
Восход ошеломляюще багрян...
И к стаду приобщить свою корову
Спешит сосед по имени Демьян.

* * *

Мальчишки любят жечь костры.	И пламя, гривую играя,
В любое время дня и года	Тьму подступившую гоня,
Их гонит из дому природа.	
По первобытному мудры,	О прошлом повествует им,
	О человечьей жизни краткой.
Сидят они вокруг огня.	И щиплет им глаза украдкой
Забыта непогодь сырая,	Преданий горьковатый дым.

* * *

В пилотке, прокалённой добела,
Шинели, сапогах — служебным стрессом
Армейская весна для нас была
И наблюдала с явным интересом,

Как мы, перемогая духоту,
Маршировали споро и упрямо,
Противогаз поправив на ходу,
Равняя строй, держали спины прямо.

Зато позднее радовались мы...
И первогодков не было счастливей,
Когда, ожоги солнечные смыв,
Свежил нас душа леденистый ливень.

* * *

Шагая утром на работу,
Когда царит повсюду тишь,
Дыхание хлебозавода
Благоговейно ощутишь.

Спешу путём-дорожкой торной,
Подумывая на ходу:
«Уже печётся хлеб, который
Я обрабатывать иду».

Токарь Ганцев

Мастерам зело ругаться:
Перепаханный в земле,
Классный токарь Виктор Ганцев
Явственно навеселе.

Утром голову повинну
В цех привычно принесёт,
Где обосновался длинный,
Как и Ганцев — «ДИП-500».

Вот, сутулясь, он подходит,
Говорит наедине
Доверительно: «Володя!
Сочинил бы обо мне...

Будет жать на всю катушку —
Целен, целеустремлён:
То с него «снимали стружку»,
А теперь с детали — он.

Мол, такой я и сякой я —
И работаю, и пью...»
Трёт корявою рукою
Личность подзаросшую.

Станет лоб от пота глянец —
Не тускнеть челу вовек,
Потому что Виктор Ганцев —
Работящий человек.

Вера. Надежда. Любовь

Жене Галине

Вера и полуслепая
Не покинула доселе.
Верю, тихо засыпая, —
Завтра буду ближе к цели.

Ощущал подспудно в горе
Я её скупую ласку.

Ободрит Надежда, вторя,
Избегаючи огласку.

А Любовь — сурова: «Прежде
Самоутверждайся в деле,
Чтобы Вера и Надежда —
Основание имели».

* * *

Салют. Гулянье. День Победы.
Орденосный старичок,
Заметив, как мы оба седы,
Сказал: «Держись, фронтовичок!»

В исполненной приязни фразе,
И рубануть бы напрямик,
Мол, нет, не я — ни в коем разе,
Отец покойный — фронтовик.

Он был подслеповат, конечно,
К тому ж его в обман ввела
Моя внушительная внешность,
Но сколько подарил тепла

Отныне сердцу отзываться
Всю мне отпущенную жизнь
На тот пароль святого братства:
«Держись, фронтовичок! Держись!»

Марш

Гремит медноголосие «Славянки»...	(Оркестра духового звуки плыли
В сознании фронтовика встают	И с паровозным таяли дымком).
Российские вокзалы, полустанки —	
Пронзительный военный неуют.	О, этот марш «Прощание славянки»,
	Забравший мужа, сына и отца...
И женщины рыдающие или	Сжимающий тревогою сердца...
Слезу попридержавшие тайком...	Поныне отрезвляющий гулянки.

* * *

Благоразумие, опыт житейский	Мы из апреля не выйдем сухие —
Бескомпромиссная рушит весна.	И, почему-то, невольно смеюсь...
Я закрываю окно занавеской,	
Но и сквозь ткань проникает она.	Электризует весны возбужденье
	Город, и поле, и Ангару...
Всепобеждающая стихия.	Дом покидая, брожу целый день я,
Грязи и талого снега союз.	Душу вверяя любви и добру.

* * *

Неотвратимее бессонницы
Меня преследует бессолница.
Над головою сизым небом
Она, усталая, плывёт,
И скуки невесомый невод
Лениво лёг на небосвод.

Казалось, травы посерели,
На клёнах выцвела листва,
И даже запахи сирени
Теперь доносятся едва.
Невидимая вялость эта
Тихонько в тело проползёт
И приглушённость звука, цвета
Унынием наполнит всё.

Оцепененье. Прозябанье.
Оно заставит, ни был кто б,
Чечётку выбивать зубами,
Но солнца огненный поток

Хлестнёт. Как золото пшеницы,
Души наполнит закрома,
И станет литься, литься, литься
На кроны, травы и дома.

* * *

Е. Жилкиной

Мелькали рощи и поля,
Мосты, глухие полустанки.
Светило солнце неустанно,
С утра безжалостно паля.

Мгновенный сладостный озноб...
Неторопливо вытираю
Разгоряченный потный лоб,
Ладонь прохладная, сырая

В вагоне душном окна настезь,
Но от жары спасенья нет.
И, как о счастье, — о ненастье
На полке возмечтал сосед.

Окажется... А что потом? —
Опять возвращаются колёса...
Нас поезда по жизни носят
До главной остановки — «Дом».

Не знаю, станция какая,
А может путевой разъезд —
Журавль колодезный там есть.
Пью воду крупными глотками.

И постепенно, словно ветер,
Утихнет путешествий пыл...
И вспомню вдруг, что в кои веки
Я из колодца воду пил.

* * *

Утро дня грядущего —
Это предвкушение
Праздничного, лучшего
Замысла, свершения.

Вечер — полудрёмою...
Но томит меня
Чувство обострённое
Прожитого дня.

* * *

Не посмертная маска из гипса.
Завораживая, маня
Нефертити — царица Египта
По-лебяжьи глядит на меня.

Глубь очей заповедных, печальных,
Где мерцает таинственно Нил,
Прокалённый веками песчаник,
Словно преданный раб сохранил.

СВЕТЛАНА АНИНА



«Мир любви навеки мне подарен...»

* * *

В нескольких минутах от беды...
Сделать шаг или сойти с дороги?
Так и так рискую очень многим.
В нескольких минутах от беды...

В нескольких секундах от... себя...
В стороне стою и наблюдаю,
Как свою судьбу сейчас пытаю.
В нескольких секундах — от себя.

В нескольких мгновеньях от весны,
Что теплом играет и лучится...
Что должно случиться — пусть случится
В нескольких мгновеньях от весны.

АНИНА Светлана Брониславовна родилась в 1965 году в Казахстане. Работала на строительстве Северомуйского тоннеля, на сооружении Олимпийских объектов в Сочи, в районной газете «Муйская новь». Публиковалась в журналах «Наш современник», «Сибирь», «Аргатак-Татарстан», «Дарьял», «Северо-Муйские огни», «Доля», «Белая радуга», «Иркутский альманах», «Нижегородский альманах «Земляки»», «Сибирячок», «Книжки, нотки и игрушки для Андрюшки и Катюшки», в коллективных сборниках «Иркутск. Бег времени», «Слово о матери», «Жизнь — дорога, ведущая к храму», «Каменный цветок», «Праздник для друзей». Автор книг «Рвутся наружу крылья», «Сказка про садовника», «Я в руках его несу...». Член Союза писателей России. Живёт в Северомуйске.

* * *

Сколько не гони — я не уйду!
Мир любви навеки мне подарен.
Ты за это будь мне благодарен:
Сколько не гони — я не уйду!

Мир коварен, сложен, мягкотел,
То жесток, то милостив без меры...
Быть каким — решает только вера.
Вера — вот мерило Божьих дел.
Говорят, ты этого хотел?

Ну, тогда, я та, что — на века!
Верю в воплощенье силуэта,
Что рисую из любви и света.
Он, как призрак, видится пока

И родит отверженность и гнев —
Так я горизонты приближаю,
Всякие преграды разрушая,
Всякие суждения презрев...
Всё родит отверженность и гнев:

Власть звезды застывшего огня,
Бесприютность, глупые потери
И всю распахнутые двери —
Те, что настезь, но — внутри меня.

Только... не пытайся — не уйду!
Здесь уже хоть что-то понимаю,
Отвергаю, снова принимаю,
С каждым разом подводя черту...
Иль гореть ещё в одном аду?

Нет! Я буду мышью или слонем,
Камнем или цветком под чьим-то берцем,
Буду биться хрупким жарким сердцем,
Возродиться всхлипом или сном...

Буду! Я ведь тоже здесь творю.
Как умею. Или как придётся.
Принимаю всё, что мне даётся,
Всё, о чём с тобою говорю
И за что тебя благодарю.

«Доброжелателям»

Заходите в открытые двери!
Я не прячусь! Я здесь — на свету!
Но... не верю, я больше не верю
В вашу искренность и доброту.

Не по росту кафтанчик... Я знаю.
Но не знаю: велик или мал,
То ли ада ведёт воля злая,
То ль Господь эту долю мне дал.

Разберусь, может, поздно иль рано.
Ну, а нет — так не велено знать!
Но оружием вашим не стану!
Мне ещё перед Богом стоять...

* * *

А может, это просто не моё?
Да точно — не моё! Я это знаю.
Зачем чужое место занимаю?
Зачем дразню вражьё и вороньё?

Лихая! Или глупая. Как знать.
А всё же что-то видится большое
За участью отсутствия покоя
И жаждой необъятное объять.

Оно ещё бесплотно и — вдали,
И долгим ожиданьем душу ранит,
Но, как благое всё на свете, манит,
Зовёт на край земли, за край земли

И дальше — за пределы бытия,
Где торжество возносит в царство звонниц.
И — вновь к истокам маетных бессонниц —
На круги неизменные своя.

* * *

И вот она — весна!
Проталины на склонах.
И первая волна игривая в крови.
И искорки в глазах, впервые опалённых
Огнём большой любви. Огнём большой любви...

И где-то там — война.
А он в ней — просто воин.
На тающем снегу его нечёткий след.
Мир празднует весну и может быть спокоен:
Он держит автомат в руке, а не букет.

Да, всё живёт весной.
Не усидеть на месте.
Так хочется дышать и думать... о живом!
Но ласточкой домой летит, летит груз двести,
Все краски бытия перечеркнув крылом.

* * *

Миролюбивая, порою даже слишком,
Но нет, не слабая, — за то прости, братишка!
Словцом отборным поносящая подонка,
Но не молчащая, — за то прости, сестрёнка!

Душой влюблённая в неповторимость мира,
Само смирение, покой, мечта и лира,
Но если выпорхнет из сердца слово «Надо!»,
За то прости, в дороге всякая преграда!

* * *

Стук сердца «на грани фола» —	Кому по колено море,
Болезненна слов избыток.	По горло любовь кому-то.
Зачем человеку голод?	
Понять что такое сытость?	Бессмысленные качели.
	Сие бытие двояко.
Зачем человеку горе?	Уйти бы на самом деле,
Чтоб счастья ценить минуту?	Да хочется жить, однако.

* * *

Обмануть меня не сложно —	Сердцу не противоречит
То победа не большая.	Переменчивость такая.
Что правдиво и что ложно —	
Что даётся, то вкушаю.	Я боюсь, что в мутном стоке
	Дам такой беде случиться:
Мир такой: то чёт, то нечет,	В человеческом пороке —
То смеётся, то рыдает.	Просмотрю добра частицу.

* * *

День прошёл, а покоя нет:
Всё ли сделано так, как надо?
В мыслях жалоб чужих тирада.
В полночь в комнате тусклый свет.

Где-то в будущем город-сад,
Улыбающиеся люди...
Да, конечно, всё это будет!
Не бывает пути назад!

И не спится, и проку чуть
От похода к столу с дивана.
К заповедной мечте желанной
Оказался нелёгким путь:

Месяц в небе, как тот оскал...
Боже, я о другом просила!
Только... может быть, в том и сила —
Подниматься... когда упал.

* * *

Надо брать от мира лучшее
Из того, что есть сейчас.
Я такая же заблудшая,
Как и тысячи из нас.

Забываю откровение:
Мир зеркален. Не любя,
Наблюдаю в отражении
Неприглядную себя.

* * *

Море истин испито до донца.
Спор о сути — бессмысленный спор.
Для кого-то и лампочка — солнце,
И горящая спичка — костёр.

* * *

За облаками —
Наш вечный дом.
Он не дряхлеет,
Не копит пыли.
А мы не помним
С тобой о том,
Какими раньше
Когда-то были.

Мне б только верить,
Что всё не зря.
Одаришь взглядом —
Уж я и рада,
Ведь в каждом взгляде,
По сути, — я!
А мне иного
Не много надо:

А здесь сегодня —
Всё суета.
Но — хризантемы
В кульке бумажном.
Мне ближе белый —
В нём все цвета.
А что за праздник —
Не так уж важно.

Дойти до дома,
Обнять кота,
Придумать песню
И стать счастливой,
Поняв, что это
И есть мечта —
Любить любимых
И жить красиво!

* * *

Когда б я не привитою была —
Любя живое, жертвовать собой
И поклоняться сущности любой,
Не наделённой речью, как сама,
Являющейся признаком ума
В среде людей, — я б на Земле жила?

Жила бы, вознеся себя над всем,
Что Бог как испытание даёт,
Даруя на пути то мёд, то гнёт,
Над всем, чему неведомы слова,
Что под ногами — палая трава,
Не знающая — скошена зачем?

Дана ль нам сила равное вершить
Тому, что с миром делает Господь?
Подвластна ль нам родная наша плоть?
А можем ли мы словом воскресить?
Увы! Не нам решать — как в мире жить.
Мы вправе выбирать — кому служить.



НИКОЛАЙ ВЯТКИН



Музыка воробьёв

ПОВЕСТЬ

1

За окном моросило. Мелкий такой весенний дождик, больше похожий на туман, от этого городок был серым и оцепеневшим, призрачным.

Я наблюдал за стайкой воробьёв, они почему-то не улетали, не прятались где-нибудь под крышами домов: мокли на проводах. Странно — это так естественно под шифером на чердаке пережидать непогоду, а вот сидят на проводах, мокнут, и не чирикают. Довольно точно картина эта напоминала ноты на линейках

ВЯТКИН Николай Юрьевич — поэт, прозаик, музыкант. Родился в 1968 в г. Алзаймай Иркутской области. Работал на студии кинохроники в Иркутске, учился на филологическом факультете в Красноярском и Иркутском университетах. Окончил литературный институт им. Горького. Член Союза писателей России с 2001 г. Автор сборников стихов: «Река, впадающая в небо» (1994), «Рябиновый дождь» (2000), «Голосом ветра» (2007). Публиковался в журналах «Наш современник», «Москва», «Сибирь», «Первоцвет», в поэтических сборниках и антологиях. Лауреат конференции «Молодость. Творчество. Современность» (1991); участник Семинара молодых писателей России (1997), Форума молодых писателей России (2001). В 2003 г. с женой Еленой Вяткиной организовал семейный ансамбль «Рябиновый дождь», который становился лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов. Живет в г. Сергиев Посад — Иркутск.

и столбы, как тактовые чёрточки (бесконечная музыка, в духе оглохшего Бетховена). Они ведь действительно никогда не кончаются, эти провода со столбами и птицами, так я думал, и в этот момент в дверь постучали. Негромко так, почти скребясь. За дверью был Алишер с черным пакетом в руке, я впустил его в квартиру.

— Ну как ты тут? — Спросил Алишер, упираясь в меня взглядом карих глаз и вытаскивая из заляпанных свежей грязью кроссовок — асфальт у нас только вокруг пятиэтажек.

— В Багдаде всё спокойно.

— А мы вот сейчас дернем чуток, за встречу, — сказал он, и прошёл в комнату, где деловито извлёк из этого минималевического квадрата и выставил на стол три бутылки пива.

Пока я ходил на кухню за стаканами и соображал, чем можно было бы закусить (в пустом холодильнике лежала солёная селёдина, поблескивая стальным боком), Алишер уже устроился в кресле по-турецки и пил прямо из горлышка. На столе кроме пива появились пачка чипсов и крабовая соломка. Я прихватил бутылку, эту гранату для желудка, она была холодной как лед: «Живица» — было выведено жирным чёрным курсивом на оранжевой этикетке.

Усевшись в кресле, я налил себе стакан золотистого, с пузырьками, пива и выпил несколько глотков. Взял в руки гусли и начал потихоньку извлекать звуки, похожие на редкие капли.

— Это самое лучшее здесь пиво, — сказал Алишер. — Я специально за ним в дальний магазин занырнул. Я там девкам в прошлое воскресенье прокладки менял, и с трубами у них тоже проблема была, а сейчас вот отовариваюсь бесплатно.

— С трубами? — Спросил я, меня смутила двусмысленность.

— Да прогнили все, повозиться пришлось в туалете, а девки хорошие, не сдают меня моей Татьяне Владимировне.

Конечно же, и как я забыл?! Алишер в нашем околотке важный человек: он же сантехник, а это, начиная с водопровода, сработанного, как сказал поэт, ещё рабами Рима, — специфическая должность, сродни, может, врачу или священнику. Врачу доверяют болячки тела, священнику болячки души, а сантехнику интимные уголки быта, и поэтому он в некотором смысле вездесущ. Взять хотя бы наши три дома, пятиэтажки, желтая, синяя и зелёная, на окраине городка, Пятаки, как их называют местные жители, здесь в каждой квартире рано или поздно что-нибудь происходит, то кран капает, то батарею менять надо. Так что имеют с ним дела женщины одинокие и не очень: «Алишерчик, я унитаз новый купила, пришёл бы ты посмотреть, а я в долгу не останусь». «Ладно, зарулю после работы» и, конечно, пока устанавливает этот белоснежный унитаз, или меняет какую-нибудь штучку убитую на запаску, наслушается всего, исповеди примет и тайны узнает. Я думаю, нет тут угла, в этих Пятаках, в котором он не побывал, да и в этой квартире, у матушки моей покойной, он тоже к сантехнике руку приложил — батареи новые и титан над ванной монтировал.

Так я размышлял, слушал и одновременно поигрывал на своих гусельках, извлекая легкие, чуть диссонлирующие звуки.

— Красиво звучит, — сказал Алишер, поёрзав в кресле. — А что за инструмент такой?

— Гусли.

— Никогда не видел.

— Да и не мудрено, — сказал я. — О них забыли.

Я, не оставляя игру правой рукой, левой нежно провёл по золотистой деке, напоминающей изгиб девичьей коленки.

— Забыли напрочь. А на них ещё библейский царь Давид играл, и купец Садко водяного развлекал. Но ты, в своём подвале жековском, понятно, о них не слышал.

— Нет, не слышал. Телек там стоит. Но их не показывают, — медленно произнес Алишер, не отводя взгляда от инструмента.

— А где ты их откопал?

— Сам сделал.

— Охреть как круто, — сказал он и, чуть придвинувшись, принялся разглядывать сияющий лаком инструмент. Я предложил ему взять гусельки, пощипать струны, но он, мотнув курчавой седой головой, сказал:

— Играй, так хорошо звучит, прямо сердце шевелится.

Я был рад, что он оценил мою страсть: я сам делал эти инструменты, гусли, играл на них и учил играть других. У этой страсти моей есть, конечно, своя история, в которой я в своё время, как Алишер, замороженно смотрел на деревянное крыло, а Андрей Байкалец, сидя на парапете, сыпал в ангарскую воду серебро звуков. Был ослепительный августовский день. Легкие белые облака плыли над горным хребтом, и вся жизнь, казалось, будет такой же прекрасной, как этот день.

— Алишер, ты всюду вхож, — неожиданно сказал я. — В любую квартиру можешь войти, батарею, допустим, потрогать.

— Ну да, если нужно.

— Да нет. Ты и для профилактики можешь, незвано, так сказать.

— А какой вопрос? — поднял он чёрные брови, мелко наморщив лоб.

— Да есть у меня мысль, я тебе попозже озвучу, — сказал я.

У меня действительно была некоторая идея. С самого приезда, с середины января я жил в каком-то полусне, придавленный стихией обстоятельств, а теперь весной, в мае, начал как бы просыпаться вместе со всей природой. Меня интересовал один человек, одна особа, женщина молодая и красивая, по моим расчётам это должно быть именно так. Она жила где-то здесь, в каком-то из наших домов, и я даже знал, как её зовут. И Алишер мог мне помочь — я пока не представлял, чем, но то, что он в Пятаках всем свой — было то, что нужно. А дело было деликатное. Собственно, поэтому я последнее время высматривал его из окна.

Алишер был, как бы это точно сказать, надёжным человеком. Я знал его ещё с мутных девяностых, когда он отбывал срок в наших краях и обдeldывал какие-то делишки с моими старшими братьями. И по какой-то мистической возможности или непостижимой случайности именно он в последние их дни был с ними. И, конечно, Алишер хранил в памяти какие-то подробности, важные для меня. Но самое главное, что нас связывало, было то, что он спас мне жизнь.

Это была давнишняя, глупая история, и он о ней не помнил, но я, понятное дело, не забыл тот апрельский день, мутную воду реки, скользкие брёвна и коряги залама, в котором я провалился и тонул.

Мы тогда шли на другую сторону городка и решили не тратить время: до моста было пару километров, а здесь готовая стихийная переправа. Алишер, ловко размахивая руками, уже перескочил по залому на ту сторону реки, и уже прикуривал там сигарету, прячась в куртку от ветра, а подо мной бревно вертанулось, и я ушёл в воду. В бездонную ледяную муть. Держался двумя руками за скользкую кору бревна, брызги пенной воды били мне в затылок, а течение пыталось меня

утащить под залом, вытягивая мои ноги в резиновых сапогах. Бревно прокручивалось, я перехватывался, впиваясь ногтями в кору, и уже хлебнул воды, и чувствовал, что силы меня оставляют. Алишер вернулся и, прямо с сигаретой в зубах, как-то помог выбраться. Хотя утонуть было — раз плюнуть: мы оба были навеселе, и в половодье пробраться по залому могли только такие чудики как мы.

Так что встретиться с Алишером мне было особенно приятно. Я давно его не видел, несколько лет, и здесь, в городке, я с января, но что-то он мне на глаза особо не попадался — один раз только мы столкнулись на улице в жутко морозный вечер у его подвала, он спешил с чёрным пакетом в руке. Я его за рукав пуховика придержал, он был весь в инее: капюшон, брови, ресницы, и что-то мямлил под нос.

— Алишер, ты что это от меня скрываешься? — спросил я.

— Полста, прикинь, полста, — сказал он, мигая пьяными глазами.

— Ты о чём?

— Пятьдесят градусов на термометре. Хочешь выпить? Пойдем, там мужики ждут.

— Нет. — сказал я.

И он пропал за стальной дверью подвала.

Да и мне было не до него, у меня умирала мать. Я полностью был в себе и рядом с ней, и потому почти не в этом мире. Больше с Алишером мы не встречались — только в окне мелькнул он несколько раз сутулой тенью.

Сейчас, когда он сидел совсем близко в кресле, я видел, что он сильно постарел, в волосах клочьями седина, а морщины на смуглом лице говорят, что хозяин этого лица живет в состоянии удивления, что он ещё жив. В общем, лицо его мне напомнило маску на здании иркутского театра — маска, на которой рот широко открыт, а уголки губ опущены вниз. Если бы к алишеровой башке, к его черным седеющим кудрям приставить рожки, то он походил бы на чёрта, не на страшного, а так, на забавного, но в том-то и дело, что рожек у него не было!

— Слушай, я с Нисанной так и не смог попрощаться, — сказал Алишер, словно уловил ход моей мысли. — Вышел из подвала, когда гроб во дворе стоял, и всё. Смотри, сколько людей пришло, все её любили, Нисанну, — это так он называл мою маму, Нину Александровну.

— Да, провожал народ, — сказал я.

Гусли лежали у меня на коленях, музыка из пальцев, блуждающих по струнам, стала сочиться грустью, напоминая реквием.

— А дубак какой был! — Воскликнул Алишер, и тут же изо рта у него раздался звук, похожий на приглушенный волчий вой.

Я вспомнил тот февральский ледяной день с тусклым солнцем, как я ехал в машине под брезентовым тентом, сидя на лавке. В кузове под этим ветхим, с дырочками, брезентом — только я и гроб на еловых ветках. Изящный гроб под розовое дерево, сделанный не мной, хотя я всерьёз об этом думал, а где-то там, где их научились делать легко и быстро, и она, мать, в этом гробу — скрещенные на белом покрывале руки, такие родные. И лицо — совсем не то, какое было, когда она навсегда уходила от меня со словами: как хочется спать. Тогда, в тот миг её лицо было умиротворённое, разлучающееся с болью, — я видел, как она улыбнулась мне в последний раз, и в голубых глазах её уже не было слёз. А здесь — после морга, словно тело чувствует, что с ним делают, когда его оставляет душа.

Прошло три месяца, я в этой квартире совершенно один, здесь редко кто бывает. Я читаю и слушаю классику, немного что-то сочиняю, играю на гусях, полу-

чается музыка в стиле фьюжн, — это помогает мне справиться с волнами грусти, а они накатывают и накатывают, как океан, который может и ласкать песок берега, и рвать с корнями его деревья. Я играю, и океан успокаивается, и сейчас, глядя на мамины комнатные цветы, особенно на лилию — она распустилась слегка сияющим белым бутонем — я чувствую её присутствие, впрочем, это же её комната, её квартира.

— Ну, как там, Никола, Москва? — спросил Алишер. — Ты же там теперь, Нисанна говорила.

Я поставил стакан на стол, глядя, как на пиве не исчезает, словно мыльная, пена, и сказал:

— Да. Там у меня всё как-то сложилось. А вообще я в Подмоскowie живу, в городке одном тихом.

— Всё одно — в тех краях. Там и потеплей, наверно, погода, чем у нас в Сибири.

— На месяц раньше, чем здесь, весна наступает. Там сейчас уже всё цветёт — яблони, вишни.

— А народ? Как там народ-то живёт?

— Да так, как везде, — сказал я, а сам подумал, что сразу так вот и не ответишь на такой вопрос. Допустим, Москва для москвичей кончается за МКАДом, так говорят, но я встречал и центровых, которые влачат своё жалкое существование после смерти родителей, сдавая их квартиру, а в своей гордо тоскуя по какой-то настоящей работе, при этом, как перец в спирт, погружены в состояние хронического алкоголизма. Музыканты или инженеры, неважно, это особое положение, когда ты можешь не работать и жить на деньги, вырученные со сдачи квартиры. Но в целом Москва спешит: на работу или к близким людям, или на свидание или, надо же, на митинги. Москвича можно узнать по энергичной походке и по модному прикиду.

— А я ведь там был, когда с химии домой возвращался, — сказал Алишер с интонацией в сипловатом голосе: вот, мол, и мы даём стране угля! — Специально зарулил на один день. Меня чуть в метро не раздавили.

— Это ты в час пик попал, а теперь там вообще столпотворение, и вашего брата, узбека, полно, — сказал я.

— Я не узбек, Никола, я — иранец. У меня дед с Ирана в Джамбул как специалист по нефти приехал, а я видишь, сюда добрался, сибиряком уже стал полностью.

Было забавно слышать это — Никола, как будто я снова вернулся в детство, там у всех были какие-то клички, или какая-нибудь изощрённая форма от имени. Был у нас и Тикака — ловкий, но трусливый парень. Я благодаря этому белобрысому бесу, не знаю, как его иначе назвать, научился бегать, как гепард, и лазить по деревьям, как обезьяна! Умел он издали рожу корчить, а она у него редкая была, с широким ртом и плоским носом, а может, он её и не корчил. А как поймает его, так он на колени падает, лысую голову руками закрывает и вопит: прости засранца. Ну и как его бить?

Да, прозвище — это судьба! Так уж повелось, если ты был, допустим, лет в девять Чабаном, это из детства дружок мой цыганистый, то, скорее всего, ты и в пятьдесят им останешься, хотя бы даже за глаза: живёшь-то здесь, в городке, среди людей, которые знают тебя как облупленного, и твои знакомые взрослеют и старятся вместе с тобой, для них ты всё тот же Чабан или Тикака. Я же просквозил

разные сферы жизнедеятельности и всяких людей повидал, и поэтому, если это не идёт вразрез с личными моими, глубинными, так сказать, убеждениями, легко могу подстроиться под любой разговор:

— Слушай, а я вот не догоняю, зачем ты вернулся? Срок же отмотал. Говоришь, в столице даже отметился. Остался бы в своём Джамбуле, вот там-то точно тепло! И фрукты-овощи всякие, и травки-муравки.

— Не ждали там меня, — сказал Алишер и как-то подозрительно зубасто усмехнулся, а глаза его карие, я понял, и вправду не раскосые, а большие и печальные, как у исконных жителей Междуречья.

Он уже прикончил бутылку, и, взяв со стола полный высокий стакан,пил цивильно.

— Не ждали там меня, — повторил он и, помолчав, добавил: — А здесь вот, жена моя, Татьяна Владимировна. Дети уже выросли. Я, может, ещё вернусь туда, мне ж четыре женщины по религии положено.

— Ну да, положено, — сказал я, поигрывая на гусельках. — Вот только их надо одевать, там, кормить вкусно, а то пожалуются мулле, что ты их держишь в чёрном теле. И главное, ко всем надо относиться одинаково, чтоб у одной не было больше, чем у другой, иначе будут проблемы, и здесь, и там, — я посмотрел на потолок, оклеенный пенопластовой узорной плиткой. — Потянешь ты четырёх?

На столе в спящем режиме стоял ноутбук, не убирая гуслей, я набрал в Яндексе «Женщины мусульманина. Форум», и сразу вышел лучший ответ:

— Пророк — да благословит его Аллах, — произнёс я внушительным голосом, — предупредил: «Кто имеет двух жён и отдаёт предпочтение одной из них перед другой, тот в День воскресения подвергнется суровой каре».

Я взял со стола стакан с пивом, ещё отхлебнул и закинул в рот сухое солонатовое крабовое мясо. Алишер, вытянув шею, заворуженно некоторое время смотрел на экран ноута и вдруг засмеялся, как киноактер, блестя всеми зубами, отвалился в кресло и сказал:

— Ладно, мне моей Татьяны Владимировны хватит, так её много — куда ни сунешься — везде она!

Я знал его жену — очень крупная тетка! Она тоже иногда проходит деловой походкой мимо моего окна. В моё окно можно рано или поздно увидеть любого обитателя Пятаков, потому что напротив стоит сооружённый из избы и выкрашенный в какой-то невысказанно бирюзовый цвет, с решётками на окнах, магазин «Скорпион». Несмотря на то, что в округе развелось еще несколько магазинчиков, в этот, как в бывшее сельпо, жители Пятаков ходят все. И ещё в моё окно видно, как каждое утро ровно в 8.00 к магазину подъезжает белый микроавтобус и куда-то забирает женщин, несколько из них совсем молоденькие.

Вдруг Алишер, продолжая смеяться, хотя смех этот больше походил на хныканье, спросил:

— Никола, а как ты думаешь, допустит нас Боженька в Рай, ну, таких?

Я посмотрел на него, на его лицо, изжёванное морщинами, и на миг внутренне смутился: так искренне, блестя карими глазами, он смотрел на меня.

Можно ли вообще на это ответить — задумался я на минуту. Вспомнилась одна старая знакомая, с сединой в платочке, которая как-то при встрече сказала мне, что, мол, местечко в Раю она себе точно заслужила: столько лет на клиросе в храме пела!

Отложив гусли, я встал с кресла, подошёл к окну и, глядя на воробьёв, мокнувших на проводах, сказал:

— Алишер, брат, ты век свой в дерьме людском по уши, неужели ты думаешь, этого не видят? Наверняка там, в небесной канцелярии для тебя подыщут более интересную работу, за твою, скажем так, добросовестность, но с гуриями обломись. Яблок будет навалом, а с гуриями, — я развел огорченно руками.

— А че за гурии-то? — спросил Алишер.

— Не слышал про них ничего?

Я вернулся к столу, опять набрал в поисковике и зачитал то, что вышло:

«Полногрудые райские гурии имеют белоснежную кожу, а белки их больших глаз резко контрастируют с чернотой зрачка. Эти прекрасные черноокие девы живут в шатрах в тени роскошных и вечно зеленеющих садов и покоятся на драгоценных коврах, на приподнятых ложах. В Коране сказано, что они подобны скрытым в раковине жемчужинам. Их не касался ни человек, ни джинн, к каждому утру они становятся вновь девственницами».

Алишер очень внимательно слушал, не мигая, и я продолжил, сокращая текст, почти уже от себя тем же внушительным голосом:

— Правда там и жены появляются омоложенные и очищенные, мужа любящие сверстницы, а в целом на одного правоверного приходится до семидесяти гурий.

Наступила тишина. Слышно было, как Алишер сглотнул слюну.

— Ты же правоверный? — спросил я.

— Ну, да, только я и Пасху отмечаю.

— Правоверный православный получается, ладно, там разберутся.

Алишер опять рассмеялся, сияя зубами, и сказал:

— Да моя Татьяна Владимировна, если там появится, всех разгонит!

Вот она гремучая связь неба и земли! Мы наделяем потустороннюю жизнь чертами нашей повседневности, и чем проще человек, тем примитивнее его представление о том, что будет за порогом смерти: яблоки и девицы, а главное — не работать, не добывать ежедневно этот хлеб насущный в поте лица, отдохнуть, а чем мотивировать женщин? Возможностью попасть в Рай рядом со своим мужиком, уже, может, по горло надоевшим своими выкрутасами? Только любовь может всё изменить, а где её взять, любовь?

Я глядывался в лицо Алишера, в улыбку эту ослепительную: что-то было не так, и вдруг понял, что изменилось, и спросил:

— Слушай, а где твои фиксы? У тебя же были фиксы, ты ещё говорил, что это платиновые, что из кольца матери тебе какой-то лагерный умелец забабахал.

Алишер сразу погрузился, сошёл, как говорится, с лица, хлебнул пива и выдохнул:

— Нехорошее дело... Меня пьяного сын ударил, и все передние зубы одним махом выбил, а это протез у меня, дорогой, зараза.

Он ногтем постучал по блеснувшим резцам.

— А я уже думал, что ты такими красивыми бутылки открываешь, — сказал я.

— Нет, — мотнул он курчавой седой головой, — и вытащил из кармана складной нож с русалкой на рукоятке, у которой вместо грудей торчали янтарные камушки — этот нож когда-то ему на день рождения подарил я.

— Надо же, сохранил, — сказал я потрясённо.

— Вещь! — воскликнул Алишер.

В пиве ничего живого я не обнаружил, пена так и не исчезла, и поэтому я потягивал его, не смакуя, припоминая присказку: немцы пьют пиво, когда пена осядет, а русские её сдувают. А мы, сибиряки, и так, и так можем.

Алишер поёрзал в кресле на скрещенных ногах и достал откуда-то из заднего кармана джинсов портсигар. Я уже сто лет не видел таких вещей: портсигар был алюминиевый и слегка помятый, а внутри него, прижатые бельевой резинкой, лежали три папиросы, несколько сигарет и зажигалка. И папирос я тоже уже сто лет не курил.

— Ну как, дунем? — Спросил он и постучал гильзой по портсигару.

— Я, пожалуй, не откажусь, — сказал я.

Алишер прикурил папиросу и почти сразу протянул её мне. Я крепко затянулся, задержал дыхание и выпустил облачко сиреневого дыма на люстру и увидел в её стеклянной чаше маленькую сухую бабочку. Запах дыма каким-то странным образом напомнил вкус земляники. Ещё пару раз затянулся, и хотел было вернуть папиросу Алишеру, но он замахал в мою сторону смуглой ладонью.

— Давай, добивай. Я, видишь, когда бухаю, почти не курю. Только вот сигареты.

— А ты что, бухаешь? — Спросил я, и во рту у меня мгновенно пересохло.

— Неделю уже, — сказал он, вытаскивая из портсигара сигарету.

— Понятно, — сказал я, — пойдем тогда на балкон, а то надымим здесь окончательно.

Мы вышли на застеклённый балкон, который стал временно моей мастерской, на верстаке лежали голые, без морилки и лака, гусли — в них ещё предстояло вдохнуть жизнь: натянуть струны и извлечь звук.

Мельчайший дождик всё накрапывал, и воробьи всё так же сидели на про водах, но я заметил, что их стало больше, видимо прилетела ещё одна стайка, добавив нот в эту заоконную партитуру, а небо на нашем краю городка было уже не плотно серым, а посветлело и слегка засеребрилось. Я распахнул окно, и в этот момент, не знаю, откуда она взялась, как будто из-под земли, прямо перед балконом возникла жена Алишера.

Когда-то это была хрупкая, помню, девочка Танька, с песочными глазами козы, то бишь с сумасшедшинкой во взгляде, в платьице выцветшем и стоптанных сандаликах. Бегала по нашей Белой Ограде, крутила скакалку, играла с подружками в классики. Со временем Танька превратилась в гром-бабу.

И сейчас она, Татьяна Владимировна, стояла на асфальте в черных сапогах и тёмной куртке, с мокрыми плечами, как монумент самой себе. Крупные руки и ноги. Выдающаяся грудь. Мало того, монумент этот начал расти, подниматься над землёй, и всё же из него проглядывала та наивная девчонка Танька — уже совсем близко были песочные её глаза, расширенные от гнева, и веснушки на круглом лице.

Мы как замороженные смотрели на неё в открытое окно балкона. Алишер беззвучно открывал и закрывал рот, как рыба клоун, на губе болталась прилипшая сигарета, я улыбался, наверно слегка глупо, а она, Татьяна Владимировна, разрубая ладонью воздух, кричала в наши лица:

— Алишер, ты же сказал, что в подвал пошёл, а сам здесь!

Алишер прихватил сигарету губами, прикурил, выпустил дым и сказал:

— Я и так иду в подвал. На секунду зашёл, вот Николу проведать.

— Тебе в ЖЭКе такого пистона вставят, что ж..а порвется! Топит же всё. По колено воды уже!

Алишер, свесившись головой, медленно сплюнул с балкона, обернулся ко мне и сказал:

— Пойду, а то ворвётся сюда со скандалом.

— Да ладно.

— Я тебе точно говорю, у неё ума хватит.

Он затянулся несколько раз, уничтожив сигарету, метнулся к двери и уже оттуда крикнул:

— А ты знаешь, в вашем доме сейчас, в подвале, потоп. Полезу, откачивать же надо.

Я ещё посмотрел свысока на уходящий живой монумент и подумал: «Вот она какая стала, эта Танька, матёрая и зубастая. Она у них там в ЖЭКе за бригадира, мужичками командует: сантехником, дворником, ещё кем-то, потому что мужички-то все пьющие».

У двери, когда Алишер уже оделся и втиснулся в кроссовки, я спросил:

— Ты, наверно, знаешь Аню? Симпатичная такая, русая. Здесь где-то в Пятаках живёт.

— А здесь две. Одна в магазине мясном работает, а другая там, на Большом Перекрёстке — от «Скорпиона» утром на микроавтобусе уезжает, — сказал он, и я закрыл за ним дверь.

Я вернулся на балкон; в открытое окно вливалась весенняя сырость, улица снова была пуста — на тёмном асфальте только мерцающие лужицы. В пальцах у меня была папироса, оставленная Алишером на чёрный день, я положил её в шкатулку, в которой уже лежал коробок спичек с изображением Садко.

2

На верстаке меня ждали гусли, белели боками. До сумерек я не спеша помыл и поладил на первый слой оба инструмента. Одни под красное дерево, другие стали чёрными — вот что сделала эбеновая морилка. И всё время размышлял, как бы быстрее встретиться с Аней.

В магазине «Деревенское мясо» я был недавно, действительно, там за прилавком женщина, молодая ещё, ярко покрашенная, но это не она, не та Аня. Той сейчас не больше тридцати, и глаза у неё зелёные, как зацветающие в тайге озёрца.

Почему-то мне очень захотелось её увидеть, до нетерпения, какая она стала и почему здесь живет, в городке? Работает кем-то на Большом Перекрёстке, место такое, благоустроенное на трассе, где останавливаются дальнобойщики — кафе там у них, номера и даже сауна. В любом случае это совсем не то, чего она хотела, о чём мечтала, когда мы встречались в последний раз — очень давно. Она тогда только поступила в университет и что-то тайно сочиняла.

Помню, мы как-то оказались с братцем Андрюхой в домике на берегу реки, где они, Аня с матерью, обитали. Домик на отшибе, вокруг — сосны, какие вырастают только на открытых местах — ветвистые, раскидистые; болотце с черной водой и цветами, яркими как желтки. Хуторок. Они жили там всё лето, возились со своим огородиком, а осенью возвращались в Пятаки. Андрюха жил неподалёку, поэтому мы, видимо, и зашли по-соседски.

Да, мы проходили мимо — купаться на реку, и в открытой калитке мелькнула Аня. А мать её в рабочем синем халате колдовала над парником в глубине огорода, и она заметила нас, выпрямилась, и, глядя из-под ладони в нашу сторону, крикнула: «Идите в дом, Андрей, поговорить надо. Анята, налей им пока чайку, я сейчас

подойду». Братец мой (надо сказать, выглядел он слегка странно из-за непомерно большой головы с залысинами и пушком чёрных волос) заулыбался и замотал этой своей головой, и мы вошли в дом, чистенький, с полосатыми тряпичными половиками, обставленный скромной мебелью.

Прелестная, как нимфа, иначе, правда, не скажешь, в джинсовой юбчонке сильно выше коленок и розовой блузке, Аня угостила нас чаем и каким-то самостряпанным печеньем. Я как будто только сейчас её увидел, до этого она как-то не выделялась из детворы хуторка. Мы сидели в кухоньке, в прохладе и сумраке, и лучи солнца упирались в слегка потертую чистенькую клеёнку на столе, а в крестовине окна был виден песчаный берег реки с ивами.

Пришла её мать, быстрая, с нервными чертами лица, и странным каким-то цепляющимся взглядом чёрных глаз, и они с моим братцем принялись обсуждать, как скосить траву вдоль забора, не обрезав при этом кусты смородины — Андрей помогал им по-соседски: сарай строил или колол дрова, теперь нужно было косить. Они так увлеклись, что перестали нас замечать, а потом вообще встали и ушли куда-то во двор, и там растаяли их голоса.

Я остался с Аней наедине. Сначала молча пили чай, и было слышно, как овод гудит и бьётся в стекло, и вдруг мы стали говорить о литературе, о любимых поэтах. Как будто продолжился задушевный разговор старых знакомых. Это было так неожиданно, так здорово! Кажется, я спросил, на какой факультет она поступила, и она ответила, что хотела на филфак, но мать настояла на экономический. И здесь, конечно же, я был на своём коньке. А она оказалась такой умницей, такой начитанной, и, как выяснилось, сама сочиняла, но никому не показывала. Я попросил её что-нибудь прочесть, но она наотрез отказалась, смутилась. Даже пятна алые выступили на щеках, а в зеленоватых, с янтарём, глазах стоял упрёк.

— Я никому не читаю, они слишком личные, — сказала она.

— А разве может быть иначе? Это же откровения, — сказал я.

— Вот именно!

— Но мы зачем-то их записываем, исправляем, доводим до относительного совершенства. Для чего всё это?

Я отступать не собирался, вслух вспомнил пару своих стихотворений, выпил вторую чашку чая, съел несколько печенюшек с корицей и изюмом, нахваливая их необыкновенный вкус, и всё-таки упросил её почитать хотя бы несколько строк.

Она ушла в комнату на минуту, которая растянулась так, что я успел погрузиться в размышления, как эта маленькая нескладная девчонка, которую я иногда видел, приходя сюда, на этот край городка в гости к брату, превратилась в такое обворожительное существо! Я открыл форточку и выпустил овода на волю. Аня вернулась, взглянула на меня так, словно говоря: может не надо? Сосредоточенная, присела у стола и расправила на плечах розовую блузку.

Я скрывал улыбку за чашечкой чая, а она сидела на табуретке, русоволосая девочка, держала в руках кожаный чёрный блокнот и почти шёпотом читала, это были верлибры о любви и одиночестве, наивные и чистые. Я помню начало одного из них:

*Солнце, как букет одуванчиков,
но обжигает ладони...*

И в этой атмосфере возникли голоса, женский и мужской:

— До конца забора. И смородину не пошинкуй. Она, вишь, в траве вся порозрелась.

— Козе понятно.

Это был день Ивана Купалы, и мы уже втроём пошли купаться на речку. Мы с Андрюхой по очереди прыгали с нырялки, с опасной скользкой доски, в омут, а Аня, гибкая, загорелая, в красных трусиках и лифчике бултыхалась на мелководье.

Потом она лежала на песке, как смуглая морская звезда, раскинув руки и ноги с прозрачными волосками на икрах, и капельки воды с её кожи слизывало солнце. Я лежал рядом, и совсем близко были пальчики её ног с алыми ноготками.

Всё у неё было для полнокровной жизни: юность, красота и образование, которое она получала в университете. Собственно, я и не вспоминал о ней, но совсем недавно встретил на улице её мать, превратившуюся в старушку с нервным лицом и ещё более странным взглядом, словно она видела в воздухе невидимых мух и следила за их полетом. От неё я узнал, что учебу Аня бросила, вышла замуж, а год назад вернулась сюда, в городок, с маленькой дочкой — это всё, что я узнал: не такие уж мы были друзья, чтобы спрашивать подробно.

Так я думал, вспоминал и смотрел на край заката, видимый из окна, на изгибающую улицу и тополя, почерневшие, с набухшими почками, на столбы с проводами и птичками на них. Птички иногда слетали на землю поодиночке и россыпью, словно передо мной открывался следующий нотный лист. И вдруг я услышал музыку. Музыка воробьев: она была еле уловимая, почти прозрачная, но она входила в меня, в моё сознание, и я слышал в ней нежный гимн, воспевающий пробудившуюся природу.

3

На следующий день, когда распогодилось, я решил прогуляться. Зачехлил гусли, такая вот у меня привычка, не могу без их гуда, поэтому и сделал их легкими, как бабочка, и звонкими, как серебряные колокольчики, надел свою кожаную коричневую куртку и вышел на улицу. Обогнул зарешеченный, сливающийся с небом бирюзовой стеной магазин «Скорпион», и шагнул в разлом высокого забора.

По сгоревшему леспромхозу, по чёрной дороге, мимо скрюченных от пожара, уже распиливаемых на металл кранов, мимо гниющих бесконечных брёвен и тёмных отвалов опилок я двинулся напрямик в сторону, где жил когда-то мой двоюродный брат Андрей.

Горькое зрелище наш леспромхоз, насколько глаз хватает, и даже белые облака и весеннее солнышко между ними не унимают, не успокаивают тревожного чувства в груди. А самое бессмысленное заключается в том, что отсюда ничего нельзя брать, можно только украсть, даже эти горы гниющей древесины нельзя с лёгким сердцем растащить на дрова, только ночью, тайком, государственное же имущество. И это в избуном печном городке, где нищие люди, старики, ломают голову, как выписать на последние копейки машину дров. Андрюха, братец мой, с женой всегда были этим озабочены: такой вот маразм в океане сибирской тайги.

Я вышел из леспромхоза через разбитые ворота и, свернув к ивняку, пошёл своей дорогой вдоль разлившейся, с алмазными осколками льда, пенящейся речки. Отец мой, оставивший нас, стал ювелиром, и при встрече, когда я уже в армии отслужил, он показал мне в производственной мастерской коллекцию камней — это были алмазы, сияющие краями и негранёные. Весенний лед на реке, с множеством сосулек и кристаллов, очень напоминал ту миниатюрную коллекцию.

Шагая по тропе вдоль реки, я через полчаса был уже на хуторке. Это крайняя улица, у леса, там всего несколько домов, и не в ряд, а разбросаны в сосняке. Вот на отшибе усадьба: калитка с железным кольцом, а за ней изба: сколько себя помню, она всё такая же, с резными наличниками и берёзой в палисаднике. Берёза теперь уже высокая, поднялась над крышей, разрисовала небо графикой ветвей, а ведь я когда-то, шпанцом, обломил веточку с её макушки, так меня за это ругали!

Какие-то люди, не старые, видимо муж и жена, в чёрно-белом, прошли мимо меня к калитке, я сказал им, что здесь жил мой брат. Они равнодушно посмотрели на меня, ничего не сказали и, звякнув железным кольцом калитки, вошли в дом.

В дом над речкой.

Навсегда в нем стены с голубой извёсткой, старинные часы с боем и причудливая печь, на верху которой я с братьями легко умещался на бараньих шкурах.

Бывало здесь весело: мы копались на чердаке в старинных вещах, играли в прятки, или ещё что-то придумывали. Только и звучало: а давайте! А с каким удовольствием мы срывали в огороде с парника огромные пупырчатые огурцы, выскребали сердцевину, наливали туда мёд и смаковали, валяясь на сеновале.

Здесь они, старшие братья мои, на спор выпивали стаканами козьё молоко, кто больше, тот первый катается на мотоцикле, старинном приземистом, сером от времени Иж-56. И плавать я научился в этом рукаве речки, меня просто взяли за ноги и за руки два моих старших, загорелых, чернобровых братца, и кинули в омут. Я выгребал так, что вылетел из воды сухой доской, и по-собачьи погреб к берегу. И на этом же берегу мы с Андреем, годы спустя, читали вслух толстую книгу с крестом на обложке, пытаюсь понять, что такое истина, и это были драгоценные минуты жизни.

Памятью Андрей обладал потрясающей: легко мог пересказывать любой прочитанный текст. Откроет наугад на середине книги, прочитает страницу, и слово в слово проговаривает. Глаза у него были огромные, почти чёрные с золотистыми прожилками, и между ними небольшой острый носик, и когда он говорил о чём-то, удивившем его, глаза эти, широко поставленные, как две планеты, сияли на скуластом лице. У японцев он, наверно, был бы даже красив: он сам говорил, шутя, что в нём обитает дух самурая.

Действительно, он был бесстрашен, и я был этому не раз свидетелем: вся школа сбегалась посмотреть, как Андрюха бьётся с таким же, как он, сильным и смелым парнем. Драки у нас были делом обыкновенным, у меня самого кулаки не раз чесались, но эти бились по несколько дней кряду, на больших переменах, ещё и специально надевая кирзовые сапоги.

Помню, за спортзалом нашим в соснячке, когда драка кончилась, и все уже разбежались, одни мы с ним остались. У Андрюхи синяк в пол-лица, губы разбитые в крови и нога прихрамывает, а он говорит: ничего, мол, завтра последний бой.

Всегда у него было пограничное что-то, впрочем, у него и справка, кажется, со временем какая-то появилась.

Куда-то он всё время уезжал, приезжал в бархатных штанах и, наконец, женился на Светке, ему уже за тридцать перевалило, а она на тот момент совсем малолетка была — чернявенькая хохотушка.

Здесь, в этой избе, они со Светкой и зажили, и родился у них сынок, всем на удивление с глазами-васильками, — в деда, в честь него и назвали Михаилом. Потом ещё детей наплодили, корова у них была, куры, собака на привязи, и вот пришло лихо. Лихо!

Я прямо вижу это существо страшное одноглазое, с космами седыми, в рубахе, которое к их крайней у леса избе тропку набило. Ссориться начали, что называется, кровь пить и мозги выедать. А если серьёзно, то самогончка их погубила. Андрей пил, и Светка стала в рюмочку заглядывать. Синька. Она источник беды! И Светка сбежала с детьми в снежную январскую ночь, а в избе полный шалман начался: пьяные приятели и бессмысленные разборки.

И здесь же в хлеву, как они по старинке называли сарай, крытый лиственничной дранкой, Андрюха и повесился, или повесили его: в белой рубахе и в чёрных бархатных штанах, с петлёй на шее, с переломанным носом, на цыпочках стоял на земляном полу, и табуретка рядом валялась.

Я двинулся от этой, ставшей чужой избы по тропинке вдоль болотца с тёмной гладью воды и сухими камышами.

Хуторок слегка изменился: всюду росли молодые сосенки, словно несколько огромных раскидистых деревьев с медными стволами решили обзавестись собственным леском. Жёлтая песчаная тропа петляла меж стволов. Удивительно, здесь был когда-то покос, и вот уже почти сосновый бор намечается! Слизнет стихия наш городок с поверхности земли, и на этом месте леса зашумят. Вокруг городка много деревень было, а теперь идёшь по старому бору, выходишь в заросли молодые и натыкаешься на пасущуюся, как динозавр, чёрную печь, с трубой как шей, задранной к небу.

Я вышел к домику Ани, постоял, сознательно, изучая огонёк волнения в себе, даже под мышками вспотело, и медленно прошёл мимо калитки. За дощатым забором от движения мелькали только мокрые кусты — никого там не было видно, а в домик зайти, так вот запросто, я не решился.

Я прошёл по берегу до места, где когда-то была нырляка — её теперь не было, как не было и старой неохватной сосны, остался только пень. Усевшись на пень, я расчихлил гусли и заиграл. Шумела пенная река, неся обломки льда, и звуки струн моих гуселек скользили по воде.

Возвращаясь, я шёл мимо Белой ограды, где осталось моё детство, и мне больно было на неё смотреть: дома облупились, и кое-где были выбиты стекла. Люди переехали из неблагоустроенного жилья в избы с огородиками. Но в нашей квартире, в том окне, где когда-то была моя комната, светилась кружевная занавеска, и я знал, кто там жил: мать Димона, местного баяниста, с которым мы репетировали, готовили маленький концерт.

Я был сначала удивлён, когда узнал, что там живёт именно она, но потом сопоставил кое-какие моменты и, как мистик, вывел, что иначе и быть не могло: любила она в юности моего брата Сергея. И звали её Надежда. Я подошёл к дому, поднялся на второй этаж по деревянной лестнице, и постучал в дверь, на которой всё так же висел металлический почтовый ящик, в который уже никогда для меня не опустят письма. Дверь открыла улыбчивая, с каштановой шевелюрой женщина в цветастом халате, и сразу меня узнала.

— Домой пришёл, — сказала она. Вокруг светло-карих глаз её лучились морщинки.

— Кажется, да, — сказал я.

Очутиться в комнате, в которой когда-то я с братом обитал, значит пережить очень сложное чувство. Когда-то это была и спальня, и мастерская: такой бывал кавардак! Под кроватями лежали запчасти от мопедов, шкафы завалены вещами, на столе гора книг, шахматная доска и множество мелких предметов. На подокон-

нике сохнет герань, едва успев расцвести розовыми цветочками, и мама, молодая, строго говорит:

— Так, друзья мои, сегодня вы гулять не пойдёте, пока не приберётесь в комнате.

И мы начинали прибираться, Серёга летал как метеор, что-то раскладывал, подметал, вытирал, а я медленно увязал в своём угловом пенале среди встречающихся забытых вещичек.

Брат был старше меня на четыре года, поэтому он был круче в четыре раза! В этом нежном возрасте преимущества каждого года выглядят очевидно. За что бы мы ни брались вместе — он был первым. И мы с ним боролись, точнее он меня истязал, мял как плюшевую игрушку: ничего не мог я противопоставить в свои, допустим, девять лет, ему, уже посматривающему на девчонок. Потом мы стояли у зеркала, я отражался растрёпанным и красным, а он, и вправду невероятно какой-то красивый в эти мгновения, с крыльями бровей и синими большими глазами на правильном лице, на котором нос был ещё идеально прямым. И из улыбки, за которой блестели зубы, лилось: смотри, какие мы разные, а ведь родные братья.

Но обиды мои улетучивались легко, потому что радости было больше. Ведь на улице мой старший брат был моей неприступной крепостью! А в Белую ограду стекались мальчишки отовсюду, и мы бились на деревянных мечах, играли в палки-банки, сталкивались на крышах сараев или просто дрались на кулаках. Я всегда чувствовал его поддержку, впрочем, как и сейчас. А когда ему исполнилось четырнадцать, он уехал поступать в речное училище, в далёкий северный город, хотя хотел в авиацию, но не прошёл медкомиссию из-за сломанного носа. Вот они, драки за школой! Но тельняшка и клёши сделали свое романтическое дело, и в нашем доме, когда он приезжал на побывку, появлялись новые слова: камбуз, галюнь, кают-компания.

И комната снова была на двоих. И теперь в ней были только душевные разговоры, только тепло близких душ! Но он приезжал всё реже, оставаясь работать на кораблях, поэтому в комнате всё постепенно расставилось, как было удобней мне.

Сейчас комната была неузнаваема: у окна, где стоял диван, теперь стол, а в углу, где стоял шкаф, разместились буфет и раковина. Такая вот у них получилась кухня из скорлупки моего детства. Собственно, знакомы были только стены с пилястрами под потолком. Но теперь на стенах вместо известки были светлые обои с кошечками, чашечками, тортками.

Забавно, но только я знал, что в углу под железной решёткой вентиляции, если выкрутить шурупы, можно обнаружить коробочку из-под монпансье, а в ней мой пуп. Пуповина. Когда-то мать, достав из комода шкатулку, в которой много ещё чего лежало, показала мне эту маленькую скрюченную козявку, и сказала:

— Мы были, сынок, одним целым, связанные этой штучкой.

— А зачем нас развязали? — Спросил я, глядя на сушёный клочок плоти со следами зелёнки и понимая, что она для меня имеет какое-то значение, хотя я был мал, а она невзрачна.

И потом, оставаясь дома один, я иногда, раскладывая любимые, или странные артефакты, например, выкидной нож с обломанным кончиком лезвия, который сделал мой отец, старинную золотую монету, подаренную мне на день рождения братцем Андреем, и за которую ему дома потом чуть, как говорится, башку не снесли, и многое другое, что могло бы иметь ценность для начинающего алхимика. И бывало, что я доставал из комода эту козявку-пуповину. А однажды я просто

взял и спрятал этот мумифицированный фрагмент нашего с мамой единого тела в это надёжное место под решётчку вентиляции, на этом закончилось моё детство.

Мы разговаривали с Надеждой, вспоминали маму и Сергея, пили чай с малиновым вареньем, я смотрел из окна на почти не изменившийся пейзаж.

*Двухэтажки белостенны,
лиственницы и вокзал
в ожиданье перемены
той, что вечер предсказал.
Щурится белками окон
озабоченно вокруг
водокачка — башня, кокон,
каменная как испуг.*

Да, в этой комнате я обрёл свой голос и превратил её в кабинет с небольшим количеством вещей и предметов. Письменный стол, стул, книжная полка и диван. Что-то ещё, конечно, было, но минимализм был доведён до разумной педантичности.

Я смотрел из окна родного дома и не мог насмотреться на железную дорогу с запутавшимся в паутине проводов солнцем, с вагонами в тупике, на виадук и вокзал с новой крышей, покрытой синей металлочерепицей, и вдруг понял, чего не хватает в этом пейзаже — тополей!

Не было двух старых тополей, украшавших привокзальную площадь. Их спилили. Стали падать, обламываясь на ветру, их огромные ветви на крыши домов, и вместо того, чтобы подрезать как-то, подровнять, подстричь этих великанов, их спилили. А были они в три обхвата: я с братьями раскидывал руки вокруг их гигантских стволов и прижимался щекой к влажной коре.

Тополя эти были неприступны — я один мог на них залезть, возможно потому, что я родился в год обезьяны и интуитивно чувствовал, что эту природу надо развивать.

Я снимал кеды и медленно взбирался по чёрной отвесной стене дерева, цепляясь, впиваясь пальцами рук и ног в трещины коры до первой ветки, толстой как нога слона. На ней можно было передохнуть, глянуть вниз, в лица пацанов взглядом победителя, и снова вверх!

Дальше начинались сучья и ветки, редкие сначала, но было за что ухватиться, и уже скоро мальчишки, с задранными к небу головами, оказывались совсем маленькими и неинтересными. А вид на городок был потрясающий, и по-настоящему с высоты птичьего полёта. И птицы летали и пели в небе и в зелёном море листьев. Я забывал там время, и когда спускался, внизу никого не было, только мои кеды валялись на примятой траве.

Им было больше ста лет, этим тополям, и посажены были они при открытии станции, и, возможно, царственной рукой.

Допив чай, я поднялся и сказал:

— Почему-то упорно верится, что всё будет как надо!

— Да, — сказала Надежда, и тряхнула каштановой шевелюрой, в проборе которой лежала седина. — Ты заходи ещё.

— Мы с твоим Димкой концерт готовим в память о моей маме, — сказал я.

— Я знаю. Приду, — сказала она. — Я так любила Нину Александровну.

Это была чистая правда, она ведь была её ученицей.

Я вышел во двор. Влажный ветер коснулся щеки. В пустой детской площадке

сновали воробьи: слетали с дерева и что-то находили, подпрыгивая, на земле и снова взлетали. Они чирикали, они пели! И я понял, почему воробьи не прятались под крышами в дождь, мокли на проводах: они дождались червячков!

Что это, моя Белая Ограда? Двухэтажные, когда-то золотистые кирпичные дома, стоящие по ходу шахматного коня, слегка покосившиеся сараи, огородики и церковь. И вокруг пока еще безлистые, углём вписанные в синеву неба деревья.

Я зашел в церковь. В нашу, домовую, как сам про себя называю этот храм без купола, но с крестом: так уж получилось, слегка по-протестантски. Шла вечерняя служба: две бабульки и странный человек в сером пиджаке, на котором были нацеплены значки и медальки, сидели на лавке в пахнущем ладаном сумраке. С клироса, из-за деревянной перегородочки шёпотом доносилось: Господи, помилуй...

Разливался сладковатый запах ладана, и даже был виден голубоватый дымок — видимо, только что хорошо покадили, мерцали лампы перед иконами, но свечей горело только две. Одна пред Богородицей, а другая перед Распятием. Я поставил третью перед святителем Пантелеймоном.

Это дом моего брата Сергея, его, как он говорил, когда вернулся в городок, последний якорь. Дом этот относился к Белой Ограде, но стоял особняком, там когда-то была столярка. Потом он опустел, долго был заброшенным, и Сергей, заработав на лесе, его купил. Огромное кирпичное строение с железной крышей и большими окнами во все стороны городка. Крышу выкрасили в бордовый цвет и побелили стены. И внутри любовно всё устраивали, чтобы жить долго и счастливо всей семьёй, даже камин там был в просторном зале, я сам его штукатурил. Уже намечалось новоселье, но случилась беда.

Поистине, что-то неземное в Сергее было: и от ангела, и от демона, и судьба ему выпала, в которой испытаний хватило бы на троих. Отрочество в тельняшке с полувоенной муштрой. Юность, закончившаяся дизбатом. Молодость с тюрьмой и большими деньгами. И сверкнула своим смертельным жалом игла. И его не стало.

По горькому какому-то совпадению в это же самое время в городке недавно отстроенная церквушка сгорела — это было как знамение, и мы, посовещавшись семьей, отдали свежевыбеленный дом наш кирпичный бесприютным прихожанам. И сразу же на нем возник деревянный крест. Храм «Взыскание погибших».

Однажды на литургии я взглянул на икону святителя Пантелеймона, и морозец прошёлся по позвоночнику: в безбородом синеглазом лице я увидел родные черты. Это был он, мой родной любимый брат. Точнее и нельзя было бы изобразить. Я даже маме, когда аргументировал важность её похода в церковь, говорил:

— Увидишь там икону, справа от алтаря. Вглядишься, будешь потрясена.

И она увидела и поставила свечу, а так сложно было переступить ей этот порог: для неё это был дом сына.

Давно это было, в прошлом тысячелетии, а три месяца назад, в ледяной февральский день, в этих белых стенах здесь же её, маму, и отпевали. Она лежала в розовом гробу, в одежде, которую сама себе приготовила, но даже подкрашенные губы не оживляли её лица.

Должно быть, первый раз в этом храме было так много людей — все, соприкоснувшиеся с ней в жизни, кто смог прийти и проводить, хрустя ледяной крошкой, в последний путь свою Нину Александровну. Учителя и ученики, молодые и уже поседевшие, с блестящими от слёз глазами. Была Зинаида Гавриловна, почти столетняя старушка, когда-то директриса школы, в которой мама начинала преподавать физику. Лёгкая, седенькая, и впрямь божий одуванчик с золо-

тыми капельками в ушах и ветхой шубейке. Был Иван Тимофеич, военрук нашей школы, старик с твёрдым взглядом чёрных глаз — в гражданском сером костюме и с бородой я его не сразу узнал.

Были и те, кого я не помнил или видел впервые, они подходили ко гробу, который стоял на деревянных лакированных табуретах в центре храма, и меня потрясала их скорбь о моей маме. Я не знал их имен, но они становились в этот миг мне близкими.

Была Лариса, вдова моего брата, с дочкой Настей — две черноглазые красавицы в дорогих шубках — песцовой и соболевой. Они приехали из Иркутска в день похорон и сразу пришли в церковь. Мы даже ещё не успели поговорить, обнялись, обменялись взглядами, полными грусти.

Была и моя Элеонора Печальная, так я про себя называю свою жену, только про себя, потому что ей это не очень нравится. В русской шали и коричневом с кружевами траурном платье, которое, я знал, она сшила сама. Она приехала, узнав, что я забрал маму из больницы, и помогала мне во всём. А мы ведь почти год с ней не виделись, обитали-работали в разных местах, епитимия такая, самоналоженная, за абсурдность жизни. Всё, казалось бы, бездна. Ан нет. Сумела же мать, уже у гроба, нас примирить словами: и чего вам не живётся?

Эти слова мать, лёжа на диване с высокой подушкой под головой, произнесла насколько смогла громко в ясное январское утро. Она так и сказала: и чего вам не живётся! Самое время пылинки друг с друга сдувать. Здоровые же ещё, красивые. Давайте уже, поймите наконец друг друга. А главное, что-нибудь делайте вместе. Кроме детей ещё что-нибудь! — И долго так на нас смотрела голубыми глазами, словно в первый раз видела. И мы, до этого что-то шёпотом выяснявшие, замолчали и задумались. А через несколько дней мамы не стало.

А когда отпевали её, мы с Элеонорой Печальной поняли, как много людей её любило! Это же не артисты. Они плакали по-настоящему. И мы с ней тоже — одними слезами.

Многие, я думаю, тогда, в тот ледяной февральский день, в первый раз вошли в храм, мимо которого годы ходили мимо, и были, наверно, удивлены, что так много людей собралось. Я видел это по лицам. Иван Тимофеич, допустим, глядя на иконы, сказал: все же я сюда прибыл!

Я смотрел на этих людей и понимал, что боялся этого момента всю жизнь, и он наступил, мамы больше нет, я сам закрыл ей глаза. Но наравне с тоской, действительно острой как нож, добирающийся до сердца, меня не покидало ощущение её присутствия — очень двойственное чувство.

А потом я ехал в машине под брезентовым тентом, сидя на деревянной лавке наедине с гробом. Бросал на дорогу пихтовые ветки и искусственные цветы, и чувствовал, как отовсюду меня пытается достать мороз — сквозь мои осенние ботинки и не очень утеплённую куртку.

До кладбища на машине нужно было ехать, огибая весь городок, а для людей путь был другой, покороче — через виадук над железной дорогой.

От церкви до развилки машина ехала совсем тихо, за ней шли люди, и смотрели на меня и на гроб, на его тёмно-розовый торец. Я видел их лица, пар из приоткрытых ртов и волосы, покрывающиеся изморозью. Сначала шелест и стук шагов чётко влетались в шум мотора, но у поворота на большую дорогу они стали отставать, и вот уже на опустевшем гололёде оставались только пихтовые ветки и цветочки, желтые и красные.

А сейчас в этом храме на вечерней службе две бабульки и этот постаревший ребёнок, юродивый, в пиджаке, украшенном чужими наградами и значками — там и пионерский, и комсомольский, и турист СССР, и медаль за взятие Берлина.

Маринка, моя вечная соседка, потому что мы жили рядом в Белой Ограде, она теперь тоже в Пятаках обитает, здесь на клиросе петь стала. Вот никогда бы не подумал, а случилось! Одедась во всё темное, платок повязала и потихоньку втянулась в службу.

А священник молодой, но такой благообразный, черноокий, с крупным носом, с блестящими как дёготь усами и бородой, в чёрно-оранжевой рясе новенькой немного на жука-могильщика похож. Откуда-то с Приднестровья они: матушка его, в платье тёмном строгом, такая серьёзная, до морщинки меж бровей, тут же на клиросе с Маринкой в унисон поёт, малец с машинкой игрушечной на ковре у алтаря возится. Да вот людей на службе почти нет, не натоптали дорожку к храму, а в тот памятный день, когда отпевали мать, здесь ступить негде было, люди даже на улице, на снегу стояли — вот ведь какое дело, даже в гробу она что-то заорганизовала!

Я подошёл к деревянной лакированной решётке клироса, там Маринка старательно пела мимо нот Херувимскую, но меня это не раздражало, наоборот умиляло: её глаза сияли. Так, видимо, её радовало это пение.

Я стал молиться. Молил Господа моего, чтобы исправилась молитва моя. За семью свою, рассыпавшуюся по лицу земли. За всех кого обидел словом, делом и помышлением. Так молился, что, когда прислонился к стоящей перед алтарём иконе Всех Святых горячим лбом, холод стекла ледяными молниями пронзил тучу мозга.

Священник вышел исповедовать, к аналою подошла бабулька в выцветшем плаще и сером платке, потом подошла другая бабулька. Станный человек с седыми висками, с детским выражением лица, поднялся, одёрнул свой украшенный значками и медалями пиджак и снова сел, вцепившись в лавку пальцами. И стал раскачиваться, глядя на меня. В сумраке был непонятен цвет его широко раскрытых маленьких глаз, но в них плясали огоньки. Я тоже подошёл с исповедью и, глядя на распятие, тихонько выдохнул:

— Пил, курил, рукоблудствовал... каюсь.

— Аминь. — Услышал я над собой высокий голос.

И на мой затылок опустилась тяжёлая от руки священника, расшитая золотом епитрахиль.

Какое-то время спустя, уже открыв дверь храма, чтобы выйти, я вдруг услышал, как тишина за спиной треснула отчетливым шёпотом: его подменили. Душа оглянулась: странный человек, юрод, сидел, вцепившись в лавку, но уже не раскачиваясь, и слегка косил глазками в мою сторону. Сумрак в углах, мерцанье лампад и свечей, две бабульки и закрытый алтарь.

Я шёл домой и думал о словах этого человека. Кого подменили и зачем? Но я чувствовал, что в чём-то он прав.

4

С того дня, как я прилетел из Москвы и забрал мать из больницы, чтобы самому ухаживать за ней, и потом проводить её туда, в кладбищенский зимний сосновый бор, прошло уже немало времени — май наступил.

Денег не было. Я оторвался от привычной московской жизни, где научился-таки зарабатывать, поверил в себя, распушился и взял кредит в банке на своё дельце гусельное, на станочки. А теперь зарабатывать возможности не было, дельце пока особо дохода не приносило, и из банка ежедневно долбали звонками, угрожали, что выставят счет на всю сумму. Весело живём, и где я им сразу триста тысяч возьму? Поэтому пришлось включить режим выживания.

Алишер принес мне мешок картошки. Река наша по-весеннему разлилась, какое-то подполье затопило водой, и Алишер с хозяином поднимал картошку наверх, в сарай, сушили её там пушкой, закончили почти ночью, умаялись.

И вот Алишер принес на своей сутулой спине мешок, поставил его у двери, передохнул в кресле минуту, и, уже будучи поддатым, смотался за самогоном. Я достал из холодильника солёную селёдину — почистил, порезал и выложил в хрустальную рыбницу, а картошечку пожарил с лучком на чугунной сковороде.

Алишер вернулся с бутылём, выпил за разговором несколько рюмок, едва закусил, сполз с кресла, как сущность без костей, и отрубился прямо на полу, на коричневом шерстяном коврикe. Осталось подсунуть ему под голову подушку и накрыть спящего, скрюченного, пледом: заработал и поделился, я об этом его не просил. Се — человек.

Налив себе рюмку прозрачного напитка и поддев вилкой жирную дольку селёдки, я мысленно произнес тост: «За тех, кто знает, кому что надо»!

На часах — золотой ключик с выцветшим циферблатом, часики моего детства — стрелки показывали полночь.

Я выпил рюмку, поморщившись, и вдруг стал вспоминать, как в Иркутске, в нашем Клубе Литераторов, куда как-то зашёл в надежде перехватить у кого-нибудь деньжат, получил хороший урок смирения, давно это было, но торчит занозой в нервной плоти памяти.

Полоса жизни тогда не лучшая была, можно сказать даже ниже плинтуса. Конец тысячелетия. Курс на оголтелый капитализм. Я ушёл из конторы, которая занималась евроремонтами, потому что нагло не платили, а жёнка моя, Элеонора Печальная, только что родила ещё одно дитё, и снимал я с семьёй своей, внезапно разросшейся, квартирушку без телефона. На той стороне Ангары, в девятиэтажном доме на горе, двушку на последнем этаже. Два окна выходили на лес, и меня угнетали его скорбное молчание и траур ветвей в сугробах, но третье, большое окно, как третий глаз, смотрело на город. Город на реке.

*Наверняка в один из октябрей
мы встретимся на шатком перекрестке,
в том сквере, где шуга на Ангаре
и ветер в лица ледяной и хлесткий.*

Мир был как на ладони — стальная сабля реки в ножнах каменного парапета. Строгая шеренга лиственниц и тополей вдоль берега. Старинные дома, по-питерски, но лилипутски меньше, поэтому трогательней, и растущие железобетонные грибы-высотки, сверкающие окнами и плавящиеся на солнце. Мост через реку, и на холме, на изумительно белом первом снегу в кольце чёрных деревьев видна была церковь с голубыми маковками — там я крестился. Очень хорошо из окна все просматривалось, и даже наш Клуб Литераторов, старинный купеческий особняк, если присмотреться из-под ладони, было видно: в яблочке города на скрещенье улиц — Горького и Разина.

Мобильных ещё не было, или только появлялись огромные такие трубы с антеннами, поэтому многое делалось ногами, на авось и по-достоевски: вдруг, вдруг, вдруг. Я уже всё утро мотался по городу в поисках денег: был у приятелей-художников на улице Уткина, но там, кроме удручающей картины пьянства, ничего не нашёл. Был в конторе, в которой проработал даром три месяца: опять сказали, что возможно на следующей неделе, и плевать им, что у меня дома дети, которых надо кормить, и жёнка грустная.

Я зашёл в Клуб Литераторов, в наш особняк со львами на фронтонах, поднялся по широкой мраморной лестнице на второй этаж, русочубый, в светлом пальто отразился в высоченном зеркале и уселся за шахматной доской.

Откуда-то издалека возник и стал приближаться стук каблучков — Людмила, секретарша, в тёмном платье с кружевами прошла мимо, тряхнув рыжими кудрями и вытянув кровавые губки. И снова тишина. Сложные были у нас с ней отношения, и меньше всего мне хотелось бы, чтобы она знала о моей ситуации.

С полчаса я сидел в кожаном креслице, сам с собой мат Легалья разыгрывал, прикидывал, как вывернуться, детей накормить, Элеонору Печальную побаловать конфетами «Мечта» — она почему-то обожает эту дешёвую карамель, которую сейчас не в каждом магазине-то еще найдёшь — из детства эта святая привычка. И вот этот Неупокоев, как чёрт, возник на паркете в центре зала с высоким дубовым потолком. В черном пальто, и шапочка на голове вязаная, тоже черная.

Занятный персонаж в писательской среде, он утверждал, что в вампиловской пьесе именно он выведен как Алик, но я-то понимал, что через одного они тогда аликами были, в смысле алкоголиками. Я, например, Евгения Мамашкина, писателя средней руки, но очень живописного, в роговых очках, с беретом и тростью, вообще никогда трезвым не видел.

Да и сам я, как теперь понимаю, встречался с собратьями по перу большей частью, чтобы обсудить в Зазеркалье стеклянную рукопись. Зазеркалье — эта комната у нас в Клубе Литераторов укромная за дверью-зеркалом, а стеклянная рукопись, понятно, бутылочка водки. Мы с Антоном Забаевым, старшим моим другом, не один там роман пролистали, и главы его книги, «Лобзаю мать сыру землю», которую он пишет всю жизнь, мы тоже там читали. Но его в тот день не было, а был этот вот Неупокоев, который знал меня с разных сторон: лауреатства мои лавровые видел, и сумасбродства на банкетах всяких, где я любил выпить и закусить, впрочем, — как и все.

И сейчас Неупокоев возник в центре зала, и было совершенно логично к нему обратиться.

— Слушай, Альфред Игнатич, — сказал я, встал и подошёл к нему вплотную, чтобы пожать руку. — А ты не мог бы мне одолжить немного денег, а то мне сегодня семью накормить нечем? Отдал последнее на съём жилья.

Он искривился как-то в усмешке и, глядя точно мне в лоб угольными глазками, ещё пожимая мою руку твердой ладонью, сказал:

— Коля, у американцев есть одно хорошее выражение: это твои проблемы. Я терпеть не могу американцев, но здесь я с ними солидарен.

Так он выдал, Неупокоев, вот уж точно мефистофелевский тип, и добавил, подкручивая черный седеющий ус:

— Сходи к председателю, у него наверняка есть что-то для неимущих. Так и скажи — я бомж.

Мне показалось, что он получил какое-то особое удовольствие от этих своих слов. Лицо его, желтое и морщинистое, с усами и бородкой, тронутыми сединой,

было удовлетворённым. Словно он давно уже был подготовлен к этому моменту, и начини я ему сейчас что-нибудь о голодных детях, он рассмеётся прямо мне в глаза пустым ртом. Рот у него действительно был пуст, без зубов: только коричневые осколки в дёснах, и когда он смеялся, было жутковато глядеть в эту пустоту, а похотать он любил, не громко, так со вкусом: хо-хо-хо.

Ещё бы, совсем недавно я был щёголем, носил стильную одежду: чего стоил английский плащ — как воронье крыло, купленный на месячную зарплату моей северной работы. Обувь моя всегда блестела, а рубашек было семь штук, разноцветные — на каждый день недели. Я с приятелями появлялся легко в разных местах города: открытие выставки, или литературный салон какой-нибудь с чтением стихов — лишь бы был фуршет. А эти бесконечные презентации!

*Салат оливье и колбасную горку,
огурцы-помидорчики пряный рассол,
рыбу под шубой и икорку —
красную и чёрную мечите на стол!*

И это в то сомнительное время, когда богатели бандиты, зарплаты простым людям задерживали месяцами и выдавали миллионами, учителя падали в голодные обмороки, а продукты где-нибудь в глуши брали в магазине в долг, под запись. Поэтому и вакханалия эта банкетная походила на пир во время чумы.

Теперь же на меня смотрели, возможно, даже с жалостью: квартиру я потерял, пытаюсь поменять на дом, и как-то быстро стал многодетным папашей и, понятно, от жизни такой опростился. И тип этот в пальто и шапочке траурного цвета, с бордовым галстуком на шее, Альфред Игнатич, всё понимал.

Не понимал он только одного, что я уже поработал в монастыре, порыл с моинами ямы, покидал кирпичи на строящуюся колокольню, и пришёл к выводу, что все вещественное, материальное не стоит того, чтобы о нём много думать: вот оно, исчезнувшее, возникает, и, как знать, может быть, опять исчезнет. Однако куда денешь гордыньку-то, змею эту подколенную!

В туалете я отразился в старинном зеркале с бронзовыми канделябрами по сторонам, и было ощущение, что меня били по щекам, и даже не два раза, усы мои пшеничные торчали в разные стороны, а щёки пылали.

К председателю я всё-таки зашёл. В просторном кабинете за добротным столом с зелёным сукном сидел наш молодой председатель-фантаст Никита Сапожков. Спортивного сложения человек с интеллектом на лице и каким-то значком на лацкане пиджака.

— Не знаю, зачем он тебе это посоветовал, денег в кассе всё равно нет, — сказал председатель. — Станный этот Алик, я даже не помню, что он написал, но человек явно странный, в церковь ещё ходит.

Деньги я раздобыл в тот день, выручила моя верная Дама Пик — Наталья Романовна с городского радио, и, что славно, я даже не просил. Пришёл к ним в студию, пил чай с сухариками, стихи читал, и она, женщина, сошедшая с карты, глядя на меня чуть сверху, так бывает, когда запрокидывают голову невысокие люди, в какое-то мгновение, когда я уже уходил, сунула мне в руку денежку и шепнула: купи-ка что-нибудь вкусненькое деткам, они у тебя козырные!

В сущности, для нормальных людей просить всегда тяжелее, чем отдавать. Обыкновенная рефлексия. Мать моя одалживала даже порой понимая, что не вернут, даже пьянчугам последним, веря, что они действительно прямо сейчас завя-

жут и купят на эти деньги продукты. Скажет, а я, мол, тебя совсем другим знаю, ты же на лыжах у меня быстрее всех бегал, чемпионом школы был.

Вспомнился некролог в районной газете: «отдавая себя всю без остатка, преподавала в школе физкультуру, устраивала в городке спортивные игры, и до последних дней, даже на дому занималась с детьми гимнастикой». Холодные слова, но суть передают. Ведь представить только, она деловая такая, а самой за семьдесят, бегают в спортивном костюме по спортзалу и свистит в свисток. Или в горсовет летит, а от него к директорам школ: какую-то зарницу общегородскую затеяли. С пожарной командой, с духовым оркестром. Спортивные праздники в городе организовывала на уровне забытых первомайских. До последних дней были у неё в ходу карточки с изображениями фигурки, сидящей на шпагате или стоящей мостиком, и конфеты — самые разные леденцы, шоколадные — за успехи, и, конечно, дети её обожали.

Она и меня пыталась подвязать за неделю до того, как уйти навсегда: возьми, говорит, в шкафу таблицы и карточки, я тебе покажу, как с ними работать. Господи! Зачем я сказал, что это не моё, у меня не получится: она, худенькая, с острым носиком своим благородным, отвернулась к стене — от меня отвернулась, плакать она уже не могла.

А когда её не стало, ко мне в квартиру пришли сразу несколько человек детей; я их впустил, они расселись на стульях, диване и креслах, и смотрели на меня строго и вопросительно, незамутненными своими глазами, как маленькие судьи-пришельцы. И одна девочка постарше, в лиловом спортивном костюмчике, прожигая насквозь мою грудь раскосыми жёлтыми глазами, спросила, буду ли я с ними заниматься гимнастикой. «Нет, милые мои» — сказал я, дал им мешочек конфет и потихонечку, печально улыбаясь, выпроводил их.

Иногда я слышу стук в дверь, открываю и вижу в подъезде под тусклой лампочкой мальчишку или девчонку, или вместе — маленькие, сопливые и краснощёкие, они пришли на гимнастику, я даю им по конфете в память о маме.

Я поставил на стол под луч светильника наш семейный портрет. Мы сняты в доме отдыха в Листвянке на Байкале. Мне лет двенадцать. Я в белой рубашке и какой-то жилетке тёмной, брат Сергей в своей форме: бескозырка, тельняшка, чёрный китель, сияющий пуговицами. Мама между нами: в платье светлом ниже колен и белых туфельках, кудрявая, стройненькая, улыбается какой-то милой недоверчивой улыбкой. Я тоже, наверное, по команде фотографа, растянул губы и смотрю куда-то не в объектив. А Серёга серьёзный, стоит выше нас на две головы и в огромных глазах печаль. Фото черно-белое, слегка пожелтевшее.

Так я словно с ними, с мамой и братом, сидел в ночной квартире и пил самогон — по чуть-чуть, малюсенькими глоточками, как японец sake. Горел ночник, освещая стол с графинчиком: я перелил самогон в графинчик, который возникал на наших семейных праздничных застольях, разные напитки там бывали, и вот сейчас на столе в этом старом хрустальном графине был самогон, на широкой тарелке — жареная картошка, селедочка и хлеб. Алишер похрапывал под пледом, но мне это не мешало.

Утром, когда я варил на кухне кофе, Алишер извинялся:

— Срубил вчера, до дому не дополз.

— Да ничего страшного.

— А похмелиться есть что-нибудь? — В глазах у него стояла тоска.

— Может, кофе? — Спросил я и поставил на стол недопитый графинчик. —

Мне кажется, ты всё же злоупотребляешь этим делом и почти не закусываешь, а это плохо. Печень развалится.

Время подходило к восьми, и около магазина «Скорпион» собирались женщины. Какая из них, интересно, она? Их несколько там, есть расплывшиеся тётки в простенькой одежке, а есть и ничего себе, стройненькие, но лиц, к сожалению, не разглядеть, всё-таки метров сто до них.

— Где, ты говоришь, Аня?

— Да вот же идёт, — сказал Алишер.

По улице в светлом плаще и красных туфельках шла она. Действительно она, и в этом не было никаких сомнений. Шла как бы над дорогой, словно вокруг неё в радиусе вытянутой руки возникло пространство не то чтобы невесомости, но притяжение земли чуть отпустило — так легка была её походка. Я приоткрыл окно и услышал под чириканье и пенье птиц стук каблучков по асфальту, а ещё через минуту белый микроавтобус увез куда-то к Большому Перекрёстку, к пахнущим солярой мужикам-дальнобойщикам, всех этих женщин и её, девочку с зелёными глазами, сочинявшую верлибры о любви и одиночестве.

5

Я ждал племянника Мишку-лесоруба, он обещался прийти утром, а время было уже, как говорили раньше, полдень, и я немного нервничал, потому что собрался прогуляться на Веселое озеро, а он напросился со мной.

Мишку я встретил вечером на улице возле «Скорпиона», чуть хмельного, в новенькой красной куртке, он стоял в сумерках под фонарём, деньги считал.

— Ты куда пропал, Михась? — спросил я его. Он действительно пропал куда-то и надолго, а ведь в первые дни моего приезда помогал мне как мог, и доски сухие нашёл, и инструменты какие-то притащил. И даже первые гусельки отшлифовал до сияния.

— Дядька, здорово! Да вот, так как-то вышло, — начал он темнить, чем сильно напомнил мне двоюродного брата Андрея, тот тоже всегда вокруг да около, а ещё, бывало, начнёт: я вот что хотел сказать... и вдруг завершит: да ладно, потом. Яблоко от яблони, как говорится, не далеко падает, и Мишка весь в отца в этом смысле, но красивый как ангелок: глаза ярко-синие, а ресницы и брови угольные.

Мы с ним выпили по бутылке пива и договорились сходить на озеро — там он ещё никогда не был, и это надо было исправить, тем паче, что я как раз туда собирался.

Собирались пойти утром, и вот время было уже полдень, а Мишки всё не было. И зачем я попался опять на эту удочку? Мог ведь предположить, что он или забудет, или забудёт. И в телефоне: абонент вне зоны досягаемости сети. Он серьёзный, если дело касается леса: там его заработок, в связке он, не подведёт подельников своих, а здесь, подумаешь, на озеро с дядькой прогуляться, так, наверное, думает.

Я уже понимал, что на озеро сегодня не попаду. А жаль, так хотелось, нужно было идти одному.

Не простое оно, Весёлое озеро — рельсы с берега уходят в воду, а на дне паровоз и скелет машиниста. Так мы в детстве говорили, но на самом деле нет там никакого паровоза. Но рельсы действительно с двух сторон уходят в воду: по весне не успели снять в далёкие сороковые, и утонула узкоколейка.

Считается, что оно метеоритного происхождения, как будто гигантская воронка, и похоже на сердце — хорошо это видно с вершины древнего лиственя на высоком холме.

На Весёлом озере первый раз я очутился очень давно, маленьким и глупеньким, и сразу получил такой подзатыльник от жизни, что даже его ласковая вода и куча пойманной рыбы, трепыхающейся на траве красными плавниками, не затмили этого впечатления.

Я еле доплёлся до озера в одиночку — старшие братья мои с компанией шустрых пацанов ушли вперёд, а я, не привыкший ещё к таким броскам, тащился за ними по тропе, на которой они оставляли стрелки, особенно на развилках, потому что я отставал. А идти было километров девять по лесу. Рюкзак натёр лямками плечи. Пить хотелось неимоверно, а на озере, говорили, есть родник.

Я все же добрался до места, и когда увидел с холма эту красоту: синюю гладь воды в песчаных берегах, решил пойти напрямик, без тропы. И пошёл, а потом полетел, раскинув руки — так легко бежать под гору по траве, шлепая ладошками по коре сосен и кедров!

И я проткнул ногу, наступив на ветку боярки, на её шипы, потому что в траве ничего не разглядишь. Да я и не смотрел под ноги — впереди за стволами деревьев сияла от солнца вода! И вот я с маху прыгнул на эту ветку. Такая боль взорвалась в ступне, в косточке, что я от неожиданности подскочил с этой веткой, перевернулся в воздухе, и приземлился на спину. Скрипя зубами, вытащил вшившуюся шипами в резину кеда и в мою ногу эту сухую корявую змею. И доковылял до озера уже в кровавом кеде.

Где родник, я не знал, и поэтому, упав на колени и сунув лицо прямо в прозрачную воду, попил. Вода была теплой, но жажду я утолил. Потом сел на песок и стал мыть окровавленную ногу, глядя на мелких рыбок, плавающих среди мохнатых водорослей, и вдруг услышал:

— Мальчик, что это с тобой случилось?

Я обернулся и увидел на тропе совсем рядом со мной мужчину и женщину. Они стояли у меня за спиной и смотрели, как я мою рану. Они, видимо, только что искупались и блестели каплями на обнаженных телах. Женщина подошла ко мне совсем близко и присела на корточки рядом. Из черного купальника чуть ли не вываливались полные белые груди. Она смотрела, как я осторожно отмываю ногу, вожу по ступне указательным пальцем, как кровь смешивается с грязью и капли падают в озеро. В её лице, в больших коровьих глазах, было столько участия, что я чуть не заплакал. Глядя на мой окровавленный кед, она сказала:

— Может быть заражение. Больно тебе?

— Да, — сказал я.

— Принеси йод и бинт из аптечки. У тебя же в машине есть аптечка? — попросила она своего спутника, лысого, крепкого, в мокрых спортивных плавках. И принялась отмывать от крови мой кед.

— Не вопрос, — сказал он, и скрылся в кустах и через мгновение вышел оттуда с рюмкой и огурцом. Выпил, закусил и остаток в рюмке протянул женщине.

— Как это понимать? — спросила она.

— Водочкой продезинфицируй, а перемотать можно и лопушком, — сказал он, хохотнув и стрельнув в меня черными гуранскими глазками, и я понял, что в отличие от неё ему меня не жаль.

— Дурак пьяный, — сказала она. Встала, качнувшись, и ушла за кусты, где у

них была палатка. Через какое-то время вернулась с чистым носовым платком и коржилом.

Присела, как обрушилась с неба, а коржик положила на траву. Опять её полные груди в черном купальнике оказались возле моего лица. И когда она увидела у меня на отмытой ступне две дырки, словно укусы королевской кобры, из которых не переставая сочилась кровь и брусничными ягодами падала в воду, она обняла и прижала меня к этим большим прохладным от купания грудям и сказала:

— Мальчик мой, как я тебя понимаю.

И так продолжалось, наверное, минуту или две, и мне уже нечем было дышать от ее прохлады и тепла, и какого-то горящего запаха. Я начал высвобождаться, и она словно очнулась, крепко взяла мою ногу за лодыжку и, протерев ранки водкой, перемотала платком ступню. Я с трудом всунул ногу в мокрый кед, на котором кровь решила после себя оставить пятно.

— А ты с кем здесь? — спросила женщина, убирая с лица пальцами пряди мокрых тёмных волос и глядя сначала на меня, а потом сквозь меня своими ковыми глазами. Её вопрос был уместным: шестилетний мальчуган с раненой ногой на берегу таёжного озера.

— Вон с ними, — сказал я, мотнув головой в сторону прыгающих с берега в воду мелких человечков.

— Ну, иди. Дойдешь? — сказала она и дала мне треугольный коржик со следами сахарной пудры.

— Да, — сказал я, встал и поплёлся к своим, медленно поедая то, что раньше казалось обыкновенным, а сейчас, после долгого пути, стало вдруг таким вкусным.

Коржик таял во рту, и я смаковал каждую крошку, ковыляя по тропинке вдоль озера к своим. Когда я подошёл, у меня осталась половина. Саня, самый взрослый из нашей компаки, рыжий парень, увидев меня с коржилом, сказал:

— А ты чё это один жрёшь? Не знаешь, что у нас складчина? — И веснушчатое лицо его презрительно сморщилось.

Я посмотрел на брата Серёгу, он отвёл взгляд. Те, кто уже купался, тоже подошли к нам. Я, ещё не очень понимая, что происходит, сказал:

— Меня тётя угостила.

— Тётя его угостила! — заорал Саня так, что на шее вздулась вена, а лицо покраснело, и веснушки пропали. Только два глаза прищуренные сверкали, как стальные лезвия. — Без разницы, откуда продукты, хоть с огорода Бабы-Яги, и лежать они должны здесь!

Он указал рукой на траву под деревом, куда уже вывалили из своих сумок и рюкзаков мальчишки консервы, свёртки и чашки — ведь мы пришли сюда с ночёвкой.

— Не ори ты, — сказал Андрюха, братец мой, Сане. — Он всё уяснил.

На меня смотрели семь пар пацанячих глаз. И никто не сказал, мол, да ладно, ерунда. Они были все старше меня, и я понял, что сделал что-то очень хреновое и, ковыляя, подошёл к дереву и положил к продуктам оставшуюся половину коржика.

А Андрюха блаженно протянул:

— Я б щас тоже не отказался! А в школе воробьям его крошишь.

— Костер разжигай, суп сварим, — сказал Саня. — А огрызок этот разыграем!

А когда, наевшись супа, в котором, кажется, смешали тушёнку и рыбные консервы, и в котором не только стояла, но и гнулась алюминиевая ложка, мы

разделили сладости. На развёрнутой газете лежало восемь кучек с конфетами, печеньем и пряниками. В одной из кучек был коржик, и от этого она казалась больше. Разыграли считалкой: на золотом крыльце сидели... И надо же, эта кучка досталась мне!

Потом до вечера, поскольку ходить мне было больно, я, замотав ногу целлофановым пакетом, плавал и просто лежал на спине на синей глади воды.

А на следующий день, когда, наловив рыбы и накупавшись вдоволь, мы собирались домой, галдели и укладывали свои рюкзаки, к нам подошли мужчина и женщина, уже одетые, и спросили, где тот малец с раненой ножкой.

— Вон сидит, — указал на меня Саня и сморщил веснушистый нос.

— Мы его забираем! — сказали они. — Но только одного! А то у нас салон вещами завален.

И до самого дома я ехал один на заднем сиденье, привалясь на какой-то баул, а за окнами бежали деревья, и рыжее, как рысь, солнце прыгало с ветки на ветку.

Множество раз после этого я приходил к берегам Весёлого озера. С приятелем или целой толпой из пионерского лагеря и в одиночку. И всегда над ним ясное небо, потому что в дождь едва ли пойдёшь купаться в такую даль.

Я приезжал на мотоцикле «Минск» туда со своей девочкой Валеёй. И мы с ней там первый раз целовались. И это было так увлекательно и неумело, что у неё припухла губа, и она говорила, глядя на меня светло-серыми глазами на точёном лице: ну что я скажу дома?

Помню, как с братом Серёгой плавали на резиновой лодке. Ставили сети. На бледнеющем небе сияли две полосы заката: золотая и алая. Окунь сплавлялся и запутывался в сети. Мы доставали рыбу и бросали в лодку. Руки были в воде, и я утопил браслет — серебряная змейка слетела с руки и ушла под воду.

— На счастье, — сказал Сергей.

Ему было двадцать четыре, а мне двадцать — я только что вернулся из армии, а Валя уже была замужем.

Я приходил на озеро с товарищем детства — Чабаном, когда нам было уже по тридцать, и это было совсем не то, что в детстве: слишком мы были уже на тот момент разные. Он спокойно матерился и плевал в воду, а я готов был расцеловать каждый камень, так давно я не был в родном краю!

Последний раз я ходил на озеро с Леонидом, старым другом, большим любителем походов. Это было несколько лет назад. Мы вышли рано утром из городка, прошли мимо пионерского лагеря, точнее мимо того, что он него осталось: разбитые кирпичи и бетон фундамента в сосновом бору, и через пару часов были там. Купались, рыбачили, загорали. Озеро сияло синевой неба, отражающегося на его поверхности, и у берегов, заросших осокой, плавали кувшинки и желтые лилии.

Как только я вспомнил это, телефон завибрировал, звонил как раз Леонид, так бывает. Сказал, что собирается прийти ко мне в гости с внуком Фадеем.

— А я на Весёлое озеро хотел пойти, но теперь, наверное, уже поздно, — сказал я.

— Конечно, поздно. Пока дойдёшь и вечер уже. Скоро втроём туда пойдем: ты, я и Фадей.

— Приходите, обсудим, — сказал я.

Через час Леонид явился с Фадеем, семилетним хрупким мальчишкой, и они взорвали тишину моей Гусли-сферы.

Сначала мы сидели в креслах, пили чай с вареньем и печеньем, разговаривали

о походах и всяких неординарных личностях, а Фадей скромничал, тихонько расхаживал по комнате, спрашивал:

— Это что такое?

— Колонки, — говорил я.

— А это? — Моргал он большими ореховыми глазами.

— Микрофон.

— Фадей, не приставай к дяде Коле! — строго говорил Леонид: сына у него не было, и все свои нереализованные возможности по воспитанию себе подобного мужичка он обрушивал на внука.

— Да ему же всё интересно, — сказал я и включил аппаратуру.

Обычно я играю в наушниках, но сейчас не обойтись было без колонок, и Фадей завладел микрофоном, сказал пару слов, и распахнул свои глаза так, что ресницы чёрными стрелами воткнулись в лоб: так ему понравилось! И началось настоящее шоу: пели, играли и орал в микрофоны.

Моя портативная студия, собранная из пульта, луп-станции и еще кое-каких прибабасов, давно не испытывала такого драйва: Фадей отрывался на полную катушку, слыша свой голос с увеличенной громкостью и повторами эха, он лаял, кричал петухом и пел какие-то магические заклинания! Маленький и хрупкий, как воробей, но внезапно почуявший свою мощь вкупе с техническими возможностями, Фадей ликовал. Если представить это в цвете, получится бирюзово-фиолетовое полотно, по которому мечется огненная комета детского крика.

Я играл на гуслях немислимые аккорды, а Леонид лупил, как шаман, по пузатому барабану, и в итоге вошли в такой раж, что родилась настоящая музыкальная космогония, и я даже её записал. И назвал «Весёлое озеро».

Когда я провожал их, мы вышли из подъезда, и Фадей вдруг ломанулся к песочнице между пятиэтажками, а Леонид заорал ему в спину: «Ты куда?!». А я в это мгновение увидел Аню: она стояла у песочницы, в розовой куртке и джинсах.

Я сразу узнал её, но лицо опять так далеко — бледным пятном, так что она снова оставалась той девочкой с вздёрнутым носиком и зелёными, с янтарём, глазами, в которых сиял вопрос: «Вам понравилось?».

Самое время было подойти, исключительный был случай, но Фадей, хлопнув какого-то мальчишку по плечу, уже летел к нам обратно, а она стояла у песочницы, в которой возилась её светловолосая дочка в голубом комбинезончике. Надо было решиться — это было понятно, как то, что вот столбы и провода между ними, а на проводах воробьи как ноты бетховенской темы «Судьба стучится в дверь».

Через несколько минут, когда я вернулся, вынырнул из-за нашей зелёной пятиэтажки, песочница была уже пуста. Та-да-да-там.

6

Три дня я не выходил на улицу. Занимался музыкой, читал «Крейцерову сонату», морил и лачил новые гусли, и три раза видел, как поутру Аня павой проплывала мимо моего окна. Но кончились продукты, даже мука, из которой я испек оладушки на завтрак, и мне пришлось пойти к «Скорпиону» на поклон.

Я не очень люблю это делать: во-первых, сильно не разбежишься, всё время думаешь, как сэкономить, во-вторых, в магазине можно зависнуть надолго при трёх покупателях: тётки будут что-то обсуждать с продавщицей, набивать сумки крупами и почему-то консервами. Я их по-своему люблю, жителей наших, но

делать с ними что-то вместе, даже в магазине толкаться — это выше моих сил, у них ведь это ещё место встреч, поэтому они готовятся к походу за покупками, и не спешат у прилавка, общаются между собой и с продавщицей, которая их, конечно, знает.

— Девки, у вас хлеб свежий, сегодняшний? — кричит какая-нибудь Баба-Яга в пестром платке, зайдя в магазин и хлопнув дверью, а продавщица в это время обслуживает, допустим, человека впереди меня, а я здесь уже минут десять тупо стою, выбрав свой скромный рацион.

— Вчерашний, через полчаса свежий с пекарни привезут, — говорит продавщица, обязательно ярко накрашенная, в фартуке.

— Да ну вас, тащилась к вам от самой хаты, — кричит, как у себя в сарае на куриц, Баба-Яга в потрёпанной шубейке и валенках с калошами, и вот уже совсем рядом её лицо с волосатыми родинками на щеках и длинным, в синих прожилках носом, который оставляет на стекле витрины след.

Теперь она здесь до прибытия хлебовозки будет лясы точить, но это не помещает ей с шальными движениями, якобы что-то рассматривает за стеклом, колбаску или сыр, пролезть вперед меня на правах старости, и вот она уже что-то берёт, а я стою и жду. И смотрю на неё — это же она матери моей наговорила, что, мол, замок в сарае её сломал. Обокрал её. Нужен мне был её сарай! Это Чабан там поживился, а мать потом палкой гоняла меня по Белой Ограде, как воришку, и кричала: я тебя породила, я тебя и прибую.

И она, Баба-Яга эта, сдала нас родителям, что мы в её огороде горох хорьковали — это была правда, и горох у неё был крупный, какой я больше никогда нигде не видел, и сахарный, и рос он в конце огорода, у забора, как я теперь понимаю, совершенно провокационно. Она совсем не изменилась, и никогда не изменится:

— Дайте, — говорит, — кровяную колбасу. Имбирь и корицу.

И что-то ещё ей надо, и продавщица уходит в подсобку, а ты скучно оглядываешь магазин смешанных товаров: прилавки с продуктами плавно в районе бутылок с алкоголем переходят в обувь, словно напоминая слабым душам об их асфальтовой болезни, и дальше какие-то вещи, тазы и прочая хозяйственная утварь.

Входят и выходят люди, разговаривают, и на тебя поглядывают эти особенные пытливые глаза женщин, и какая-то из них твоя одноклассница, но с каким-то другим лицом.

В магазине кого только не увидишь: однажды я встретил там Леху-Пуделя, мы учились в одной школе, в спортзале часами мяч гоняли и на лыжах восьмерки бесконечности в соснах навораживали. Встретил и ужаснулся, глядя на него, как он изменился: из восторженного юноши с горящими глазами превратился в огромного, в тулупе, мужика с перегаром и мутными фарами на чёрном небритом лице — как мы все изменились.

В этот раз я сходил в магазин более чем удачно: встретился со своей Галиной Владимировной, преподавателем, как она сама говорит, изящной словесности, и был рад увидеть её в сиреновом пальто и шляпке чуть ли не с вуалью — деревенская модница! Круглое улыбчивое лицо, глаза искрящиеся, и голос, как говорится, бархатный. Мы поговорили на понятном нам языке, и она ушла, улыбнувшись на прощанье. А я спокойно купил всё, что мне было нужно, и даже сверх того, и уже скоро вновь обитал в квартире, в моей странствующей Гусли-сфере. Это я так любое пространство называю, где оказываюсь со своей передвижной мастерской и аппаратурой.

Я был в наушниках и только завершил кодовое арпеджио, как из мобильного полилось: «Бродяга к Байкалу подходит», такая песня у меня в тот момент была на телефоне. Звонил Димон, музыкант, сказал, что зайдет.

Баян его был уже здесь, мы потихоньку репетировали и подумывали заорганизовать небольшой концерт в память о моей маме в местном Доме культуры, но дело двигалось медленно, рождалась какая-то странная космогоническая музыка. Димон приходил ко мне стабильно два раза в неделю, мы обрастали аппаратурой: часть я привёз с собой из Москвы, кое-что раздобыли здесь, а что-то уже прибыло багажом вместе со станочками: колонки, стойка микрофонная, барабан. Мы с удовольствием репетировали, и сейчас, когда он пришел, мы, первым делом сварив кофе, вышли на балкон покурить.

Я вообще-то бросал, почти не курил с того момента, когда после похорон мамы обнаружил, что мне не хватает двух пачек в день, и я стал завязывать с никотином, но это стало уже традицией с зимы: во вторник и четверг с Димоном выкурить на балконе под горячий кофе пару сигарет.

Мы смотрели на улицу, на столбы с проводами и птичками на них.

— Воробьи как ноты, — сказал я.

— Да, — сказал Димон, — и проводов пять, как линеек.

— Вот-вот, — сказал я. И, помолчав, добавил, — интересно, как это будет звучать?

Димон, не отрывая взгляда от вида за окном, выкурил сигарету, смял окурки в пепельнице, пошёл в комнату и вернулся с баяном. Сосредоточенно глядя то на воробьёв, то на кнопки баяна, стал раздувать меха, и полилась какая-то тоскливая мелодия.

— Всего три такта можно разобрать, — сказал он.

— Этого хватит, — сказал я, и мы пошли репетировать.

Наша странная космогоническая музыка наполнилась новыми смыслами. Мы придумывали аранжировку для баяна, меха дышали тягучими нотами, а я подбирал расширенные аккорды, раскидывал пальцы на все струны, звенел медью тридцать вторых и сыпал бисером тремоло.

Через некоторое время Димон пошёл в туалет и сразу вышел оттуда, хлопая болотными глазами навывкат и улыбаясь:

— Это ты где такую рыбину выловил? — Спросил он.

— В нашем Топорке, — ответил я.

Мне нравилось смотреть на его удивлённое лицо с большим от раздутых ноздрей носом и вытаращенными глазами.

На самом деле я купил это чудо природы в «Скорпионе». Когда Галина Владимировна, как ходячий сиреневый куст, исчезла за дверью магазина, я обернулся к прилавку и увидел в витрине несколько крупных рыбин.

— А какая у вас самая большая? — спросил я.

— Это налим. А самый большой у нас в морозильнике, — ответила мне продавщица с синими глазками-пуговками, с серьгами в ушах и золотыми колечками почти на каждом пальце.

— Вот бы взглянуть, — сказал я, и они, барышня-продавщица и помощница её, чернушка, вытащили откуда-то из подсобки за хвост и голову и положили на прилавок этого пятнистого, как полицейский камуфляж, монстра. Выражаясь по старинке, цена была копеечной, налим, видимо, был местный, я прикинул свои сбережения и сообразил, что у меня хватает тюелька в тюельку. Так что из ма-

газина я ушёл с налимом, таща его, обмотав пакетом, как бревно на плече, и чувствовал затылком восхищенные взгляды барышни и чернушки.

Димона я вводил в заблуждение недолго, сознался, что купил его в магазине, на что он, мгновенно став серьёзным, заключил:

— Да у нас таких и не водится!

— А вот с этим я согласиться не могу, — сказал я, и был прав, потому что когда-то очень давно, в детстве, мне удалось поймать такого налима.

Я был совсем шпанцом, и с приятелем Чабаном пошёл на рыбалку, на нашу речку с птичьим названием Топорок. В это же самое время это было, в мае, река была как море коричневое — так разлилась, все затопило, огороды, заборы, избы в низине. Стихия даже на дорогу медленно так наступала: пыльная дорога, уходящая в воду. Мост наш висячий — на двух тросах настил из плах сосновых — от крутого берега начинаясь, заканчивался прямо в этом море: деревянный трап уходил в движущуюся, с золотистой взвесью, непроглядную тьму, в которой тонули косые лучи солнца.

Мы с Чабаном прошли по качающемуся мосту до конца и уселись на краю, на досках, зная, что никто мимо нас не пройдёт — мост заканчивался, и вокруг — только посверкивающая пустыня воды, на которой белеет неизвестно откуда взявшаяся чайка.

Я привязал к тросу закидушки, леска была толстенная, я знал, что делаю, и крючки были нехилые, а черви такие жирные и красные, выкопанные из-под навозной кучи, что у рыбы должны были потечь слюни. Мы поставили закидушки и разложили на газете еду, прихваченную из домашних холодильников: бутерброды, сальцо, молоко. Не клевало. Наелись до отвала, и Чабан достал пачку папирос «Беломорканал» и сказал:

— У бати спер. — У Чабана на роже было написано, что он цыган: глаза черные, волосы тоже, аж с фиолетовым отливом, и петь любил.

Мы лежали, разморённые, на майском солнце, курили и плевали в мутную воду, как вдруг леска на одной удочке начала трепыхаться, и так вдруг натянулась, что в воздухе раздался звон натянутой тетивы. И опять ослабла на секунду, и так вдруг снова дернулась, что трос покачнулся. И всё это быстро очень, я только успел подскочить и схватился за леску, чуть руку не обрезало, так опять дёрнуло. Мы с Чабаном вместе, наматывая на кисти рук леску, вытащили-таки на мост из этой тьмы рыбину. Это был налим огромный — когда башка его размером с человеческую с немигающими жёлтыми глазами показалась из воды и в раскрытой пасти мелькнул окровавленный крючок, Чабан только и сказал:

— Чёрт!

А когда налим уже извивался на мосту, он прыгнул на него сверху, сел на него, зажал между ног, и всадил в лен, в самый хребет его, финский нож. И пошевелил лезвие так, что показалось голубоватое мясо и хлынула в ране кровь.

Налим, однако, оказался невероятно живучим, даже когда несли его потом, перекладывая с одного плеча на другое, по улице, смотрящей на нас окнами изб, он еще подёргивался за спиной. В Белой Ограде вся детвора сбежалась потрогать эту удивительную рыбу: хвост лежал у Чабана на плече, а усатая башка тащилась по дорожке. И был он светло-серым с серебристым отливом от головы по хребту и черными плавниками и хвостом.

А потом мама жарила огромные круги рыбы на сковороде, и вся эта ребятня, и Маринка-соседка, в майке и шортах, сверкая бронзовыми ножками, и даже Тика-

ка, вечно лысый и моргающий, толкались у нас на кухне. Галдели, смеялись и ели эту вкуснятину, запивая компотом.

Так что Димон был не прав, что у нас в речке таких не водится. Я вообще хотел и в эти дни поставить удочки, попытать удачу.

Алишер тоже увидел налима, зайдя вечером. Мы покурили, я играл на гусях тихую импровизацию и смотрел, как комната наполняется сумраком, — за окном темнело, и брусничный сок зари тёк над лесом. Алишер дремал в кресле, потом он пошёл в туалет и пропал на полчаса, но по полоске света в тёмном коридоре я видел, что дверь туалета открыта. Я положил гусли на диван и пошёл на свет: Алишер сидел на корточках и гладил его, плавающего в ванне — оттаявший налим извивался, как живой, и был почти с ванну ростом.

— Видишь, поймал, — сказал я.

— В жизни таких не видел! — Повернулся ко мне Алишер, и в глазах его персидских было детское счастье.

— Вот мы его с тобой и зажарим на костре.

— В первое же воскресенье!

Алишеру я тоже почти сразу сказал, что налима в магазине купил, и он без сомнения это услышал, но почему-то, уйдя, всем рассказывал, что я поймал на реке налима-чудовище, и разводил в стороны руками, показывая, какой он огромный.

Я уже ничего не мог поделать, становился героем Пятаков, об этом поведала мне Маринка-соседка, живущая теперь в желтой пятиэтажке. Она тоже пришла посмотреть на эту диковинную рыбу, но увидела только голову, размером с кастрюлю, так как тушу я уже разделал и запихал в холодильник, а невероятно большую печень зажарил на сковороде.

Так вот порой находит нас сомнительная слава.

7

В воскресенье я никуда не пошёл, налим под соусом ждал в холодильнике своего звёздного часа, а мне позвонил Леонид, и сказал, что придёт в гости с интересным человеком, с путешественником. Да Леонид и сам не простой, хоть и работает на заводе электриком: каждый год в отпуск отправляется в тайгу: лезет в горы, сплавляется по рекам — там его стихия, а потом дома рисует маринистские акварельки.

У Леонида я, как прилетел из Москвы, первый раз появился в январе; постояли в прохладной мастерской, захламленной какими-то ящиками, мешками и цветами в горшках на полу и разошлись. Он дал мне в дорогу сухую кедровую доску — лет тридцать на чердаке пролежала.

Второй раз мы разговаривали в прибранной уже мастерской, сидели на табуретках перед чистым столиком, на котором в кружках дымился чай с мятой, стояло блюдо с печеньем и конфетами. Подействовало моё настоятельное внушение, что порядок — прежде всего! Хоть и старше он меня и матёрее, но приходится напоминать.

Ведь порядок в переводе с греческого — космос. А как изумительно всё во вселенной устроено: это особенно ночью понимаешь, стоя на скале и глядя в распахнутую чёрно-синюю глубину неба с пульсирующими звёздами. Как просто, но однажды это осознаешь, и меняется представление о мире и его границах: пони-

маешь, что космос начинается прямо у тебя под ногами, и лучше бы не нарушать его бесконечную гармонию пятнами хаоса, которыми мы иногда являемся.

В третий раз вид мастерской Леонида был действительно сравним с видом ночного неба — всё на месте и блестит. А мастерская у Леонида — настоящий уголок волшебника: он здесь резьбой по дереву занимается, из глины для бронзового литья формы лепит, и пескоструит на стекле, и рисует. Всё, что мыслимо сделать руками, кажется, он попробовал сделать. Но время пластика девальвировало кустарей, и поэтому всё, что делается — так, забава, вроде как никому не нужно, вот и подкатывает уныние, и захламляется мастерская и, как следствие, хаос торжествует. А я ему твержу пастернаковское: не спи, не спи художник! Оказывается, даже их, цветы эти уличные в горшках, спасающиеся от мороза в мастерской, можно пристроить: вот на подоконнике и на полках поближе к окну самое им место. И в окне огород, с присыпанными снегом кустами, стал выглядеть как картинка. На мольберте появился лист картона с акварелью: река, прозрачная как слезы младенца, течет по лицу каменного пепельного плато. И на утёсе кедр, конечно же, одинокий.

Ко мне Леонид тоже заходил. И на похоронах мамы был в тот ледяной февральский день. И потом бывал не раз. Видел, как я балкон под мастерскую оборудовал. Кое-что из инструментов подкинул на первое время. Много у нас общего.

Сегодня Леонид с другом своим должен был прийти в три часа, и они пришли, как договорились, точнее, приехали на джипе, ровно в назначенное время.

Интересный человек этот оказался крепким мосластым дядькой в зелёном вязаном свитере с воротом до подбородка. Бритое лицо и очки узкие чуть затемненные. Роберт звали его, врач флюорографии районного масштаба и одновременно заядлый путешественник-экстремал: последний поход был в зимних горах, они с Леонидом и друзьями прошли в январе по Саянскому хребту.

А ещё Роберт недавно стал папашей: у него родился сын от молоденькой жены, тоже скалолазки! И на радостях Роберт проявил себя в новом качестве, построил новый дом в одиночку — вот ведь гигант!

Я поставил на стол печенье курабье и сваренный кофе, взял в руки гусельки, уселся в кресле и, потихоньку перебирая по струнам пальцами, настроил беседу на нужный лад и многое узнал.

Роберт оказывается в своё время приехал с Дальнего Востока в наши края, после института, и был покорён Саянским хребтом, этой кардиограммой оснеженных гор. Удивительно, когда человек оставляет родные свои места, прекрасные, ради каких-то других мест, ещё более прекрасных на его взгляд, и его восхищение не проходит! Невольно смотришь на свою, говоря специфическим языком, малую родину другими глазами, через призму его, в данном случае робертского восторга. Горные озёра и водопады, неисследованные пещеры, пороги бешеных рек, и так они, путешественники, рассказывают о них живописно, что любого влюбят в край родимый. Но там не только радость открытий и восхождений, там, в этих горах, на скалистых берегах рек — памятники их погибших друзей.

Кое-где ведь и я побывал: с пелёнок мать брала меня в туристские походы. Мы с её любимым Василь Семёнычем — с воспитателем моим и компанией ребятни облазили все окрестные красоты. И рыбу диковинную в горных озёрах ловили, и дежурили по очереди ночью у костра, охраняя покой палаток, и тащили, помню, на самодельных носилках мальчишку со сломанной ногой сквозь тайгу.

А однажды рыли могилу для волка.

Мы пошли в недельный поход — мама, Василь Семёныч и вся наша турслётковская команда в «Богатырские пещеры». На привале в сосновом бору, в синем спортивном костюме лежа на боку, Василь Семёнович, а он был историком, рассказывал о Наполеоне. О том, как тот, сбежав с острова Эльба, высадился на юге Франции, и газеты обзывали его корсиканским чудовищем. Рассказывал он очень увлекательно, да и сам походил на своего героя: невысокий и горбоносенький, с седеющими баками, только мягкий и неспособный раздавить даже комара. Историю эту «О ста днях...» я знал, но слушал с удовольствием, и вдруг мне захотелось отлучиться по естественной причине.

Дотерпев до момента, когда Наполеон сказал собравшемуся народу, что может принять в свои ряды только солдат, потому что у него армия, а не банда, я поднялся и ушёл в сосновый бор. Подальше от девчонок и мальчишек. И увидел этого волка.

Он лежал, огромный, серый, с ключьями линяющей шерсти на боку и чёрной блестящей холкой. Я не сразу к нему подошёл. Постоял, убедился, что он мёртв. Потом обошёл его вокруг. Он лежал на ковре ягеля, вытянув передние лапы, а задние подобрал под себя. Казалось, приготовился к прыжку. Но на боку было красное пятно, и из пасти вываливался распухший язык, на котором сидела зелёная муха.

Когда я вернулся, Наполеона везли на остов Елена. Я рассказал про мёртвого волка, и мы уже через несколько минут стояли вокруг него. Девчонки прикрывали от ужаса рты, а мальчишки восхищённо хлопали глазами.

— Умер от раны. Одиноко, как Наполеон! — сказал Василь Семёныч и потрогал отточенным розовым ногтем горбинку своего носа. Что-то он ещё говорил, рассуждал, проводил параллели. Мы слушали его, затаив дыхание, а потом в песке соснового бора сапёрной лопаткой вырыли могилу для этого волка-Наполеона.

Так что мне было чем поделиться с путешественниками. Я поигрывал на гусельках, гости пили кофе и ели курабье.

Леонид в подробностях поведал, как обломился его прошлый отпуск: он взял этот отпуск в мае, поставил заранее прививку от клещей и выдвинулся в тайгу. Через десять дней пути у реки, на скалистом берегу, нашел женщину, измученную голодом, и первое, что поразило его — запах. Не знаю, чем уж она там пахла, понятно не до мытья в тайге, если ещё голодный и заблудился, а она уже две недели блуждала по тайге в изорванной куртке и джинсах.

Когда Леонид на неё вышел, она могла только шептать — щёки впали, в серых глазах таилось безумие, а муж её, как она говорила, идти уже не мог, и поэтому она оставила его, гипертоника, сидящим у огромного, с расщепленной верхушкой листьяка, где-то там — и неопределённо махнула рукой.

Питалась она одной черемшой, за которой, собственно, они и приехали из города. Он, мужик её, хвалился, что тайга для него не проблема, а вышло, что тайга его не отпустила. А ей вот, получается, повезло. Леонид дал женщине тонкий кусочек хлеба с сыром, зная, что восстанавливать человека надо постепенно, и, поскольку идти она не могла, он разбил на этом месте лагерь.

В горах таял снег, река стремительно разлилась, и за ночь они оказались отрезанными от берега потоком воды. Они остались на островке с леском, полным черемши и цветущей вербы, с родником, бьющим из скалы, и леонидовскими походными припасами.

На этом островке они и жили, пока не сошёл паводок. Видели медведя: он вы-

шел огромный, бурый, из ивняка, сунулся в реку, и опять выпрыгнул на берег, отряхнулся, разбрызгивая на песок капли, встал на задние лапы и утробно зарычал.

Он стоял напротив них, скалясь желтыми клыками в розовой пятнистой пасти, до него было совсем близко — поток воды с валунами разделял их берега. Казалось, что медведь, тоже большой любитель черемши, сейчас кинется в воду и в два скачка преодолеет этот поток. Но тёмная пенная вода, с шумом, так стремительно неслась, что медведь не решился, плюхнулся на четвереньки и вразвалочку скрылся в ивняке.

Леонид это местечко нарисовал уже дома акварелью: омываемый тёмной водой островок с лесом и скалой, голубая палатка и костер с искрами, похожими на мандарины. Там они жили.

А когда вода спала, он добрался с женщиной, уже чуть окрепшей, до ближайшего поселка и оставил её в фельдшерском пункте. Об этом в районной газете печатали, но вот ведь дело: фамилии своей он никому не сообщил, и, конечно, поэтому заметка называлась «Неизвестный спаситель».

— Сколько ж клещей её цапнуло? — как бы сам себя спросил Роберт, как врач-путешественник, он, думаю, не раз слышал эту историю.

— Она привита была, — сказал Леонид. — Городские в лес так не сунутся, я и то прививаюсь, как положено. Поломает чуток и всё.

— А я никогда не прививался, — признался я.

— А вам, может, и не надо, — сказал Роберт. — Вы же здесь родились? Так вот, у вас грязный иммунитет, есть такое медицинское понятие — это когда с детства клещи покусывают, со временем вполне заменяет прививку. — Кажется, он говорил серьёзно.

Он вообще на вид был классически интеллигентен — лицо вытянутое, выбритое, и очки как часть лица, как будто в них родился, и в то же время крепок и силён: не каждый в одиночку построит дом, а ему осталось только печку возвести. В шестьдесят-то лет новую жизнь начинать, а он построился, огород там развернул вокруг дома, деревья насадил. Силы пришли невероятные: у него мальчик родился, наследник, а так было две девчонки: младшей под сорок, уже, наверно, бабушка. Роберт, как я понял, собственноручно подвал под домом вырыл огромный, что грузовик может въехать: времена грядут такие, по его словам, что всё нужно будет иметь свое: от картошки до лошади, ещё неизвестно, будут ли у людей деньги.

Он так и сказал: многое забытое придётся освоить заново.

А Леонид на это ответил, что мы тут, на земле, ничего и не забывали, всю зиму с огорода кормимся.

— А скажите, — вдруг обратился ко мне Роберт, — можно у вас как-то гусли заказать?

— Можно. Сами играть хотите или кому-то подарить?

— Да вот смотрите на ваши пальцы, слушаю звуки и понимаю, что мне тоже хочется. Напряжения же нет? Для пальцев имею в виду, как на гитаре?

— Никакого. Открытые струны звучат. Приглушаем ненужное. Да вот, поиграйте. — Сказал я и положил инструмент на джинсовые колени Роберта. Он очень нежно провел указательным пальцем по струнам и заулыбался, и за сухими тонкими губами возник ряд редких белых зубов. Так и остался инструмент у Роберта на коленях, и он перебирал пальцами струны и не скрывал своего удовольствия.

А Леонид принялся рассказывать анекдотическую историю, которая приключилась с его приятелями по заводу, и стилистически это выглядело примерно так:

— Два мужика, Петров и Иванов, собрались на охоту, значит, и взяли у Семёнова ружьё новенькое — шестнадцатый калибр. Набрали с собой жратвы всякой, водки несколько бутылок и махнули на выходные в тайгу.

Приехали на место, значит, на берег речки, костёр разожгли, супчик с тушёной сварили, выпили по стакану водки. Захорошело. Сосны гудят, солнышко августовское припекает. Ещё выпили, закусили. И решили пострелять. Просто в бутылку пальнуть пулей. У них патронов целый патронташ был.

Поставил, значит, Петров бутылку на пень, отошёл, а Иванов метров с тридцати в неё выстрелил, но не попал. Тогда Петров взял у товарища ружьё, вынул гильзу, вставил другую, тоже с пулей, и выстрелил по бутылке. И тоже промахнулся. Плюнул под ноги, переломил ружьё, а гильза не вытаскивается. Застряла зараза.

Они её и ножиком ковыряли, и плоскогубцами тянули — не выходит: раздуло крепко. Тогда они, значит, ещё по стакану накатили, и пришла Петрову мысль выбить её. Он срубил сосёнку маленькую и всунул её в ствол. Начал стучать по сосёнке топориком и обломил шомполок этот самопальный.

Вот ведь хрень какая! Задумались, значит, мужики: обидно как-то, на охоту несколько месяцев собирались, у Семёнова ружьё выпросили, в райцентре патронов накупили. Приехали, два раза выстрелили по бутылке и то мимо — вот и вся охота!

Решили они ружьишко стволом в костёр сунуть, чтоб палка выгорела. Положили ствол на угли, да дров подбросили. А сами ещё по стакану накатили. И пока рассуждали о том о сём, ружьё докрасна раскалилось. Ствол дымит. Давай они по нему топориком постукивать, значит, а палка не выходит, зато на стволе вмятины остаются. Так увлеклись, что ствол стал квадратным. Ещё по стакану накатили и уснули. А утром проснулись на земле и поняли, какие они дураки. Теперь Семёнову на ружьё скидываются.

В таком духе рассказывал Леонид — голос твердый, убедительный, глаза блестят как роса на васильках, губы выразительно кривятся, и руками подчёркивает свой рассказ.

Я рассмеялся и спросил:

— А фамилии вымышленные?

— В том-то и дело, что Иванов и Петров! Друзья они — в одном цеху работают, — воскликнул Леонид.

— И когда люди поймут, что синька — это швах! — Сказал я, а сам подумал, что от бокала красного сухого я бы не отказался.

— Совершенно с вами согласен, — поддержал Роберт, поправив очки. — Алкоголь — это тупик. У пьющего человека все настроено на то, чтобы выпить. Всё вокруг бутылки, и мир он видит сквозь её доньшко. Для него это деятельность, можно сказать, такая. Очень всё сужается. То есть он с утра просыпается, и не важно, где он там работает, но у него в мозгу одно: что выпить, и как это сделать незаметно. Если нельзя, допустим. У нас в больнице, в районке, врач один был, хирург, так он клизмировался, чтоб от него не пахло.

— Как так? — Усмехнулся я.

— А так: подшофе оперировал. Его предупредили пару раз. Так он клизму с пятьюдесятью граммами поставит себе и ходит как ни в чём не бывало. И закусывать не надо!

— А что, вообще нельзя выпить?

— Но как на работе-то пьяным? — Строго спросил Роберт, и я не стал возражать.

— У нас на заводе пьющие не задерживаются. А раньше полно было, — сказал Леонид.

— Я знаю одного художника, — сказал Роберт, — рисует картины, на которые смотришь, как будто смотришь сквозь зелёное стекло. Он сильно пил раньше, всё потерял, все от него отвернулись: ни друзей, ни жены, ни детей. Как-то выжил и пить бросил. И вот теперь рисует картины, так сказать, зеленоватые все.

— Хорошо, что хоть использовал свой экзистенциальный опыт в искусстве. А что за художник? — Спросил я.

— Муренин.

— Не слышал, — сказал я.

Ещё час или больше мы беседовали, общались по душам.

Вспомнили о Фёдоре Конюхове, он на этот раз поднялся в небо, и установил мировой рекорд для аэростата, облетев вокруг планеты нашей за немыслимое время, и побил на час Стива Фоссетта! А самое крутое в том, что он прилетел на воздушном своём красно-белом шаре обратно на тот же аэродром, с которого полет начался! Что говорить, и здесь он первый человек в мире, да мало кто знает, что геройствует он с молитвой и смирением, он же, оказывается, ещё и поп — как положено, и борода лопатой! И служит он в храме в том подмосковном городке, где я жил всё это время. А дома его ждет настоящая матушка в платочке и с грустными глазами. И молится за своего героя!

Вспомнили о Евгении Модалевском, видевшем Шамбалу, он сейчас восходил с какой-то неожиданной стороны на Гималаи. Это он покорило сердце моей Элеоноры Печальной, и я специально, мучая себя, спрашивал путешественников об этом человеке, искупавшемся в глазах-морях моей жёнки. Или я из отелловской своей ревности выдумал всё это в «Любви до последнего поцелуя» — в животрепещущей моей поэме? Сейчас кругом одни путешественники! Рисковое это дело, здесь на ровном месте себе шею сломать можно, а они кто на плотках по рекам, кто мимо костей в горы — покорившего Эверест так и не похоронили!

О Кротове поговорили, о его Академии вольных путешествий — вот уж точно фамилию свою оправдывает — автостопами своими весь белый свет перерыл и выпустил кучу полезных книжек с рекомендациями и маршрутами: пользуйтесь моими ходами. В этих книжках каждый шаг и каждая копейка учитывается, можно, оказывается, по миру колесить не тратясь. Он все эти ходы на себе испытывает. Даже здесь, у нас, в таёжном городке, в гостях у Леонида побывал, возвращаясь из Китая. А я у него однажды очутился в московской квартирке: столько там народу набивается, чтоб его послушать, что, сидя на полу, ощущаешь тепло прикосновений со всех сторон.

Гости мои начали собираться. Я предложил ещё кофе, но они отказались: им надо было что-то доделать, какую-то печь из нержавеющей стали в леонидовской мастерской.

Беседа получилась насыщенная, что называется, роскошь человеческого общения, и это особенно остро понимаешь, когда подолгу не видишь реально умных и интересных людей.

Я почему-то с грустью представлял, как буду есть барашка. Если бы это мясо с окровавленными ребрышками в чане называлось по-другому как-нибудь, например, баранина там, то это было бы не так представимо, а меня не покидало ощущение, что я буду есть именно того барашка, о котором говорил Антуан де Сент-Экзюпери в своей чудной книжице «Маленький принц».

А вышло, что я съел собаку... Шарика. Лучше бы я съел барашка.

Вот что получилось. Алишер появился у меня в один из выходных, спросил, есть ли у меня время (я же всегда что-то делаю: читаю-пишу там, у верстака кручу, или просто бренчу на инструменте), и пригласил, как он выразился, на сходнячок:

— Познакомлю тебя кое с кем, а может, ты и знаешь их: Гоша Шпала, Окунь, короче, будут там люди. Потапыч будет, он у нас тут главный деревянщик, как раз по твоей теме.

Никого из этих людей я не знал, по крайней мере, прозвища эти ни о чем мне не говорили. Я давно уехал из городка, и приезжал сюда, так получалось, всё реже и реже, чтобы повидать мать и побродить по тропинкам леса. Пятаки же эти с их обитателями мне вообще чужие: матушка моя переселилась сюда с нашей улочки привокзальной в последние годы, когда меня, идущего по городку, мало кто уже узнавал. Конечно, какие-то знакомые мне встречались, но после первой мгновенной радости как-то понималось, что говорить особо не о чем — это не от моего высокомерия, — так, думаю, происходит со многими, кто меняет свою жизнь.

И вот, Алишер зовёт меня с кем-то ещё познакомиться: «Пойду, — думаю, — прогуляюсь, посмотрю, чем сейчас местная братва дышит». Тем более, что мне действительно нужен был человек, который разбирается в столярке.

Я открыл холодильник, с мыслью прихватить налима на эту пирушку, но он оказался замороженным, и вытащить его сходу было невозможно.

Зачехлив гусли и надев свою коричневую кожаную куртку, я следом за Алишером вышел из подъезда.

— К магазину пойдем, — сказал Алишер. — Там уже Голик на своей буханке.

У «Скорпиона» стоял «уазик» болотного цвета, Алишер предложил мне садиться, а сам пошёл в магазин. Я сунулся в машину и сходу был оглоушен вонью мазута, курева, и голосами: в полумраке сидело несколько мужиков.

— Привет, бродяги, — сказал я.

— Привет, залазь, коль не шутишь, — ответили мне.

Я залез в машину, сел у окна и пожал всем руки, познакомился, и стал всматриваться в эти лица. Давно уж не был я в такой компании, где смачно матерятся, смеются над грустным и с жаром обсуждают какую-нибудь ерунду. Всё ли взяли? Чан, главное, и мясо! А тарелки? Епа мать, вот три штуки лежит, а остальное может там с прошлого раза осталось? Да из чана похлебаем! Чай не олигархи!

Из магазина Алишер вышел, держа в руке неизменно чёрный пакет, следом за ним — парень с выбритым умным лицом монгола. Парня этого я узнал, он работал на скорой помощи и помог мне тогда в январе привезти маму из больницы домой. Мы даже не стали её на носилки перекладывать, взяли за края простыни и потихонечку отнесли в машину на матрац. И ехал он до дома не спеша, не тряся её по нашей буерачной дороге.

— Вот, Никола, это Голик. — Сказал Алишер, и мы понимающе переглянулись

и пожали друг другу руки — во мне ведь тоже, если взглянуть прямо в глаза, можно разглядеть чингисхановский ген.

Голик уверенно сел за руль, видно было, что буханка — его тачка, но для другой, добытчицкой жизни, и повернулся в салон, если так можно было назвать замызганное пространство машины с плафоном под потолком, и спросил:

— Все собрались? Всё взяли?

— Да погнали уже! — загудели ему в ответ, и мы погнали. Мелькнули в окне крайние дома городка, мост через реку и сосны, сосны.

До дач было близко: минут десять езды, и мы были бы уже там, но засели в снег на просёлочной дороге. Зимой бульдозер чистил дорогу, и на обочине вышались тающие отвалы снега, подобно айсбергам среди мокрой земли и песка, вот в такой отвал мы и въехали всеми колёсами, объезжая гигантскую лужу на повороте к алишеровской дачке. Буханка, хоть и вездеход, однако плотно села карданом на слежавшийся сугроб, и мужики с шутками-прибаутками вышли из машины и легко вытолкали машину на чистое место, на песочек.

Собственно, для этого дела хватило бы Гоши Шпалы, здоровенного белобрысого парня, он и сейчас, в выходной, был в рабочем, заляпанном краской комбине-зоне. Или Окуня — тоже крепыш ещё тот: один в один персонаж из кинокомедий с гениальными чудачками, тот, что самый крупный, по кличке Бывалый, и одет-то в том же стиле: шапчонка каракулевая, телогрейка, и даже сапоги такого же фасона, с верхом из оленьей шкуры.

Совсем рядом, в зелёном озере молодого сосняка, виднелась лесопилка — на столбах шиферная крыша и под ней чёрный от времени брус, доски, верстак.

— Аккуратненькая какая! — Сказал я, глядя на ленточную пилу «Тайга», ржавеющую на рельсах: мне тоже мечталось иметь серьёзный станок, чтобы самому распускать на деки клен или ясень, но это уже не здесь, а скорее в подмосковном лесу.

— Хозяин сидит, — сказал Бывалый Окунь. — Хочешь, купим в складчину, деревьев смотри сколько вокруг!

Дачка Алишера оказалась крохотной, обитая дощечками, с ржавеющей цинковой крышей, но был перед ней широченный навес с диваном и столиком. Прямо от крыльца чернел свежей землёй огород, уже оттаявший, и по нему лежал дощатый тротуарчик до колодца. У забора парник застеклённый и дровяник — всё чистенько, ухожено по-мужицки, а вокруг сосновый бор, и над всем этим весеннее солнце в радуге ресниц. Быстренько принесли дров и воды, разожгли мангал, поставили чан с водой и забросили туда мясо.

— Шарик, молоденький, — сказал Окунь и хитро щербато заулыбался, он и лицом походил на Бывалого, только без этих скандальных усиков под носом. Вот тут, в этот момент, вдыхая дым костра и глядя на рёбрышки в мутнеющей воде, я и понял, что мы будем есть собаку.

— А почему бы, правда, баранины не купить? — Спросил я.

Мужики посмотрели на меня пристально, а Гоша Шпала, выпучив водянистые глаза в белых ресницах, сказал:

— Ага, купишь, блин, барана, на наши зарплаты.

— А я вообще не работаю. На бирже, — сказал парень в чёрном пальто. Имени его я не запомнил, но в этом пальто и с волосами, зачесанными назад, он походил на одного бомбиста. Памятник из черного гранита этому бомбисту стоит среди лиственниц в скверике подмосковного городка, где я жил эти годы.

— А кто ты по специальности? — Спросил я.

— Юрист, — сказал «бомбист». Я столкнулся с его свинцовыми глазами и внутренне вздрогнул: он реально был тот оживший черный каменный человек.

— Как врач заявляю: мясо сертифицировано, — сказал Голик. Его монгольское лицо было невозмутимым.

— Да ладно, на хрен, специально выращивали. Чистенькое мясо! — Сказал Бывалый Окунь, мелко постукивая сапогом в оленьей шкуре, и сыпанул в чан соли.

Дым бродил по кругу, и в какой-то миг он мне надоел. Я пошёл прогуляться по тротуарчику до колодца и дальше: в заборе оказалась калитка, а за ней песчаная тропка к берегу реки с мутной водой. Ивы с желтыми серёжками касались своих отражений. Красивейшее живописное место, чистейший воздух и сосен шум.

Специально выращивали! Однажды я был в компании, где запросто так вот ели собаку, в девяностых, но там были разбойники. Не с этими цветными тату, какими украшают себя толпы мужчин и женщин, а с настоящими, что-то значащими в уголовном мире синими наколками. С кривыми буквами — «не забуду мать родную» на руках и с очень угрюмыми лицами сидельцев. Как я там оказался, в этой кочегарке, причём с одной пьяненькой девицей, помню смутно, но помню, как мы уносили оттуда ноги, а после, в университетской общаге нашей, истерично хохотали, понимая, что легко ещё отделались: у меня разбитые в кровь кулаки, а у неё разорванные на коленках колготки. Ох уж эти юные дурынды с факультета журналистики! Репортаж из самого адового пекла, кажется, она хотела сделать, и как-то уболтала же меня сунуться в эту дыру, где на куче угля лежала окровавленная рыже-белая шкура с собачьей головой.

А здесь, в общем-то, простые работяги, мужики. Парень этот безработный в черном пальто, на вид приличный человек, а туда же, и Голик — он вообще врач скорой помощи, что говорить, азиаты мы! Для корейцев есть или не есть собаку вообще не вопрос. И для китайцев не вопрос. Был я в Китае, всей семьёй ездили, и в Пекине, где мы жили в гостинице с рестораном, как ни странно, «Катюша», оказались на их традиционной свадьбе.

Как потом прояснилось, позволить себе такую свадьбу-шоу могут только богатые люди: толпа людей в национальных костюмах шествовала вокруг высоток и вошла в колодец двора, с ними, конечно, просто захваченные зрелищем прохожие, зеваки. Драконы, фейерверки, и жених в малиновой одежде вносит в дом невесту у себя на загривке: она сидит у него на спине, обхватив ручонками его шею, наверное, это символизирует беспомощность. Обычай такой, и ничего, что дом был небоскрёбом.

Я познакомился там с музыкантами, сам ведь тоже играю, а потом прямо в колодце двора был пир, где среди множества экзотических блюд было и это. Флейтист Ли, когда я на пластиковой вилке подносил ко рту кусок обжаренного пряного мяса, поднял большой палец вверх и, улыбаясь, глядя на меня черными, без зрачков, глазами, полаял. Я его понял и очень тактично переключился на креветок и осьминога, и осмотрелся вокруг: я один, а вокруг мириады жёлтых лиц. Пес этот жареный предупредил меня, что на столах могут быть ещё более странные блюда: личинки или какие-нибудь тараканы в зелени, такая пища — часть их гастрономической культуры.

Так что собак есть у них — это нормально.

В Юйлине даже проходит ежегодный фестиваль собачьего мяса — кошмарно,

что собак этих, и выращенных, и сворованных они мучительно убивают палками, жарят живьём, веря, что так будет вкуснее.

Нас это шокирует, как их, китайцев, скажем, во времена династии Цин, когда наши культуры столкнулись лбами, шокировало то, что европейцы едят вяленую говядину. В то время убийство быка без разрешения правительства было преступлением по закону Цин, мы были демонами в их глазах.

Конечно, есть на свете и те, кто и баранину считает ядовитой: типа в слоне овцы содержится фермент какой-то, и после выпаса овец трава на этом месте не растет несколько лет, а жир по составу схож с нефтепродуктом.

Понятно, что, когда приспичит, в осаду, в блокаду не только собаку съешь, но и кошку, и крысу. А у них, без всякой блокады, понимаешь, Фестиваль собачьего мяса! Экологи всякие и защитники животных ничего с этим поделать не могут, потому что фестиваль этот неофициальный, народный, так сказать.

И у нас, получается, в таёжной глухомани, съест собаку — не такое уж и удивительное дело. И если сейчас вот попробовать усювестить этих мужиков, сказать, что собака, мол, друг человека, то можно в ответ услышать: это же первое дело у нас, в родной каторге, чтоб не было туберкулёза, а кто поумней, допустим, Голик, он же врач, добавит, что это вообще природный афродизиак.

Так я размышлял, глядя на мутную воду реки и плакучие ивы с жёлтыми серёжками, а когда вернулся, попал в разгар спора:

— Во всех развитых странах давно уже так. Шестьдесят пять и гуд бай. Но там пенсия такая — вам и не снилось! — Утверждал «бомбист». На щеках у него играл здоровый румянец, он поднял от ветерка воротник своего чёрного пальто.

— Не-а, я не доживу, если эта хрень пройдёт, — возражал Алишер.

— Понятно, что всё как себе лучше делают, — говорил Бывалый Окунь, поправляя каракулевую шапку.

— Как посмотреть, — говорил бомбист.

На вид ему было лет тридцать, и ни дня из них, похоже, он ещё не работал. Ну, может, помогал судебным приставам на практике своей студенческой у людей деньги выколачивать, банковские задолженности. Конечно, в таком темпе его жизненный ресурс и к семидесяти не исчерпается, тем более что он не курил и, кажется, в меру выпивал. Бывают такие папа-мамины детки, получают высшее образование, а потом с умным видом картошку в огороде копают, помогают родителям, живут на их пенсию и на свои гроши с биржи, а то еще помои всякие в инет сливают монетизированно. А в ЖЭК, между прочим, сейчас дворник нужен, место освободилось — запил у них товарищ с метлой.

— А зачем вообще это двигают? Кому выгодно? — Спрашивал Гоша Шпала и хлопал водянистыми глазами — на вид он был глуповат, природная сила была бы его главным достоинством, если бы его не подтачивала синька.

— Им же и выгодно, чтобы нами подольше править, кровь сосать, — сказал Потапыч, худющий с землистым лицом мужик. Он до этого был как-то незаметен: в машине молчал, а когда засели в сугроб, положил на капот ладонь, и было видно, что он не напрягается.

— А ты, Никола, как думаешь про закон этот, про пенсию? — спросил меня Алишер и налил мне рюмку водки, они уже выпивали, на столе стояла открытая банка с помидорами, сыр и нарезанный на дощечке хлеб.

— Про свою пенсию я вообще не думаю, до неё как пешком до горизонта. А так — мне показалось это сначала хорошо, я в последнее время много деятельных

дедков повидал, но, глядя на вас, понял, что перегнули. Это надо дифференцированно делать. Учитывая, где человек работал, по степени вредности, так сказать. Вот было бы справедливо! — Сказал я, и выпил до дна этот горький напиток.

Мужики продолжали спорить, всё больше заводясь. А я, чувствуя, как по жилам растекается огонь водочки, думал о том, что люди делятся на две категории: богатые и бедные, и одним, как всегда, будет лучше за счёт других.

Все притихли, когда Алишер поставил на стол чан с дымящейся похлебкой и разлил половником по чашкам. Мне досталась самая красивая, с золотой каёмочкой. Это было что-то ритуальное. Ели, выпивали, почти молчали, обгладывали косточки собачьи. Бросали крошки воробьям.

А вот когда поели, и варево это из картошки, лука, чеснока и Шарика улеглось в желудках, и по кругу пошла папираса, вот тогда опять разговорились: о рыбалке, охоте и лесорубах, и о том, что ещё ждать от этой жизни.

Косяк оказался у меня, смолистый, я затянулся, и чуть глаза не вырвались из орбит! Это была химоза — местный рудералис, который вымочили в ацетоне, выпарили на плитке, и чёрную эту оставшуюся гущу, смешав с табаком, забили в папиросу. Совсем я забыл, что такое бывает.

Мой горевший в танке дед, как до меня дошло, говорил, что до Варшавы они пили все, что горит, а после — даже радиаторы машин вином заправляли. Что горит, бывало, и я пил, знакомство моё с алкоголем пришлось на сухой закон, который палёнкой своей немало людей поубивал и в пишущей братии, в стенке её, дыр понаделал. Но здесь! Это что-то с чем-то!

Папираса обошла круг, и я из приличия затянулся ещё пару раз, а вот это было уже совсем зря: через несколько минут меня вырвало в лесочке за туалетом, никто не видел — не поняли бы моей рафинированности. Так было хреново! И привкус ацетона во рту.

Потом я тупо сидел на диване и смотрел на качающиеся от ветерка зеленые верхушки сосен. Слышал, как Алишер пытал Окуня, где у них там, на железке, можно раздобыть спирт. Бывалый Окунь отвечал, что на железке, мол, всё стабильно, и он наведёт справки, если вправду надо, а не как в прошлый раз. Слышал, как Вова Шпала собрался идти на Донбасс добровольцем, и это, мелькнула в голове мысль, было бы правильнее, чем так бездарно в рабстве синьки тратить дни. Слышал, как бомбист катил бочку на власть и при этом утверждал, что все скоро изменится, типа заграница нам поможет.

Вообще странно, — думал я сквозь муть в голове, — у него юридическое образование, у парня этого, а работы нет, небось, когда поступал в альма-матер, на место было человек пять, а сейчас не может найти службу. Видать, развелось юристов. Бомбист-вырожденец. Шёл бы лесорубов черных защищать, им позарез адвокат нужен: они же всю жизнь в леспромхозах работали, а как всё позакрывали, то же самое продолжили делать, только уже на себя, а этот: бла, бла. Поможет нам заграница, жди! Он мне становился крайне неприятен. Пальто его черное и тёмно-русые волосы, зачесанные назад, глазки, заблестевшие от халявной водочки, и сам его вкрадчивый голос.

Сознание моё расфокусировалось. Верхушки сосен плыли вместе с облаками. И на меня накатило чувство, будто бы я съел того пса, который уже повыпендривался в качестве Полиграфа Полиграфовича и снова вернулся в свою шкуру. Опять пришлось идти в лесочек за туалет: всё же дощатое это сооружение с рулоном бумаги на гвозде — не лучшее место для четверенек, лесок с мелким соснячком и рыжей хвоей на ягеле — самое то!

Я оправдывал себя тем, что так поступали древние греки, чтобы продолжить пиршество, а у римлян это вообще цвело пышным цветом. Известно, что на пирах богатых римлян в середине трапезы выносились павлиньи перья, и всовывали их в глотки, чтобы искусственно вызвать рвоту, освободить в желудках место для новых яств. А вкусы, надо заметить, утончились до безобразия: то, что уже начало портиться и попахивать, считалось самым изысканным. Тут уж не до павлиньих перьев, хотя экзотики хватает.

Я потерял ощущение времени и чувствовал, что губы мои пересыхают и трескаются. Возвращался, не возвращаясь, с сосредоточенным видом оглядывал округу, мужики всё это время были на волне своих жёстких матерных шуток и спора.

В какой-то момент я понял, что сижу на холодной деревянной лавке около навеса и смотрю на свои, с песком на носках, чёрные сапоги. Щеки мои трогает свежий ветер. Я поднял голову вверх, в небо и уперся взглядом в его голубую кожу с солнечным пупом. И совершенно пропал звук. Ни голосов, ни шума сосен. Только стук моего сердца.

А потом я увидел и услышал, как Алишер разговаривает, точнее отвечает кому-то, глядя в старенькую мобилу:

— Эй! Погодь, я же в лесу!

Кто-то что-то ему говорит, я уже понимаю, что это его жена-бригадирша, убедительно так, но слов не разобрать.

— А почему у меня нет воскресенья? — Горько так, с надрывом в голосе, вопрошает Алишер. Ему отвечают, и он кричит в трубку:

— Ага. Будет!

Я окончательно пришёл в себя и увидел, как Алишер повернулся к столу и сказал, что надо уехать: труба течёт. И, уже обращаясь к Голику, добавил:

— Заодно в магазин заедем.

Лицо Голика стало ещё умней, а глаза раскосей, и он без разговора встал из-за стола, застегнул до горла чёрную стёганую куртку и вразвалочку пошёл к машине. Алишер накатил ещё рюмку, зачем-то накинул капюшон и поплёлся следом. Из-за его сутулости, серая болоньевая хламида его, казалось, была до колен.

Я тоже решил прогуляться.

Вышел через калитку и пошел по тропе вдоль речки, глядя на её воду. У какого-то поваленного дерева долго стоял и смотрел, как на поверхности омута кусок бересты в пене пытается выбраться из водоворота. Пошёл дальше, без тропы, и очутился на краю песчаного карьера.

Я знал, что если обойти карьер и спуститься к болоту, и пройти вдоль него, а потом подняться, без тропы, среди вековых сосен и лиственниц, на вершину сопочки, то можно найти белую кварцевую скалу, возле которой когда-то рос маленький кедр. Кедр теперь уже, понятно, высокий и ветвистый, и тень от него ложится на белую ладонь скалы. И когда я думал об этом, я уже понимал, что должен там побывать и увидеть его.

*Бродит под солнцем верблюд горизонта.
Снежных гольцов серебристая грива.
Северным ветром я нарисован
на каменной кромке обрыва.*

Не знаю, сколько прошло времени — час или больше, но, когда я вернулся, буханка уже стояла возле дачки, как и не уезжала.

тряпочкой, любезно предоставленной мне Алишером, стряхнул с кожаной коричневой глади песчинки. Гоша сел, потирая кулаками глаза и сказал:

— Никола, ты чё, совсем ох...ел? Чуть шары не выдавил. Аж позеленело всё внутри.

Он как бы немного отрезвел, что ли, по крайней мере, больше не орал, а когда я взял со стола охотничий нож с берестяной ручкой и повертел им в руках, попонтовался слегка, у меня это получается, как у фокусника, он совсем притих восхищённо. А Голик с невозмутимым умным лицом сказал:

— Вот скажи, Гоша, монголом можно стать? Нет. А казаком — можно. Значит, можно и перестать. На тебя глядя, ты, по ходу, опять лапоть.

Алишер взял осторожно у меня из рук нож, порезал на дощечке сало с мясными прожилками и разлил по рюмкам росу эту грустную. Снова выпивали.

Потапыч почти всё время молчал, иногда вставлял ядовитые словечки, ухмылялся, показывая жёлтые зубы, вяло пожёвывал сало. Я его спросил:

— Почему тебя называют деревянщиком? Это должность такая?

— Не знаю, че кому надо. Я в ЖЭКе плотником работаю.

— И как, на жизнь хватает?

— А у меня подработка есть, — ответил он уклончиво.

— В смысле? Ещё где-то работаешь?

— Гробы делаю, — сказал Потапыч. — Так, простенькие, для наших, из доски сосновой. Правда, сейчас немного заказов. Подороже, покрасивше, привозные берут. Жили как попало, так хоть помереть думают по-людски.

— А где их делают, покрасивше-то? — спросил я.

— Ясно где, в Китае — мы им лес вагонами, а они нам гробы из ДСП, причём уложенные, как матрешки, один в один.

Лицо Потапыча можно было бы назвать угрюмым по-урфинджусски, желчным, но смягчённым ленью или, точнее малоэнергичностью. Черные брови торчали над длинным рыхлым носом, глаза цвета трясины были тусклые, а руки вылазили из рукавов выцветшей куртки «Аляска» и крабами ползали по столу.

— Да уж, в девяностых ты бы стал миллионером! — хохотнул Голик.

— А ты подумай как клиентуру увеличить, — сказал Гоша Шпала, моргая белёсыми ресницами.

— Всё уже за нас наверху продумано, — выдавил из себя Потапыч.

Я смотрел на мужиков, и мне было их жаль: всё-то у них плохо, и не объяснишь, что они жертвы своей беспросветности — хоть кол на голове теши.

— Слушайте! — Вдруг пришла мне в голову мысль простая, как три рубля, как раньше говорили, и я её высказал: — Винить кого-то или что-то — начальство своё или погоду — бессмысленно. Это ничего не изменит. Если порыть, в каждом из нас всякой дряни найдётся, привычек хреновых, отнимающих время и деньги! Вот что мешает радоваться жизни. Хочется жить лучше, а начинать надо с себя, с дома! В собственном доме должно быть хорошо, с женой там, с детьми. Вот кто из вас может сказать, что счастлив в семье?

Мужиков, видимо, ошарашил этот простой вопрос. Они смотрели на меня и не спорили. Я расчехлил гусли, сел на диван и начал подстраивать инструмент. Легкий звон наполнил навес. Мужики совсем притихли. Они, конечно, никогда не слышали звуков этого инструмента и впали в транс, когда я сыграл и спел песню Виктора Цоя:

*Крыши домов дрожат под тяжестью дней.
Небесный пастух пасёт облака.
Город стреляет в ночь дробью огней,
Но ночь сильнее, её власть велика! —*

Солнце в малиновом мареве уже опускалось за сосны, у дровяника весело чиркали и сновали воробьи и еще какая-то золотистая птичка, сосновый клёст, ждали, наверно, что вот мы уйдём и оставим им крошки. Мы и вправду скоро начали собираться. Алишер хлопнул ладонью по потемневшей, с смолистыми сучками двери домика и сказал:

— Окунь, домик твой! Не спали.

Потапыч подошёл ко мне, наклонился над гуслиями, постучал пальцем с черной каймой ногтя по деке, дернул нижнюю струну, которая издала протестующий звук, и сказал:

— Тонкая работа. Кто делал?

— Я, — сказал я. — Подвнешься? Вместе будем делать.

— Нет, уж лучше гробы. Пару часов работы, и рубас на кармане. А здесь возни столько, а кому надо?

Ну что с него взять, подумал я — деревянщик!

Через полчаса я был дома, чистил в ванной зубы. Чистил долго и упорно, словно этой ментоловой пастой и щеткой я хотел вычистить и мозг: так много мути и мата набилось в черепную коробку.

Понятно, что какой-нибудь самопальный учёный типа Алексея Плущер-Сарно скажет, что мат восходит к славянским заговорам, что его, мол, произносили в трудную минуту, обращаясь за помощью к магической силе, которая содержится в половых органах. Его корни в санскрите, и в основе матерной лексики «обсценная триада». Слово-то какое! А какой-нибудь фразёр добавит, что мат — это клапан нашей психофизики, у кого он не закрывается, тот полное трепло. Ладно, согласен, а если человек молчит, молчит, а потом — ... твою мать!

9

Ночью мне снилась Аня. Мы были в замке с высокими сводчатыми окнами. Наяву, в реальной жизни я был в этом старинном замке лет десять назад, в Калининграде, там в его стенах находилась тюрьма для малолетних преступников, где я давал небольшой концерт. Замок во сне был и тот же, и другой: не было двухъярусных коек, желтых стен, и куда-то исчезли все эти девчонки и мальчишки. Окна были те же, но вид за ними совсем иной — не каменный забор с колючей проволокой, а чудное озеро, с лилиями вдоль берегов, и вокруг раскидистые тенистые деревья, и солнце, кажется, купается в этой воде.

И вот, мы с Аней одни в замке. На дубовом подоконнике лежит книга, очень древняя, с потёртыми краями, на её обложке бородатый старик с кувшином в руках и девица. И старик этот с морщинистым лицом очень кого-то напоминал, точнее мне казалось, что я хорошо его знаю: знакомы мне и глаза эти миндалевидные, и улыбка. Я был почти уверен, что это Алишер с бородой, но морщины на щеках, вокруг глаз и на высоком лбу лежали такими узорами, что видно было за ними душу, прожившую мудро и красиво.

Девушка и старик были как живые на обложке книги, нарисованные, конечно, но рисунок слегка изменялся: вот уже они смотрят друг на друга, а сосуд с вином отставлен. Чёрными буквами в стиле арабской вязи выведено: Омар Хайям. Рубаи. Я наугад открыл книгу и прочитал:

*Как полон я любви, как чуден милой лик,
Как много я б сказал и как мой нем язык!
Не странно ль, Господи? От жажды изнываю,
А тут же предо мной течет живой родник.*

Мы стояли у окна, почти соприкасаясь. Аня была в розовом платье, и русые волосы её были собраны на голове в пучок и схвачены блестящей заколкой, похожей на крохотную диадему. Я пытался увидеть поющих птиц, и боковым зрением оглядывал Аню, и вот с трудом повернулся и, глядя в её глаза, зелёные с янтарём, наконец-то осмелился и обнял её.

Я видел её лицо так близко! Маленькие розовые ушки и пушок прозрачных волос на виске. Тонкий, чуть вздёрнутый носик, тёмные бровки и еле заметная родинка на щеке.

Я, слыша её дыхание, наклонился и поцеловал её в приоткрытые губы, и она совершенно не сопротивлялась. Губы были сухими и горячими, воздух пах розами, а тишина была такая, что слышно было, как за окнами поют птицы. И я увидел этих птиц, маленькие серые птахи в листве клёна, сразу у окна, но как поют!

Я почувствовал на своей спине сквозь рубаху трепет её пальцев, и так, обнявшись, мы стояли несколько минут, или больше, просто время исчезло. И я поднял её, легкую, на руки и отнёс на кровать, рядом с которой на полу распласталась медвежья шкура.

Кровать была широкой и мягкой, как пух, а на дубовом изголовье был вырезан лев, охраняющий покой ложа. Я положил свою Анечку в этот тёплый хрустящий снег простыни, снял с ножек фиолетовые туфельки с чуть стертymi острыми каблучками и сел рядом, чувствуя, как проваливаюсь в перину.

— Ты больше не уйдёшь? — Спросила она тем же голосом, каким читала свои грустные верлибры тогда в день Ивана Купалы, негромким, как бы на грани сомнения в нужности происходящего.

— Да, я вернулся, — сказал я, и был совершенно уверен, что вот, да, вернулся, и это моё.

Кровать эту я никогда прежде не видел, в кино, наверно, где-нибудь мелькнула, а вот медвежья шкура мне была, как говорится, до боли знакома. Огромная бурая шкура медведя-шатуна, которого мы с егерем завалили в том северном посёлке, где добывают золото, и где родился мой старший сын Егорушка.

Это был ледяной ясный день марта, медведь вышел из леса прямо в посёлок и уже копался на помойке. Мы с егерем, рыжим угрюмым мужиком, стояли у его избы, и до медведя, увлеченного объедками, было рукой подать. Егерь только и сказал:

— Хуасэ! — И нырнул в избу и через секунду выскочил с двумя ружьями. Мелкашку сунул мне, а карабин двенадцатого калибра выставил вперед и, как был в чунях и свитере, пошёл, посверкивая стволом, на медведя — отчаянный был человек!

Шатуна мы застрелили, и шкура долгие годы бродила со мной по городам, квартирам и мастерским, пока не осела в «Театре Пилигримов». У неё не все ког-

ти, трех не хватает: один срезал антикварной опасной бритвой друг моей молодости, фронт и гусар Серёжка Бутаков. Второй — может даже и отгрыз — Андрияха Тимченков, бритый под ноль поэт в круглых очках. А третий коготь я лично отстриг ножницами для резки холстов и подарил художнику Москвитину, после того как он, стоя на этой самой шкуре босыми ногами и глядя из окна своей мастерской на город в снегу, произнес трагический в своей безысходности монолог в шуньковском фильме «Наваждение».

Таким образом, шкура вошла в историю ещё до того, как в каком-то доме крысы прогрызли ей хребет, как раз в том месте, где начинается огромная голова, и густая шерсть холки прикрыла дыру. И сейчас эта шкура была у меня под ногами.

А вот я уже держал в руках странный инструмент с жильными струнами. Инструмент был древний, темный, поблескивал матовым лаком и напоминал гусли, но с выпуклыми деками и причудливой формы: левая моя рука ложилась на струны, огибая чёрную голову птицы с открытым клювом.

Я прихватил струны пальцами, и они откликнулись, и началась магия звуков, и это был не колокольный звон серебряных струн, а глубокий, с сомкнутыми ртами, хор падающих ангелов. Я заиграл, наполняя своды замка звуками струн необыкновенного инструмента, и запел, сам удивляясь своему голосу, низкому и сильному:

*Медвежья шкура у меня под ногами,
я пью облепиховый сок,
над городом ночь, и пульсирует пламя
зелёной звезды в паутине дорог...*

Я спел песню, которую сочинил в наивные двадцать два, снял ботиночки свои кожаные бордовые, в которых ходил в блаженные двадцать пять, и лёг на кровать, рядом с Аней взрослым дядькой.

Мы лежали рядом, вливаясь друг в друга, как будто два сосуда соединились, или, точнее, открылись друг другу, нежная тёплая энергия входила в меня от её плеча и бедра. Над нами покачивался высокий потолок из дерева, похожего на карагач: с замысловатыми узорами волокон. Мы смотрели на него, лежа на кровати, не шевелясь.

Те места, где мы с Аней соприкасались телами, начало жечь, и я уже не помню, как стал потихонечку целовать её шею, и ладонь моя скользнула по шёлку платья, по холмам и ложбинкам. Птицы пели за окнами и в моём сердце, маленькие милые серые пташки! Тени в углах зала отвернулись. Я целовал свою Аню и ласкал, и ладонь моя оказалась у неё на затылке, и я укололся о диадему — её край оказался острым как игла.

Я даже не заметил сначала, пока не увидел алое пятнышко на рукаве белой своей рубахи, из ладони у большого пальца выступила капля крови. Я стянул и бросил на край кровати рубаху. Аня отстегнула свою опасную заколку, не глядя бросила её на медвежью шкуру, и выпущенные на волю волосы ковылём рассыпались по подушке.

Касаясь губами её шеи, я медленно стянул указательным пальцем платье с её плеча, скользя ногтем по коже, стянул и красный лифчик, и поцеловал её, выделяющуюся своей незагорелостью, грудь с земляничкой. Аня положила ладони на мой затылок, запустила мне в волосы пальцы, к корням, и я ощутил их блуждающими где-то в мозгу в самых центрах полушарий. Я слегка прикусил земляничку,

и Аня вытянулась и застонала так жалобно, что я приподнял голову и встретился с её зелёными с янтарём глазами.

Я разделся сам и снял с неё все, и последними на медвежью шкуру упали её красные трусики. Она лежала на постели, смуглая как морская звезда, совершенно голая, прикрываясь тонкими руками, а ноги её были сжаты и вытянуты, так, что кончики пальцев тоже напряженно тянулись алыми ноготками.

Стараясь не раздавить её своим весом, я лег сверху и почувствовал, как под моим волосатым коленом расходятся её бёдра. Я качнулся над ней, упираясь кулаками в подушку, и утонул в зелёной пучине её глаз.

Тепло полилось по всем закоулкам души. Каждая клетка во мне пульсировала блаженством. Мы не летели. Мы плыли в счастливое безвременье.

И вдруг сквозь её уже затихающий стон я услышал нарастающие голоса. Это были голоса тех, с кем я провел это воскресенье. И я проснулся.

Время подходило к восьми, я варил кофе, вспоминал увиденное во сне, размышлял над высказыванием Фрейда: чем более странным нам кажется сон, тем более глубокий смысл он несет. Глядя на женщин возле магазина, я понимал, что Аня опять не пришла на место сбора. Белый микроавтобус уехал без неё.

Сон-то как раз был мне понятен, а вот реальность была как минимум странной: на ладони левой руки был маленький свежий порез. Пожалуй, Юнг объяснил бы мне эту связь с происходящим точнее, чем Фрейд, так как в его практике есть место мистике. И что бы, интересно, сказал по этому поводу магистр Лита — он не любит, когда ключевые события жизни героя становятся заложниками сна.

10

У меня сломался пылесос. Катастрофа. Без пылесоса мне было никак нельзя: я на балконе установил верстак, сделанный из дубовых брусков дивана, на котором умерла мать, и мастерил на нём гусли, четыре разных по форме и цвету инструмента. Кони Апокалипсиса — так назвал свою задумку, не скрою, есть во мне эта тяга к высокому слогу. Три инструмента уже были готовы, оставался последний палисандровый, почти черный.

Его надо было лачить, но сначала в мастерской надо было навести порядок: не любит лак пыли, и здесь веником не повозишь, нужен пылесос! Я им вытягиваю отовсюду пылюгу и опилки, которые не сгрёб мой треснувший красный совок, и по квартире, естественно, я им еложу несколько раз на дню: во-первых, мелкий мусор никаким веником не подметёшь, а пылесос даже этого гада, пылевого клеща всасывает, а во-вторых: тропинка желтая по ковру набивается за день от балкона до кухни. А что делать, нет вариантов, надо работать по двадцать пять часов в сутки! Банк звонит, требует денег. Благо, что люблю я это дело!

Я отдал пылесос Леониду, он отнёс его на завод, в свой электроцех, и сегодня позвонил: забирай. Нужно было идти на завод.

Огромная территория с бетонным забором и колючей проволокой, за забором крыши и тусклые окна цехов. Я знал этот завод с детства: мы сюда бегали мыться в душевые. Это было потрясающе: пролезть в дыру разъехавшихся бетонных плит забора и нырнуть в цех, пахнувший мазутом и сваркой. Пройти по земляному полу в этом грохоте и лязге металла, стараясь не наступить в чёрные густые пятна отработки, подняться по железной лестнице и пропасть в стене, так

как издалека не видно ни этой лестницы, ни двери — всё выкрашено в синий цвет. И вот, открываешь дверь иходишь в стену — в душевые, здесь шум воды и голые мыльные мальчишки.

Я позвонил Леониду, сказал, что подошёл, и принялся рассматривать проходную, особо ничего здесь не изменилось: вахтёр плешивый за стеклом, отполированная до блеска руками трудяг вертушка.

В войну этот завод выпускал танки. Мой дед на войне был танкистом. Ушёл молодым лейтенантом, горел, конечно, не раз, брал Кёнигсберг — три дня опускалась кирпичная пыль на разрушенный город, и вернулся с войны героем с обожженным лицом. Этот завод выпускал танки Т-34, возможно в каком-то из них воевал мой дед, которого я никогда не видел.

Так рассказала мне мама: она в день свадьбы открыла дверь на стук и чуть в обморок не упала; перед ней стоял в шинели и каракулевой папаше с кокардой высокий мужчина, и правая сторона лица его, с тусклым глазом, до костей была в багровых рубцах с белыми жилами. Эта правая сторона лица его, обожжённая, скалилась. Мама от страха вскрикнула и прикрыла рот ладошкой — это был отец моего отца.

Теперь завод обслуживает железную дорогу. Железку. Еле выжил, как говорят мужики, которые работают здесь и держатся за свои места всеми своими крепкими мозолистыми руками.

Пришел Леонид, кивнул вахтеру, и мы пошли в цех.

На верстаке, под окном с тусклыми треснувшими стёклами, стоял мой пылесос, и работал исправно, только на постоянном режиме мощности, на полной: какое-то реле, отвечающее за тягу, накрылось, и его удалили. Да я и так всегда на полной мощности!

Мы прошли в комнату отдыха — тоже с синими панелями, как стены завода, помещенице, но с раковиной, зеркалом и краном. Леонид вскипятил чайник, поставил на стол с порезанной вышарканной клеёнкой стаканы, пряники и варенье в банке.

Чай пили втрём: я, Леонид и ещё один электрик, он тихо возник откуда-то в очках и в чёрной робе с карандашом в кармане. Опять заговорили о пенсионном законе, для них это было главной темой дня: мужичок-электрик быстро слеп, дипотрии увеличивались, до пенсии оставался год, никак он не рассчитывал ещё пять лет быть в этом цеху, да и не смог бы, разве что подметать.

— Всё, ка-ка-ка... каюк мне, — сказал он, заикаясь.

Я чуть не расхохотался, потому что прозвучало это очень комично, а я не сразу понял, что он заика. Это всегда неожиданно, столкнуться с такой вот своеобразной речью. Я, конечно, виду не подал, даже не улыбнулся — тем более, что он жаловался на жизнь.

— А я ещё потяну, — сказал Леонид. По его лицу казачьей закваски, шолоховской такой лепки, горбоносенькой и остроглазенькой, было видно, что он решительно настроен ещё пожить. Понятно, он был крепкий как корень: никогда не курил, пьяным был только один раз, после армии, когда застукал свою девчонку с другом на новогоднем празднике. Взял бутылку самогона и выпил один без закуски — это могло бы кончиться плохо, его нашли ночью спящим в сугробе около дома, поэтому к алкоголю у него определённо строгое отношение: три рюмки! Он по-своему был даже рад, что останется работа, цех этот с пыльными окнами и синими панелями, где он провёл сорок лет — зарплата все же больше, чем пен-

сия, а у него две дочки без мужей и внук Фадей, которому нравятся мои гусельки с белой еловой декой.

Япил чай с вареньем, оказавшимся крыжовниковым, ел медовый пряник и понимал, что вопрос непростой: например, директору музея нашего, где у меня детки выросли как на Руси средневековой, Тихонову, уже шестьдесят. Но что будет, если он уйдет на пенсию? Мы тогда, пожалуй, в «Тальцах» больше не соберёмся семейкой всей, не поживём в особнячке на ангарском берегу. Придёт новый человек, новый директор, и, конечно, многое изменится.

— А для меня это хо-хо-хоть ложись и подыха-ха-хай, — сказал заика-электрик. — Комиссию по здоровью не пройду. Придётся другую какую-нибудь работу искать, цех подметать, или вообще — за забор, на ко-ко-ко-печную зарплату. А пенсию-то с последнего места работы начислять будут, и что я там, в цеху метлой заработаю? Или сторожем где-нибудь, если зарплата с гулькин нос?

Вид у него и вправду был жалок — такое серое, сморщенное лицо с бородавкой на носу, и ещё очки эти на веревочке с увеличенными затуманенными глазами.

— Прорвёмся. Бог не выдаст, свинья не съест! — сказал я.

— Ка-ка-ка-кой Бог! — вдруг взвизгнул заика электрик! — Ни ка-ка-ка-кого Бога нет! Есть во-во-воля и разум!

— Ну тогда думайте мозгом, где соломку подстелить, — улыбнулся я. Загрузил пылесос в рюкзак, пожал руки мужикам и отправился дальше.

Я шел по улицам и переулкам, обходя лужи, полные клубящихся облаков, мимо чёрных изб с палисадниками с зацветающей черёмухой, и кое-где в серых затонах шифера мелькала зеленая или бордовая крыша из металлочерепицы. И ещё кое-где, даже у бревенчатых домов, я замечал пластиковые окна: удобно, конечно, но не эстетично без привычной крестовины, особенно в кривенькой избе такое окно — как бельмо.

Я шёл к Димону, нёс ему готовый новенький инструмент, который он уже приоткрыл. Рыжего коня. Гусли, замотанные в махровое красное полотенце, лежали за спиной в рюкзаке, рядом с пылесосом, но не касались его, я разделил их куском пенопласта.

Димон жил на горе в избе, похожей на терем с высоким крыльцом, и видно с этого крыльца было далеко: всё наше селенье, уместившееся в распадке, было как на ладони.

Пятаки было видно, и в центре городка Белую Ограду, её двухэтажные дома, как кораблики в синем небе, если перевернуть картину, и была она снова сияющая белизной.

Железную дорогу и вокзал, на котором — этого видно не было, но я твердо знал — висело: станция Алзамай, что при обратном прочтении читается как Яма зла, если учесть транскрипцию буквы «Я» (но ведь при таком прочтении и планета Марс получается — срам).

Видно было реку, синей змеёй ползущую по городку, и в правой стороне горизонта можно было разглядеть хуторок, где изба моего покойного брата Андрияхи, и домик Ани можно было разглядеть без бинокля, и над всем этим по кругу — таежные сопки.

Димон встретил меня радушно — на обрызганном солнцем лице расплывалась улыбка. Он ждал меня у ворот и с ходу спросил:

— Что у тебя в рюкзаке? Гусли так раздулись?

— Пылесос. Накрылся, а на заводе починили.

— И ты вот так с ним в гору?

— Зато как легко будет идти обратно! — сказал я.

Мы прошли с Димоном в его гараж, он там, по его словам, сделал уборочку: застелил покрывалом дырявый диван, люстру старенькую к потолку прикрутил, получилось весьма уютно. Я поставил рюкзак на пол и достал гусли, раскрыл махровое полотенце. Димон взял инструмент, сияющий янтарной декой, сел на диван и бойко так забрякал-забряцал с подцепами.

Так мы договорились, сделать сюрприз своеобразный для всех: Димон, приходя ко мне в квартиру на репетиции, потихоньку осваивал гусельки, и вот момент истины наступил: вчера я натянул струны и настроил инструмент, и сегодня Димон сыграет на нём для своих домочадцев, а потом — на работе, в Доме творчества, где он вел кружок игры на баяне. Впрочем, где он только не раздувал меха: и бабкам в клубе аккомпанировал, и в детсадах малышне, и на свадьбах — вечером, когда уже самые стойкие заплачут и запоют частушки с похабинкой. На каждом месте работы у него лежал баян, а дома — любимый старенький инструмент, но вот дома-то он как раз и не играл.

Вдруг Димон вытаращил до белков болотные глаза, расширил норки носа, хлопнул себя по коленкам, обтянутым чёрным трико, и вскрикнул:

— У тебя же пылесос! А я здесь кропаль потерял. Приходил ко мне тут один дружбан месяц назад, положил кусочек на стол и сам же смахнул куда-то. Я всё уже обшарил, подметал, возможно, он в щель куда-то завалился.

Я посмотрел на тёмный дощатый пол с широкими щелями, забитыми мелким мусором, и сказал:

— Чем чёрт не шутит?!

Мы подключили пылесос и стали старательно наводить в гараже марафет, а уже через несколько минут, вытряхнув на лист берёзовой фанеры мусор из мешка и тонким слоем его распределив, склонились, изучая сомнительные артефакты, и надо же — вот он, с чернуо горошину!

А когда запихивали пылесос в рюкзак, Димон прочитал на его тёплом синем боку название: ВИТЕК и, как говорилось раньше, опупел: оказывается, бродягу того, который сюда кропаль принёс и сам же его смахнул, звали Витёк.

— Ну не мистика ли? — спросил он.

— Есть маленько, — сказал я.

А ещё через какое-то время мы уже сидели на широком деревянном крыльце избы-терема, и у Димона в руках был сияющий янтарем инструмент, и он играл.

Его сынок, белобрысый мальчуган, и беременная жена в цветастом халате вышли на крыльцо. Жена глядела большими индийскими какими-то глазами на димоновы руки, ей откровенно нравились звуки и переборы.

— Вот на них, на гусях, играй. А то замучил меня уже твой баян тягомотный, — сказала она, и положила руки с пухлыми пальчиками на цветочки своего огромного живота.

— Теперь буду! — И на лице Димона, добром, с красными здоровыми щеками и припухшими глазами балдеющего сельского музыканта, блуждала улыбка.

Я знал, что жена его, возможно и полюбившая его за песни и игру, теперь терпеть не могла баяна — потому, что стоило раньше Димону куда-нибудь уйти с баяном, возвращался он обязательно пьяным в драбадан, или того хуже, пропадал на трое суток. Это продолжалось годы, так что страх, ввевшийся, как ржавчина в

железо, в души наших женщин, отскоблить одним махом не получится. Но теперь Димон не пьёт ни капли — цирк к нему приезжал.

В дом вошли, расположились, собачка, кошки дрессированные бегали по комнатам. Он с клоунами выпивал, за эквилибристкой хорошенькой ухаживал, она была в голубом купальнике и юбчонке, мелькала голыми ножками, а вечером, когда они погрузились в кибитки свои и покатали, Димон, как рассказывали соседи, шёл по улице с баяном в одних чёрных семейных трусах босиком по снегу и кому-то кричал: постойте, а как же я! На улице, кроме него, не было никого.

Это он так месяц без жены пожил, когда она раз в жизни на море съездила, и белочка его посетила, вот поэтому он в завязке уже третий год. И теперь ещё у него появился этот инструмент, и он уже играет, да так ловко! Есть надежда, что не уйдут эти звуки в песок времени.

Потом мы сыграли дуэтом: я на гусях, а она на баяне своём, выдавшем виды, меха которого я лично подклеил кожей, убрал свистящие дырки. На широком деревянном крыльце сидели, обнявшись, его беременная жена и сынишка с сопелькой в носу и очень внимательно слушали, и смотрели на горы или сопки. Как назвать эти волны земли, поросшие вечнозелёным лесом? Лысеющие холмы.

Вернулся я домой, когда солнце уже садилось: запад городка горел алым пламенем. Возле подъезда столкнулся с Бомбистом, пожали друг другу руки, его ладонь была влажная и вялая. Разговорились немного, он спросил, есть ли у меня знакомые в высоких кабинетах области, и я вдруг понял, что он не прочь устроиться в какое-нибудь госведомство, с перспективой стать чинушей.

— Так ты ж настроен критически, — сказал я.

— Понятно, что там инакомыслие не приветствуется. Да платили бы! — Сказал он. Его лицо с зачёсанными назад тёмно-русыми волосами было невозмутимо. А свинцовые глаза тверды.

Хотя бы честно. Ген выживания даёт о себе знать. А в лице у него действительно что-то польское: у нас такой типаж принято считать благородным, вроде и на нас, на русских походят, славяне же, однако носы такие — не картошкой, и горделивость какая-то повышенная, даже когда молчат. Не приветствуется, говорит, инакомыслие. А где и когда оно приветствовалось: республиканский форум осудил на смерть Сократа, умнейшего человека! А Джордано Бруно, учёного мечтателя с библиотекой в голове, инквизиция сожгла на костре.

В квартире я первым делом включил пылесос и, работая на полной мощности, всё и везде вычистил: неделю хворал мой верный помощник, и за это время в обители моей, как любила говаривать моя мама, случился полный Армагеддон.

А перед тем, как лечь спать, я решил уточнить обстоятельства казни Джордано Бруно и обнаружил статью, в которой утверждалось, что иначе было и нельзя: бывший монах и бродячий учёный, как утверждал автор, впал в несусветную ересь, ратовал за возрождение язычества и оправдывал жертвоприношения.

11

Утром звонили из библиотеки. Спросили, не забыл ли я, что сегодня к ним надо прийти. Конечно же я не забыл! Они мероприятие организовали: Нину Александровну, маму мою, вспомнить добрым словом и на меня поглядеть. Надо было идти, выступить, поиграть на гусельках!

Библиотека в кирпичном доме с зарешеченными окнами в центре городка, а я ещё из тех мастодонтов, что ходят сюда за книгами.

А библиотекарьши — хороши, у меня с ними давнее понимание. Есть там одна высокая, плавная, со светлой косой по спине. Она, когда я книгу сдавал, так мне и сказала, глядя на меня серыми своими глазами: я ваша поклонница. У меня чуть книга из рук не вывалилась. Так неожиданно.

В общем, на короткой ноге я с ними: и кофе выпью, и поговорю о том о сём.

А здесь мероприятие. И мне немного было не по себе.

Одно дело для незнакомой публики выступать, другое — для тех, кто тебя знал в нежном возрасте. Наверное, местные стихотворцы будут. Учитель биологии будет, такая женщина уверенная, высокая, в очках с золотой оправой. У неё внезапно талант открылся, оды нашему городку пишет. На праздники и дни рождения. На юбилеи трудового стажа и, так сказать, надгробные. Она и на маминых похоронах, после кладбища, когда в кафе ужинали, читала громким голосом какое-то длинное стихотворение о геройском учительском труде. Она и книжки выпускает на свои деньги и раздает всем со счастливым лицом. И мне тоже подарила. Начал я читать, и такая тоска меня взяла от этой деятельной серости. А когда я при встрече попытался как-то указать на самые провальные места, про бесконечные день-пень, алые розы и крепкие морозы, она, окаменев лицом, вполборота, сверкая золотом очков, сказала:

— Мы в Литературных институтах не учились. И вообще, сколько у вас книжек?

— Три, — сказал я.

— А у меня пять! И есть, поверьте, свой преданный читатель!

Но, как в старину говаривали, что греха таить: ведь и в Клубе Литераторов нашем выпускают толстые книги, набитые графоманскими творениями, а книги эти никому не нужны, их даже авторы до конца дочитать не могут. А бумага, между прочим, произведена на целлюлозном комбинате, до последних дней травившем Байкал сбросами.

Если поднять в небо дрон, можно увидеть, как на берегу озера чёрными зеркалами лежат гигантские бассейны с ядом до краёв — это шлам-лигнин и чёрный щёлок — отходы при производстве целлюлозы. И это там, где примерно раз в полвека сходит большой сель: потоки грязи и камней с гор — последний был в 1971 году. Тогда потоками этими в Байкал смыло железную дорогу, мосты и все, что было на берегу, а сейчас на пути у стихии — эти адские чёрные зеркала. Раз в полвека. Так вот утверждают метеорологи, хотя у нас принято над ними шутить.

Мы с Антоном Забаевым, летописцем сибирской глубинки, моим старшим другом, как-то на берегу ангарском выпивали, закусывали хариусом, который я выловил на спиннинг, и рассуждали о том, как уберечь эту красоту: воду, прозрачную как хрусталь, и леса первозданные. И пришли мы с ним к выводу, что есть прямая связь между графоманскими эпитетами и чистой водой: ведь ЦБК этот травит природу, изготавливая бумагу, а потом на ней, на этой исключительно мелованной офсетной бумаге, бездари печатают свои вирши, прославляя Священное озеро.

Я ведь и правда, настолько связан с водой этой — дети мои на ней выросли, — что когда мне вдруг дают новую пахнущую типографской краской книжку, и я начинаю её читать, то — не приведи Господь, если она бездарна: я мысленно шлю гром и молнию на голову автора, потому что своей книжкой он траванул старика-Байкала очередной дозой чёрного щёлока. Рефлекторно это у меня, а сейчас

же любой напишет муру всякую и сам себя издает, ни редактор ему не нужен, ни корректор — ладно если на свои деньги, а то ещё на народные! Недаром пьянице-печнику, гонявшему бабу свою и захлебнувшемуся блевотиной, в аду с каждым днем всё лучше и лучше, особенно зимой — люди его хорошим словом поминают за гул в печи, а писателю все хуже и хуже — произвeдeнница его дрянные против него работают.

Ведь до абсурда доходит: под одной обложкой своей мутной книжки какой-нибудь стихоплёт воспевает расстрелянную в подвале Ипатьевского дома святую царскую семью, а следом, через несколько страниц, тех, кто со стальным сердцем это вершил.

Да люблю я, люблю писательскую братию, пусть творят, мир этот нам объясняют, инженерят над душами, фантазируют, я лишь против того, чтобы они всякую ерунду печатали, и гениями сами себя называли.

Я уже собрался, зачехлил гусли, но выходить было ещё рановато, поэтому я прикидывал, что можно было бы рассказать в библиотеке о своей литературной жизни. Вдруг вспомнилась история, которая уж точно была не для этой встречи: как я в новогоднюю ночь оборвался вместе с водопроводной трубой с высоты балкона Клуба Литераторов и чуть не убится об лед!

Все тогда подумали, что я к Людмиле, к секретарше нашей хорошенькой приставал. Она после банкета осталась одна в особняке, в Зазеркалье — там ведь и диван роскошный, и шторы из лилового бархата, и бельё чистое, а я под столом там сумку свою любимую кожаную забыл — потащился куда-то после банкета с компанией кого-то провожать и спохватился, вернулся: в сумке же деньги и бутылка французского коньяку. И что было делать?

Людмила, ведьма рыжая, дверь уличную парадную не открывает: смотрит огромными глазами из окна балкона Зазеркалья, а в небе, в сером рубище туч, летит полная луна. Пришлось лезть по водосточной трубе на балкон, и выбивать стекло. Почему-то я спяну решил, что это нормально. Людмилы там, конечно, уже не было, она из комнаты выскользнула и дверь за собой закрыла, а дверь эту зеркальную, как и парадную, не прошибить — дубовые.

Сложные у нас с Людмилой отношения были: мы учились когда-то на одном курсе в университете, она тогда ещё Клыковой была, хорошенькая такая, с талией рюмочкой. Потом я ушёл в армию. И увидел её лет десять спустя у нас в Клубе Литераторов. Секретаршей. Теперь она была Лисичкина, и я знал, что она обо мне говорит забавные вещи. А теперь уж точно я, можно сказать, в капкане.

— Людочка, — просил я, — открой, поговорить надо!

— Сейчас наряд приедет, с ним и поговоришь, — отвечала она высоким протяжным голосом.

— Выпусти меня хотя бы.

— А тебя никто и не держит!

Так мы с ней куце пообщались сквозь толстенную дверь, покрытую тёмным лаком.

Вытащил я свою кожаную сумку из-под стола и вышел, откуда вошёл — в разбитое окно на балкон. Дыша морозом, выпил ещё прямо из горлышка коньяку и полез вниз по столетней водосточной трубе, и она не выдержала, труба вырвалась вместе с железным штырём из каменной стены, и грохнулся я на лед спиной, аж искры из глаз полетели и подождли серое рубище туч. Так вот.

Меня тогда чуть не исключили из Клуба Литераторов, такую бочку покатали! Хотя я, как порядочный, на следующее утро окно застеклил и, как мог, перед Людмилой извинился, даже розу белую купил и шоколадку, а она только губки дует, трясёт рыжими кудрями и исподлобья глазами сверкает: милицию же не вызвала, мол, что тебе ещё надо, насильник противный.

А ведь могла просто тупо сумку из окна в сугроб выкинуть, и дело с концом.

Не исключили, потому что Антон Забаев вступился, целую речь в мою защиту толкнул: Есенина вспомнил дебоши, Высоцкого похождения, а выглядит Антон очень доверительно, кряжистый такой мужичок с врубленными в корявое лицо глазами, наполненными чёрной тревогой. Старики, которые помнили ахматовское: «Ах если б знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...» морщились, но соглашались.

И Альфред Игнатич Неупокоев встал, как сейчас помню, во всем черном, с бордовым галстуком на шее, поправил ладонью седеющую шевелюру, сверкнув серебряным перстнем на среднем пальце, и сказал:

— Не надо в собес, и тем более в богадельню превращать творческий союз. Пусть хоть молодежь живет ярко, пусть сумасбродствует и ошибки совершает, и опишет эту жизнь для тех, кто не может этого сделать, но идёт по тем же следам. А то, куда ни плюнь, одни праведники. А я ведь, ребята, вас как облупленных знаю, всю вашу подноготную.

Он поправил бордовый галстук и медленно окинул всех тёмным взглядом.

А Сапожков, председатель наш, наседали: он так обстоятельно подготовился, хотел процесс показательный устроить новорусскому хулигану; у меня же, оказывается, денег куча, могу на такси по городу ночью кататься от памятника к памятнику, по рюмочке выпивать то с Колчаком, то с Вампиловым, а потом на Байкал мотнуть. И кто ему рассказал? Было-то пару раз.

Сапожков факты подсобрал из всей моей жизни, можно сказать, получившейся по-соцреалистически однобокой, и по лицам, по ускользающим взглядам было видно, что дело моё решённое. Нет, не то чтобы я особо дорожил обществом Клуба Литераторов, дорожил, конечно, у меня и здесь друзья были, но хотелось справедливости, а я, если честно, в подробностях событий этих новогодних не помнил. А председатель говорил обо мне такие вещи, что я чуть сам себя не разлюбил. Тишина в собрании была такая, что слышно было, как Женя Стехин, маленький, мягкий человечек, которого за красивый почерк всегда выбирали протоколировать, шуршал бумагой. Кто-то кашлянул.

— В защиту гусара замолвить словечко хочу, — сказал и встал Глеб Пакулов, крепкий старик, это он тогда с Вампиловым в лодке перевернулся в страшный августовский день. Выжил, на горе себе, как не раз говорил: потому что каждый дурак почему-то считал нужным попытать его, как это случилось, что они в лодке перевернулись, и почему он сам не утонул?

— Нам же всем стыдно потом будет, — сказал Пакулов, опустив руки и упервшись растопыренными пальцами в край полированного стола, сияя синей наколкой-солнышком на кулаке. На смуглом, с седой щетиной лице его, изрезанном морщинами, выразилось презрение. Он обвёл монгольскими глазами собрание: человек сорок умных мужей с великим Распутиным во главе. Я был самый младший — Глеб был самый старший, и спорить с ним было бесполезно. Он набрал в прокуренные легкие воздух, так, что из-под черной рубахи показалась тельняшка, и выдохнул аксиому:

— Поэт должен петь и лезть на башню к красавице, где её стерегут такие чудовища, как мы.

Помолчал, дождался, когда закончится возникший гул голосов, и закончил:

— Все мы по пьяни бываем одновременно и Русланами и Черноморами. Так что после собрания, проголосовавшие за исключение, расходитесь по домам, сегодня не ваш день, а мы останемся на банкете. Спонсор банкета — господин Трапезников, генеральный директор компании «Возрождение».

С кресла встал богатенький Трапезников, здоровый красивый дядька в малиновом двубортном пиджаке и, зубасто улыбаясь, сказал:

— Имеем возможность помочь Клубу Литераторов с выпуском книги «Поставленные к Иркутской стенке», в которую войдут ваши лучшие произведения. И средства на этот проект я завтра же перечислю вашему председателю. — Опять поднялся гул голосов, и в этом потоке обертонов отчетливый тенор Никиты Сапожкова: «в общем-то, окно выбитое он сразу же вставил...»

Простили великодушно. Распутина на банкете не было — он был совершенно твердым человеком. Весь вечер лилось вино и пелись песни, нас развлекал Роман Градов: пел высоким козлиным голосом, а гитара его была действительно великолепна.

Да, в библиотеке это рассказывать было бы неправильно. Они ждут чего-то хорошего, жизнеутверждающего, незряшного. Что ж, буду читать стихи и петь песни под гусли. И поменьше о себе — так я решил!

Но если быть откровенным, хотел же я с Димоном в Доме культуры концерт заорганизовать? Встретились с начальницей, Марьяной Токаркиной, чернявой теткой, молодящейся под дивчину. Но она что-то вяло пошла навстречу. Сквозь губу. Концерт, типа, какой-то благотворительный. Их больше джаз интересует. А тут гусли и баян. Да и мы, может, не особо настойчивы были.

А тут в библиотеке само собой в память о маме такое мероприятие организовалось, от меня только согласие и пожелания. Будут её друзья, коллеги. Конечно, она была бы не против, чтобы они стали и моими друзьями-коллегами. Чтобы я влился, как она выразилась, в их среду. Поэтому всегда хотела, чтобы я окончил университет, а я поучился в разных заведениях, дотащился вечным студентом до неопределённого курса и окончательно бросил учёбу.

Время шло, я занимался другими делами, и она поняла, что никогда у меня не будет диплома, никогда я не буду серьёзным человеком, а когда я поступил в Литературный институт, гордиться особо было уже нечем — учиться надо пока молодой. Но все-таки ей было приятно, что я отучился пять курсов, и она спросила как-то по телефону, когда у меня последние экзамены.

— А зачем? Я может ещё куда поступлю, поучусь. На композитора, или на богослова, — шутливо сказал я.

— В смысле? Ещё где-то учиться собрался?

— У нас в государстве можно до старости бесплатно образование получать, а если я диплом получу, то всё. Вышка только одна бюджетная, — сказал я.

И это было действительно так: я знал девицу, отучившуюся на психолога в МГУ до госэкзаменов и поступившую к нам в Лит.

— Ничего я в этом не понимаю! — с огорчением в голосе сказала она.

— Мам, пойми, я поэт. И вот гусли ещё делаю. И диплом в моей жизни ничего принципиально не изменит.

— Сынок, ну что ты мне голову морочишь? Ты же не всегда стихи пишешь,

может, ещё в школе, здесь в городке, преподавать будешь, — сказала она. — А на гуслих можно и в Доме культуры поиграть.

О люди старой закваски! Преподавать в школе?

Нет! Только не это! У меня уже был опыт преподавания. Мне привязывали стул шторой под самый потолок. Я ставил единицы всем подряд за невыученный урок, и поднимал за шкуру в туалете какого-то пацана за то, что он послал меня на три буквы. Мне было двадцать два, это был северный поселок, где добывали золото. Рабочая слободка. Все же мне удалось завладеть вниманием этой маленькой неадекватной толпы, но стоило это серьёзных душевных и интеллектуальных усилий. Я закрутил гайки так, что завуч, белокожая якуточка, однажды, заглянув в кабинет литературы, где я вел урок, смущённо сказала: «Я думала, что здесь никого нет. Такая у вас тишина!»!

Для мамы её учительская среда была семьёй. Она ведь многим была близким человеком, а Олю Тебенкову, которая когда-то улыбочивой барышней приехала сюда по распределению из Иркутска и осталась, полюбила нашу школу, — иначе как доченькой и не называла.

И вот сегодня мне предстоит встретиться с ними глаза в глаза. Гусли они, наверное, не видели вживую, так сказать, не трогали пальчиками, но представление имеют: по телеку в своё время ещё показывали фильмы, где звучал этот инструмент.

Эх, сыграть бы всей семейкой нашей музыкальной в библиотеке этой для местной публики — вот было бы здорово! Вот зажгли бы!

Мы ведь волшебную музыкальную сказку сотворили на стихи местных поэтов — лучшее взяли. И дети наши с Элеонорой так её распевали на голоса! Серьёзно ими занимались, так репетировали, что маленькая публика в садиках ликовала. Помню, директриса, статная дама, после концерта в саду «Лучик» сказала:

— Какой у вас ансамбль замечательный, и песенки-то всё про зверушек сибирских!

— Сочиняем. Да ещё наши поэты — Трофимов там, Горбунов, — сказал я.

— А дети у вас какие артисты!

— Репетируем — от слова повторяем, — улыбнулся я.

— Голоса-то какие звонкие! Я ведь сама музыкант, и у меня мальчик и девочка такого же возраста. Я понимаю, сколько труда нужно, чтоб они так заиграли и запели. А у нас тут приезжают, бывает, гастролёры, детей колонками глушат. Включат аппаратуру и играют программу свою. Не слушают дети их, возятся.

— В этом зальчике колонки включают? — Спросил я и огляделся: разукрашенные цветами и ягодами стены, игрушки в углах, маленькие стульчики вдоль окон, столики, и все миниатюрное такое, что даже пианино кажется гулливеровским.

Надо было выходить. До библиотеки минут сорок ходьбы по размытой дороге: за Пятаками асфальт заканчивается, а я начистил до блеска туфли.

Накинув куртку и взяв упрятанные в чёрный чехол гусли, я вышел на улицу. В лицо ударил свежий мокрый ветер, пахнувший черёмухой. Кругом чирикали птички, и на пригорках цвела мать-и-мачеха.

Я шёл, обходя лужи, пытаюсь представить, что будет через час. Слабо почему-то получалось визуализировать публику, для которой буду играть, и поэтому мозг, чтобы компенсировать неопределённость, погружался в воспоминания.

В библиотеках семейка наша музыкальная тоже выступала. Мы шли на любые площадки, с которых, сквозь джазанутую атмосферу, можно было донести песню нашей, для всего мира загадочной, души. Давали мы концерты и для солдат, и для

сидельцев, и в штабе МЧС для матёрых людей, и в университете для студентов, где ректором в своё время был Иммануил Кант. Да где мы только не пели:

*Нежной ромашке я поклонюсь —
шмель на неё садится,
в капле росы отразится Русь —
любовь моя отразится.*

От Китая до Финляндии пронеслись на крыльях ветра странствий.

А летом обитали на ангарском берегу — в музее деревянного зодчества «Тальцы».

Вот уж действительно волшебное место: среди сосен избы, рубленные сотни лет назад крестьянскими руками, на холме черная церковь и острог, острыми бревнами упирающийся в небо.

Элеонора моя в расшитом тесьмой платье в усадьбе, под названьем «Непомилуевка», песнями встречала гостей-туристов, детки наши бегали по песчаным дорожкам в пёстрых народных костюмах. А я — тоже что-нибудь делал, если не выпивал в это время под хорошую закусочку с каким-нибудь приятелем.

Директор музея Тихонов, приятный такой дядька, если спрашивали журналисты или недоброжелатели, спокойненько так отвечал: что с них взять, странствующие бандуристы-гуслиеры не за гроши работают, а ради славы музея и процветания.

А журналисты иногда интересовались: то репортаж какой-нибудь снимут, то заметку в газету тиснут.

И недоброжелатели у нас были: взять хотя бы начальницу культуры нашей, Ларису Гололаеву, с соломенной копной, красным припудренным носом и ледяными глазками — она как-то лично была заинтересована, чтобы ансамблик наш семейный не процветал. Удалось же ей выступления наши по садикам заморозить телефонными звоночками, в которых она выставляла нас как новых «Симеонов».

А в музее нам было, как говорится, самое то! Сюда, чтобы полюбоваться этой красотой, приезжали и простые люди, родившиеся в таких вот избах и жалеющие, что приходится обитать в пятиэтажке на окраине какого-нибудь города, приезжали и иностранцы всех сортов, и знаменитости, мелькающие на экранах.

Однажды Тихонов, в кожаной какой-то стильной кепке, встретив нас на тропинке в берёзовой роще, спросил:

— Хотите для Ельцина поиграть?

Элеонора моя, а у неё, похоже, синдром Золушки был — всё на чудо надеялась, говорит:

— В Кремле что ли?

Директор помолчал, отломил сухую веточку от берёзки и сказал:

— Нет. Он уже давно на отдыхе. Почётный пенсионер. Путешествует. Сейчас сюда прикатит.

— Владимир Викторович, — сказали мы, — вы же знаете, нам терять нечего.

— Кроме музея, — хохотнул директор!

И мы поиграли: сентябрьский день, музей, закрытый для простых смертных, чиновники с пафосными лицами, какие-то крепкие люди в штатском, и по дорожке идёт наш директор Тихонов в тёмно-зелёном жокейском костюме, в этой самой кожаной кепке и в блестящих на солнце сапогах, и ведёт под уздцы пегую лошадку, запряженную в красную карету на рессорах.

В открытой карете этой, в тарантасе, в сером и черном костюмах, два пожилых

человека: Ельцин и Коль. Последний абсолютно точно походил на умирающего пингвина и был равнодушен к происходящему, а товарищ его возвышался над всеми седой головой.

И вот, похрустывая свеженьким, недавно посыпанным гравием, тарантас подъехал к усадьбе, где на завалинке в самопальных одеяниях сидели мы — я с женой и детками, вооружённые музыкальными инструментами.

Все русые, понятно, синеглазые.

Младший наш, Илюшка, ему тогда года четыре было, желтый как одуванчик, щурясь на солнце, держал на вытянутой руке треугольник — его удар должен быть первым — и он с нетерпением поглядывал вокруг.

Арсений, чуть постарше, сияя веснушками на личике, держал в руках бубен, который, честно говоря, я сделал сам из мембраны и красного пластикового таза.

Ксюша в длинном, до земли, цветастом платье, с алой лентой в косичке, держала деревянные крашенные ложки, чуть постукивая по ним, шевеля губами, вспоминая песенку.

Маша, лупоглазенький мышонок, в таком же платье, но с синей лентой в волосах, уже школьница, держала в руках флейту у самых губ и готова была в любой миг начать своё соло.

Я весь такой причёсанный, с пшеничными усами и бородкой, тараканий царь, и жёнка моя, сияющая, как Лада, с кокошником на голове, в платье, расшитом тесьмой, и с домрочкой в руках.

И вот подъехал тарантас, остановился. Директор наш Тихонов, а это явно только его затея была, подмигнул весело, и мы заиграли и запели:

*Шёл с котомкой старичок
по лесной дорожке,
а навстречь ему бычок
золотые рожки.*

Все, наверно, сразу задумались, что мы имеем в виду, какой, может, подвох есть в этой песенке. Лариса Гололаева, в деловом сером пиджачке и юбке, с алым ртом и фиолетовыми веками, аж губу прикусила. Но седому путешественнику это понравилось, он заулыбался, показал зубы и полез из кареты-тарантаса.

Он оказался старым верзилой на полголовы выше меня, с маленькими серыми, как у меня, заплывшими глазками, и, взяв у Ксюши ложки, как-то умудрившись расположить их в трехпалой руке, прогудел в нос:

— Я тоже ложкарь. Давайте вместе!

И мы заиграли, и все, кто там был — чиновники и люди в штатском — все заулыбались, точно малышня в детском саду на нашем концерте, и, конечно, Лариса Гололаева пуще всех сияла алой клоунской улыбкой. Даже Коль повернулся в нашу сторону и долгим взглядом из толстых, в черной оправе, очков рассматривал это шоу.

Вокруг нас с фотоаппаратом кружила женщина с высокой причёской, изумрудинками в ушах, и, показывая широкие белые зубы, фотографировала с разных сторон. А потом обняла и поцеловала Илюшку в щёку, как самого маленького. Я не сразу понял, кто это, только месяц спустя, когда в офисе музея мне передали фотографию, где мы такие красивые, с бывшим президентом, на фоне чёрной избы, спросил: кому сказать спасибо? Наине — ответили мне.

Надо сказать, сыграли мы вполне прилично с таким неожиданным перкуссион-

нистом и сорвали аплодисменты. Ложки Ельцину мы подарили, он залез обратно в тарантас и показал их опять ушедшему в себя Колю.

Тарантас, шурша гравием, тронулся дальше по дорожке музея мимо чёрных, с сучками из чистого золота, древних изб, за ним двинулась многочисленная свита. Они исчезли за поворотом на Илимский острог, где, если верить шальным экскурсоводам, когда-то сидел Радищев за своё «Путешествие из Петербурга в Москву».

А мы пошли в свой домик, спрятанный в музейском лесу. В домике этом, из окна которого видны были в сумраке стволы ёлок и сосен, мы жили, и в то же время нас как будто и не было.

А в конце дня, когда мы с Антоном Забаевым — он здесь метлой между изб листья гонял и книгу сочинял — уже навеселе возвращались из трактира, на тропинке встретили нашего директора.

Он снял кожаную кепку, вытер платком вспотевший большой лоб, и сходу, как своим, сказал:

— Вот кто страной рулил! Почётный пенсионер! Три тысячи мне в руку сунул на развитие музея.

— Долларов?

— Рублей! Это при официальной пенсии в миллион. Да знал бы он, сколько я музейских денег потратил на эту встречу!

Думаю, директор наш Тихонов это всем подряд говорил, так его это возмутило! Закатное солнце нимбом стояло над его головой, он горько улыбался, и в радужке глаз его плавали чёрные рыбы гнева.

Я предполагал как-нибудь таким юмором украсить своё выступление в библиотеке, если уж что-то придётся о себе рассказывать. Настроение было такое, как будто на суд идёшь. Была суббота. Небо было серым, под железнодорожным мостом вода из ручья так растеклась, что я, как ни старался обойти эту лужу, всё равно залез туфлём в грязь.

В библиотеке было человек тридцать. Я увидел знакомые лица. Ольгу Тебенькову, мамину любимицу — всё с той же невинной улыбкой на лице, и мы обнялись с ней, как брат с сестрой. Тут же возникла Галина Владимировна, мой преподаватель изящной словесности, в синем платье с розовым воротом, и с ней мы обнялись.

Я увидел других милых хороших людей, которые каждый по отдельности светились глазами, а все вместе сияли ярче люстры под потолком. И было неожиданно очень душевно, хорошо. Так бывает, что вот ждёшь с внутренним напряжением события какого-то, может быть даже хочешь его избежать, но когда оно происходит, то вдруг оказывается важным и нужным в жизни.

А самое потрясающее, что на встречу пришли не только учителя. Была Надежда из Белой Ограды и Маринка, вечная соседка моя, и Леонид принёс и развесил у входа свои акварельки, и даже Алишер пришёл во всём чистеньком и шепнул мне на ухо, что хотел и Татьяну Владимировну сюда привести, но не удалось. Передо мной на стульях в библиотечном зале сидела самая прекрасная публика, которую можно себе вообразить.

Я пел свои песни, перебирая струны гуслей. А последнюю песню «На Валдай» мы исполнили с Димом вместе под гусли и баян. А потом пили чай с пирожками, тортами и конфетами и вспоминали что-то доброе, связанное с моей мамой.

На новую дачу мы с Алишером пошли уже летом в середине июня, когда вовсю зеленели трава и деревья и всюду на полянах желтели, седели и лысели одуванчики, и на дорожке, на которую мы свернули с асфальта, лежала пыль.

Он рассказал, что купил дачу эту новую, ещё когда мы ели барашка Шарика. Собственно, тогда-то, как я понял, и происходило это обмывание покупок: Окуню оставался старый домик, а Алишеру — новый. Дачка эта была где-то рядом, в сосновом бору, и мы даже тогда дёрнулись посмотреть её, но вода в реке так разлилась, что затопило ложбинку, через которую лежала тропка, а круголя давать нам не хотелось.

Кругом цвела черёмуха — воздух такой, что жить хочется — аромат! Солнце слепило, а в синем небе ни одного облачка — как раз та грань, когда в Сибири заканчивается весна и полноправно начинается лето. Мы подошли к окраине городка, Алишер двинул к последней избе и постучал в окно с черными наличниками. Занавеска дернулась, мелькнуло носатое лицо Бабы-Яги, через минуту щёлкнул засов, и калитка приоткрылась, Алишер наполовину туда всунулся и уже через мгновенье высунулся. Махнул мне рукой, и мы снова двинулись и сошлись на пыльной дорожке — за пазухой чёрной ветровки его оттопыривалась пластиковая бутылка самогона.

— Вот, смотри, что дала старуха, — сказал Алишер и раскрыл ладонь, на которой лежал катышек из фольги.

— Что это?

— А ты разверни.

Я взял с его ладони серебряный шарик, развернул фольгу и увидел, что там лежит косточка, какие бывают в цитрусовых, только чуть меньше, и алая, как капля крови.

— Старуха эта — та ещё травница, давно мне обещала семечко какое-то хитрое, и вот дала, — сказал Алишер. — Говорит, если вырастить его, то даже листья можно кипятком заливать, мозги, говорит, сразу как часы работать начинают. А если плод дождаться и съесть, то вообще умный будешь, как Ленин.

— Вот не хотелось бы, — сказал я. — И так покоя нет, мысли лезут, а если ещё политиком стать, реально чокнешься. Горе-то от ума!

— Да от ума только польза, — возразил Алишер, и стал по-азиатски, как на базаре, меня убеждать: — Ум — это всё! Если б я не кинулся бы, подумал, и не покупал бы эту дачу еще неделю, то она мне куда дешевле бы досталась: хозяин умер, а баба его всё махом распродала в полцены: квартиру, машину и уехала куда-то отсюда подальше, к родне.

— Ясно, — сказал я, возвращая катышек фольги Алишеру. Но он его не взял, махнул ладонью и сказал:

— Ты, Никола, посади у себя среди цветов. Так, знаешь, вернее будет.

— Ладно, — сказал я.

Мы прошли по висячему мосту над рекой, уже вернувшейся в берега, и сквозь прозрачную воду видно было, как по песчаному дну двигались мелкие рыбки — гольяны. Размытые берега зарастали травой, и плакучие ивы в яркой зелёной листве тянулись к своим отраженьям.

За мостом, справа, за редкими соснами начиналась свалка, которая тянулась далеко в лес. Не понимаю, как такой маленький городок может производить столь-

ко отходов: горы мусора в проплешине леса насколько хватает взгляда, и что-то там всегда горит и вонюче дымит, картон, доски какие-то, пластик. Мы свернули с дороги и молча пошли по тропе, и я подумал, что самое время попытаться Алишера, прояснить мутные пятна его судьбы.

Я знал его историю, он отбывал здесь срок за то, что как-то вечером, в парке, где-то там в Джамбуле, гуляя со своей девушкой под фонарями, столкнулся с отморозками.

Алишер был в костюме, я так живо себе это представляю, тогда это модно было, а девушка его, Гульнара, допустим, в светлом платье до колен, и косички черненькие с ленточками. Отморозков было трое: «Вали, говорят, отсюда, а тёлку свою оставь, мы за ней приглядим». «Нет, — сказал он, — так не пойдёт», и тогда один из них достал из кармана джинсов выкидной нож — но Алишер как-то извернулся и этим же ножом его и ткнул.

Двое не стали лезть на рожон, утащили третьего, а утром за Алишером пришли. Оказалось, ранил не смертельно, но загремел из Джамбула в наш таёжный городок на три года. Превышение самообороны. Статья такая-то.

Но почему, уехав после срока отсюда, он опять оказался здесь?

— Алишер, ты так и не рассказал, почему ты вернулся сюда из Джамбула, — спросил я.

Алишер молчал с минуту, пошаркал светлыми кроссовками по пыльной грунтовой дороге и сказал:

— А что рассказывать. Вернулся я, пришёл к подружке своей и застал её с типом, ну, слово за слово — подрались. А он оказался племянником начальника ментовки нашей. Меня, понятно, тут же повязали, привезли в отделение, избили, и начальник сказал, что даёт сутки: если через сутки буду в городе, то сгноит в тюрьме. Плонул я на всё и умотал сюда. Я здесь уже сантехником был. Всем нужен человек.

— Смотри, как закрутилось, — сказал я и, помолчав, добавил: — Сейчас как учат в путеводителях для туристов: если напали грабители — отдай всё и не раздражай их непониманием. Не тупи, улыбайся. А если при этом будут твою подружку иметь, постарайся отснять это на телефон и выложить ролик в инстаграм. История!

— Правда?

— Шучу.

Алишер ослепительно улыбнулся. Я вспомнил знаменитый стишок столетней давности и продекламировал:

*Мальчишку хлопнули в Иркутске,
ему семнадцать лет всего,
как жемчуга на чистом блюдце
сверкали зубы у него.*

— Выбили, что ли? — Спросил Алишер.

— Нет, вообще убили.

— А зубы-то зачем на блюдце положили?

— А хрен его знает, — не нашёлся я что ответить.

Скоро тропа наша песчаная, как желтая змея, запетляла меж стволов соснового бора, и грудь наполнил его сухой воздух.

Новая дача Алишера по всем меркам была шикарна! Из строганого бруса, с высокой крышей. Внутри дома — вагончика с янтарными причудливыми сучка-

ми, а в углу печь, белёная известкой. Из окон на пол и стены льётся солнечный свет, смягчённый верхушками сосен, а главное, за отдельной резной дверью — банька.

Банька, полностью осиной отделанная! Она была ещё тёплой, и пахла какими-то душистыми травами, и на полке лежал потрёпанный берёзовый веник. Я смотрел на баньку с нескрываемым восхищением. Так ладно она была сработана. Ни гвоздочка не было видно. В углу стояла бочка деревянная с блестящими железными кольцами, на ней ковш резной из березового сувеля.

— Заценил баньку? — спросил Алишер. — Я тут вчера с женой мылся, как положено и все дела.

— Да! — только и сказал я.

И представил, как этот смуглый жилистый мужичок, мокрый от пота, хлещет в стоградусной жаре развалившуюся на полке, необъятную свою Татьяну Владимировну. Гуляет веник по розовой спине и ягодицам! Она пятки свои задрала к потолку в самое пекло, а он и по пяткам пройдёт веничком, а тело её пышное блаженствует, и лежит голова её с мокрыми распущенными волосами щекой на скрещенных руках, лицом к нему и смотрит сияющими песочными глазами. Шлёп, шлёп — гуляет веник, и пар обжигает ноздри, и тусклая лампочка под потолком.

Посмотрев дом, мы вышли во двор и разожгли мангал. Перед входом в дом была веранда, огромная, с защитной сеткой цвета хаки на окнах. На веранде — стол, диван и стулья — там мы и расположились.

Я поставил на стол зелёную высокую бутылку — нашёл-таки я в городке крымское вино! Первая какая-то партия добралась до нашей глуши, настоящее и недорогое — прикормка, что ли, такая. Я сразу три бутылки купил и медленно потягивал всю неделю. Осталась ещё одна, «Саперави», красное сухое, точно такое же, какое я пробовал на заводе в поселке Массандра, в подвале, на экскурсии для дегустаторов, куда я вписался со своими гусельками. Вино густое как кровь или что-то типа того, эту бутылку я и прихватил с собой.

На столе появились жареные в сковороде на сале индюшачьи яйца, хлеб из пекарни ещё тёплый и соленые грузди — белые мохнатенькие, какие растут только у нас в ольшаниках.

Алишер от вина отказался, налил себе в рюмку этот проклятый напиток, я уже понял, что неочищенный самогон — это медленное самоубийство сивухой. Мы выпили, чокнувшись рюмками — кровавой и слёзной. Закусили и выпили ещё.

— Слушай, а ништяк! — сказал Алишер.

— Конечно. Вообще, всё наше недовольство от переизбытка информации: телек развращает, — сказал я и выпил ещё глоток вина, слегка терпкого в послевкусии. — Вот взять, допустим, Светку, жену Андрюхи, братца моего покойного, как она его канала! Смотрит сериал какой-нибудь мыльный, как люди за бугром живут, и начинает зудеть: вот как надо, а мы тут как свиньи, грязь, дрова не колоты, вода не ношена, и зачем я за тебя, за дурака вышла!

— Это точно, с моей Татьяной Владимировной тоже ничего вместе не помотришь, всё сравнивает, — сказал Алишер.

Через некоторое время мы вышли из веранды, обошли кругом дачу: огород засажен, в теплице помидоры и огурцы уже зеленеют. Медуницы цветут вдоль забора малюсенькими разноцветными колокольчиками. За сеткой-рабицей куры копошатся стайкой, с рыжим петухом в центре, и индюшки, а в стороне важно

прохаживается белый индюк с огромным красным кораллом под клювом. Сосны высоченные купаются в синем небе, живи — не хочу!

Мангал уже прогорел, дышали жаром сине-алые угли. Я выложил на решётку до поры лежавшие в морозилке, а теперь замаринованные, огромные, как луны, стейки налима, и сразу запахло жареной рыбой.

— Да, здесь всё время можно обитать, даже зимой, а что, местечко подходящее, курортное. Дров навалом и водичка из родника, — сказал я.

— Так я и собираюсь поступить, хозяйством займусь, — поддакнул Алишер.

У забора лежали доски, плотно, одна на одной, прикрытые рубероидом.

— Запреют доски-то, — сказал я.

— Кедровые. С дачей вместе оставили.

— А давай-ка сейчас их переложим!

— А давай! — согласился Алишер, подумав секунду.

Мы перекидывали и прокладывали дощечками, найденными в дровянике, кедровые плахи: верхние и боковые были слегка подмокшие и посерели, но основная масса была вполне прилична.

Кедр, как я люблю это дерево, его запах — даже доски пахнут орешками! Спил нежно-розовый, как кожа младенца или стыдливой девушки.

Понятно, что с научной точки зрения, по биологической систематике их замуной, он вовсе и не кедр. Кедр может быть только ливанским или гималайским там, а это сосна сибирская. Род Сосны. Да только у нас все это чудо-дерево кедром называют, и не иначе! Да и в Сибирской летописи Саввы Есипова как сказано: «...на сем же камени ростяху деревие различное: кедри и прочая...». А я из леонидовской кедровой доски деку сделаю для гуслей, она сухая как пушинка, и звук инструмента получится камерный, вот чувствую, это будет поцелуй ангела в самое сердце!

У нас работа, как говорится, спорилась, и мы, завершив это благое дело, довольные стояли на крыльце.

— Рай, — сказал Алишер.

— Тебе лучше знать, — сказал я. — Ты же человек из Междуречья.

— Как понять?

— Ты же иранец, а Иран — это где-то между Тигром и Евфратом, там, кажется, всё начиналось.

— Да, я из Междуречья, — сказал Алишер.

Мы вернулись на веранду, к своей скромной трапезе прибавив жареные до золотистого цвета, с клеточками от решётки, стейки налима.

Солнце уже переместилось, тень от бутылки падала длинной стрелкой, указывая на вечер, тихо звенел комарик, и в стекло веранды билась большая черная бабочка с огненными глазами на крыльях.

— Налей мне, попробую, — сказал Алишер.

Я взял его гранёную рюмку, пахнущую сивухой, ополоснул её из чайника струйкой воды и налил до краёв тёмно-красного вина.

Он неожиданно, совершенно по-азиатски как-то, хитро улыбаясь, сказал:

— А ты знаешь, что мы с тобой родня?

— Каким боком?

— А ко мне же старший брат сюда из Джамбула приезжал, так вот он со Светкиной мамашей здесь и пожил. Светка-то, жена брата твоего, Андрюхи, вишь, какая чёрненькая.

— Вот это новость! — Весело сказал я. — Это что же получается, племянник мой, Мишка-лесоруб иранских кровей?

— Ну так выходит, — подтвердил Алишер.

И мы выпили за это неожиданно открывшееся родство.

Поставив пустую рюмку на стол, он сказал:

— Нормальное вино, вкусное. Как компот.

— Я был там, в Крыму, в подвалах, где его делают и хранят, — сказал я. — Старинные такие подвалы метров по сто пятьдесят длиной. Туннелями от центра в разные стороны расходятся, и всё бутылки пыльные, бочки.

У Алишера загорелись глаза, и я рассказал, как жил в этом посёлке Массандра на берегу моря в счастливые несколько дней жизни. Про палатку свою одинокую под скалой и про рыбалку в море с подводным ружьём.

*У моря — как будто конец земли:
здесь волны ласкают скалы,
на водах качаются корабли,
качается парус алый.*

Но подвалы Алишера интересовали больше. И я в мельчайших подробностях поведал, что там видел, гуляя под землёй. Он налил в рюмку самогона, выпил и закусил груздем. Жевал, похрустывал, смотрел на бабочку, пытающуюся пролететь сквозь стекло в камуфляжной сетке.

Я вспомнил, как Алишер рыл подземный ход в Пятаках от дома к дому, чтобы ходить по своей подземной епархии зимой, не выходя на улицу, но произошёл обвал, машина, Газ бб, въехала задними колесами в образовавшуюся яму, и Алишера чуть не завалило.

Он опять налил до краёв гранёную рюмку, выпил и вдруг выдал:

— У меня тоже подвал был, не здесь — в другом месте. Я там мента держал.

— Мента? В подвале? — Удивился я.

— Да, мента. Он, сопляк, в ментуру после армии сунулся сержантиком, а меня как раз закрыли на трое суток. Побушлатил я, пьяный, малость, моя Татьяна Владимировна их вызвала, меня и увезли.

Алишер быстро пьянел. Речь его становилась сбивчивой.

— А это праздники были майские, так вот этот сопляк мне три дня в клетке воды не давал и срать не выводил. Я чуть не сдох там. Я ему после и отомстил: поймал и в подвал посадил.

И тут я понял, что Алишер врёт, как дышит, ну нереально так вот поступить и остаться на свободе. Хотя в девяностых быть могло всё. Беспредела хватало. И самосуда.

Помню, как здесь, в городке, Карандаш куролесил: здоровенный, как горилла, с очень отвратной физиономией. Одевался вызывающе, а вещи все с людей внаглую сняты. Совсем этот бандюга озверел: девок портил, стариков страшал, мог пенсию отнять на наркоте или бухло. От срока до срока все хуже, и не помогали исправительные учреждения, не становился человек собранней и вдумчивей, как, например, мой знакомый, земляк, редактор журнала, который в тюрьме, попав туда по политической статье, столько книг прочел, что Гарвард отдыхает.

Карандаш этот всех достал — и ментов, и братву, вот его и застрелили в упор из ружья двенадцатого калибра душетом, из двух стволов. Правда, последнее слово дали сказать, и он произнес сквозь гнилые зубы: «бля буду».

Я это знаю не понаслышке. Карандашу назначили стрелку, так это тогда называлось, он приехал на мотоцикле с коляской, слез и через минуту получил два заряда картечи, превратившие клетчатую серую рубашу на груди в кровавое месиво. И лежал он ещё час на пыльной дороге возле мотоцикла, с открытыми стеклянными глазами, пока не приехала труповозка.

А начальник милиции полковник Севрюгин вроде потёр тогда руки в кабинете с бронзовым бюстиком Дзержинского на столе и сказал: ну вот, сами управились. И даже, как говорили, уголовного дела не завёл.

Так я сидел, задумавшись, потягивая вино и глядя на бабочку с огненноугольными крыльями. А Алишер, как это обыкновенно бывает с пьяными людьми, начал звонить кому-то, одному, второму, и вот уже несколько минут разговаривал с сыном:

— Сыночка, приезжай, у меня же курицы по десять яиц несут, я половину продаю. Проживём!

Все звал и звал его домой, сюда, видимо совершенно не понимая, что молодого человека, закончившего фазанку, или, как сейчас принято говорить, колледж, и работающего, как и мечтал, поваром в ресторане — совсем не интересуется, сколько яиц несут курицы.

И вдруг внезапно рубанул где-то рядом визгливый крик:

— Поубиваю сволочей!!! — Я оглянулся и выставил руку вперёд — на меня с палкой летела Татьяна Владимировна. — Я вам покажу, как закрываться!

Удар пришёлся по локтю, как будто током шибануло в триста вольт, аж искры из глаз — в самый нерв угодила своей дубинкой сумасшедшая баба. Моя, конечно, ошибка, я же следом за Алишером во двор зашёл, и когда калитку эту из железного уголка с досками на болтах закрыть пытался, она всё открывалась, вот я её палкой и заклинил. А дура эта подумала, что мы от неё закрываемся, в правах ущемляем, феминистка хренова, так лупанула палкой! Виду я не подавал, что мне дико больно, в душе корчился, может слегка сморщился только и сказал:

— Ты, это, Татьяна, угомонись. Я тебе не ковер пыльный.

— Валите отсюда! Достали со своей пьянкой! — Кричала она, кося глазами козы.

Досталось и Алишеру, однако он каким-то макаром вцепился в палку обеими руками и выкрутил её из могучей длани Татьяны Владимировны. Это ж как надо бабу достать, чтобы она без предупреждения с дубиной на мужиков кидалась? Но справедливости ради надо сказать, что Танька и в детстве дерганая была, а в этот миг с выпученными глазами, в которых чернели расширенные гневом зрачки, с румянцем на щеках и мотающейся на лбу челкой она была даже красива. Выскочила во двор и пошла, крутобокая, в желтой блузке и в сером спортивном трико, к теплице, как ни в чём не бывало — такая точно и коня на ходу, и всё остальное.

Алишер налил себе полную граненую стограммовую рюмку самогона, выпил и, закусив кусочком чёрного хлеба, тоже вышел во двор и пошел, засунув руки в карманы, на разборку. Я потирал ушибленный локоть, боль потихоньку переходила из острой в тикающую, и там, где она гнездилась, вздувался лиловый шишак.

До моих ушей долетали обрывки разговора. Я, видимо, стал жертвой их давнишнего конфликта, Татьяна была существенно младше Алишера, но ни в чём ему не уступала. Разговаривали они на повышенных тонах, стоя между теплицей и дровяником в трёх соснах. Татьяна широко расставила колонны ног, а груди её из желтой блузки торчали вразлёт, в котором топтался Алишер и пьяно возмущался:

— Почему ты говоришь, что все мои друзья чмыри?

— Так они и вправду чмыри! — Взвизгнула она и толкнула его в грудь обеими руками. Алишер отлетел и упал спиной на землю, ещё что-то помычал, положил руку под голову и замер под сосной. Уснул.

И даже в сентябре, уже в Иркутске, когда я узнал от племянника Мишки Лесоруба, что Алишер внезапно умер в больнице от цирроза печени, увиделась картина: раскидистая сосна, и под ней лежит лицом в небо седой кудрявый человек в чёрной футболке и джинсах ещё живой, и в то же время его уже нет.

А пока всё было так, как было: бабочка с глазами на крыльях билась в стекло. Дико болел локоть. Закатное солнце лавой жгло деревья.

Я налил себе рюмку вина и выпил одним глотком!

Через некоторое время Татьяна Владимировна ковырялась напротив веранды над клумбой из камазовской покрывки, в которой росли ещё не расцветшие бархатцы. Меня она как будто не замечала. Стараясь не глядеть на её выдающиеся изгибы, обтянутые серым трико, я настраивал себя, чтобы подняться и уйти. И всё же перекинулся словечками с Татьяной, и как только возникли односложные ответы, тут же выдал небольшую лекцию о гостеприимстве:

— У славян, например, у вятичей, — говорил я, — считалось не зазорным даже украсть у соседа, чтобы щедрее приветить странника. Потому что любой странник — священная личность, которую с радостью встречали и оберегали. И вообще, славяне, уходя из дома, оставляли дверь открытой, а стол накрытым, чтобы путник, уставший от дороги, мог найти в нём и кров, и пищу.

— Ага, оставь щас дверь открытой, и дверь сопрут! — ворчала Татьяна Владимировна над клумбой, выпалывая мелкую травку между тёмно-зеленых, а кое-где и с проклюнувшейся рыжинкой, бархатцев.

Я продолжал образовательную политику:

— А у кавказцев, это всем известно, пока в гостях, делай что хошь, бери, что понравится, а как за порог, то можно и пулю в затылок. А мы, сибиряки, за высоким забором своим на ночь оставляли узелок с едой и одеждой — беглым каторжникам. Таковы обычаи.

— Нету уже никаких обычаев. Всё профукали! — Слышался недовольный голос Татьяны Владимировны.

— Ну как же, — говорил я, — есть! Вот параллель. Скифы жен своих и дочек подкладывали незнакомцам — об этом свидетельствует греческий путешественник и историк Приск Панийский. А у чукчей это до последнего времени!

— Да мы-то не чукчи!

— А зря! — Весело сказал я.

— Да надоели вы, алкаши, — сказала она.

— А я здесь при чём?

— А ты, господин Никола, мне пуще всего надоел своим умничаньем!

И я вспомнил как однажды, очень давно это было, заглянув на дискотеку в наш Дом культуры, в мелькающем стробоскопами пространстве увидел Таньку. Толпа девчонок и парней, выбрасывая руки к потолку, извиваясь и подпрыгивая, танцевала, а Танька одиноко стояла у окна, положив правую руку на плечо левой, словно сама себя приобняла. В красивом лиловом платье, стройненькая, подкрашенная.

Диско затихло, и через мгновение из колонок полилась нежная медленная ме-

лодия с хрипловатым саксофоном. Не знаю, зачем я это сделал, но я пригласил её на танец, и мы покачивались, почти не соприкасаясь, несколько минут, и вдруг в конце душераздирающей этой песни «Я хочу быть с тобой» она прижалась ко мне и положила мне на плечо свою голову. И что было делать?

— Это было так давно, что, кажется, этого и не было.

— Слушай, Татьяна, и что вы такие напряжённые? — Спросил я.

— Он же, чёрт контуженный, спокойно жить не даёт. — Она мотнула головой в сторону спящего под сосной Алишера. — Как белочка подкрадывается к нему, так он опять в Афгане воюет.

— В смысле?

— Да был он там неделю, шандарахнуло его осколком по башке, а теперь всю жизнь нервы трепет. С сыном дрался и не помнит ничего, хорошенький вечно.

И тут я понял, что не знал, или совершенно забыл, что Алишер всё же попытался вернуться в сторону Междуречья хотя бы даже таким странным способом, как война.

Я вылил из бутылки в рюмку до последней капли вино, выпил его, тёплое и терпкое, взял гусли и заиграл, не обращая внимания на боль в руке. Звуки наполнили веранду, вышли во двор и поднялись к соснам под синий купол неба. Не скажу, что Татьяна Владимировна обомлела, но когда я, уходя, повернулся в калитке, она улыбнулась, и это был как будто немного другой человек.

Домой я возвращался один. Вечерело, и от реки тянуло приятной прохладой, однако комары жалили нещадно, и ныл раздувшийся локоть.

В Пятаках во дворе между домов в беседке сидели пожилые люди, пенсионеры, я увидел почему-то не особо изменившееся круглое, как масленичный блин, с глазками-оливками лицо бабы Любы, знаменитой в городке тем, что отмотала в свое время срок за самогоноварение. Но вот она-то самогоночку очищала как надо, делала по-людски.

В квартире я почувствовал себя более спокойно, всё-таки бетонные стены и железная дверь — существенные препятствия для проявления на мне животных инстинктов. Хотя в природе едва ли случается, чтобы самка кидалась на двух самцов, один из которых наделал ей детей.

Я сварил кофе и пил его на балконе, сидя на верстаке, где сбоку лежали два почти готовых инструмента — Снежинка и Чернец.

Я думал об Ане, представлял, как возьму пару бутылок крымского вина, красного и белого, и приду к ней в гости, конечно же без Алишера, хотя с ним было бы проще: у него всегда есть повод войти в чужую квартиру, но напьётся же влёт и всё испортит.

Я приду один, сначала, конечно, случайно встретившись на улице, правда, сейчас это сильно усложнилось, она теперь обитает то в домике у матери, то здесь в Пятаках, но у меня всё получится, я встречу её на улице и попрошусь в гости. Возьму с собой гусли, будем пить вино, закусывать шоколадом, петь песни и читать стихи.

Тихий летний вечер, я как будто бы в башне из стекла и бетона, что на самом деле отчасти так и есть, и за окном неизменный деревенский пейзаж: избы вдоль улицы, за ними угадывается болото, над ним черными зубьями лес и в небе, в его мутнеющей синеве, как самый древний и драгоценный янтарь — полная луна.

Наступил день, который изменил вектор моей жизни. Я с утра пошёл на кладбище. На склоне соснового бора постоял над серым гранитным памятником. Привыкал к неточности изображения. На граните было лицо мамы: улыбается кудрявая дамочка неопределённого возраста. Она и не она. Но больше — она. Положил на могилу — на холмик с мокрым жёлтым песком — незабудки, брызги неба.

Возвращаясь, перешел висячий мост, прошел по тропе вдоль речки, умыл лицо в роднике и по крутому песчаному яру забрался на Мельничную Гору. Отсюда, как полководцу сражение, открывается весь наш городок. Сел на пенёк и увидел под ногами ягодку в зелени травы.

Правда, я её не сразу заметил, сидел, мечтал, что скоро приедут сюда детки мои совершеннолетние, подтянутся, а потом мы поедем на Байкал, и зазвенит на весь мир наша Гусли-сфера! Так размечтался сидя на пне, положив подбородок в ладонь и даже глаза закрыв, что чуть носом не клюнул. А глаза открыл, и вот она под ногами, ягодка-земляника в листьях своих прячется.

*Собирали красную ягоду
и ломали дубовые веники.
После ливня прошли сквозь радугу,
видишь, Господи, не бездельники.*

Я сначала даже сидя на пне несколько штук самых спелых сорвал и закинул в рот — вкусотища неопишуемая! А потом поползал вокруг пня, утолил страстишки и решил — как в детстве, поскольку никакой тары у меня с собой не было, использовать сухую соломинку: одеваешь ягодку за ягодкой на неё, получается как бусы, сладкие ароматные. Пять штук таких изумительных бус я создал, и на них были самые крупные почти бордовые ягоды, оставалось, не повредив их, донести до Пятаков.

И мне это удалось.

Дома на кухне я распустил свои бусы в эмалированную чашку, получилось весьма прилично, присыпал всё это сахаром и решил немного приварить. Через час у меня на столе стояли земляничное варенье в фарфоровой вазочке, чай, приправленный листьями смородины, и печенье.

Я сидел за столом, потягивал чай, и вдруг в окно кухни увидел идущих из «Скорпиона», из его чрева, в самую мою душу ядовитым жалом — их!

Они шли втроём: Бомбист, Аня и её светловолосая маленькая дочь — она ела мороженое в вафельном стаканчике. Имени дочери я так и не узнал, а вот он, бомбист, уже с ними вместе расхаживал.

Бомбист, ты взорвал моё сердце!

Они шли — она в красном, он в чёрном — по асфальту мимо моего окна, поглядывая друг на друга, красивые и молодые, и в уши мне, в самые перепонки, вонзался осколками стук её каблучков.

*Моя милая, колбочка света
над холодным гранитом дней...
никогда ты не будешь моей.*

Такой вот экспромт возник под аккомпанемент этого стука, совершенно никчёмный, и я стал напряжённо думать, прокачивать мозг, чтобы утихомирить нарастающие удары молотка по рёбрам в левой стороне груди.

Изящная как пава — думал я. Впрочем, это только так говорится, потому что в серых самках павлина нет и доли изящества самого павлина, так вот устроено природой, что самки выглядят бледнее самцов, взять хотя бы львов — грива только у царя зверей. У людей всё не так, по крайней мере, чем дальше мы от дикарей каких-нибудь, вроде австралийских аборигенов, тем ярче и выше у нас женщина, и конечно, ей нужен рыцарь. А мне нужно то, что во мне — жемчужина, зреющая в раковине больной души, и я твёрдо уверен, что ушедший в себя не вернётся с пустыми руками.

Я отметил, что мне ещё хватает смирения так думать и смотреть в их спины: с виду они походили на обыкновенную семейку, вышедшую на променад — папа, мама и дочка, но я-то понимал, что между ними всё ещё только начинается.

Когда они скрылись за углом нашего дома, я достал из шкатулки алишерову папиросу и коробку спичек с изображением Садко. Никакой это, конечно, не чёрный день, тот был тогда, в феврале, а это, скорее, провоцирующее событие, но я всё равно чиркнул спичкой и втянул в лёгкие горячий дым времени!

Потом я прошёл в комнату, в странствующую мою Гусли-сферу, включил аппаратуру, надел наушники, взял в руки инструмент и заиграл, и почувствовал, как стало отпускать.

Стала рождаться музыка, наконец-то я поймал эту волну, и не без помощи, думаю, моего ангела-хранителя с потрёпанными крыльями: немало бед мы выстояли. Музыка была как шум ветра в верхушках сосен и кедров, как деревенский закат с клюквенной тучкой над болотом, как молчание чёрных изб и суетливые движения маленьких птичек, когда-то в народе называемых житками.



НАТАЛЬЯ ДОБАРКИНА



«Идёт война — в домах, умах, на улицах...»

* * *

Говорят, мы ватники. Нехай брешут.
Солнце пробивает над Донцом брешу.
Говорят, мы дети Мордора и России.
Слёзы твои не ко времени, сыне.
После вода омоет от чёрной сажи
город и человека в нём каждого.
Из камней соберём разрушенную часовню.
Орда моя, голову не склоняй, стой ровно.
Почвы твои болотисты, чернозёмны, глинисты.
Порода — с драгоценными примесями.
Травы шумят на взгорье, поют Осанну.
Сыне, мы дети Его. Все до единого званые.

ДОБАРКИНА Наталья Сергеевна родилась в 1988 году в Якутии в городе Удачный. Окончила Нижнеудинское медицинское училище и Иркутский медицинский колледж. Принимала участие во всероссийском Собрании молодых литераторов в Химках, межрегиональном собрании авторов Сибири и Дальнего Востока. Лауреат Сибирского фестиваля искусств «Тарская крепость», Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальный родник», литературного фестиваля «Сибирь молодая» им. Е. Евтушенко. Участница 20-го и 21-го международных форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Стипендиат министерства культуры РФ по литературе. Публиковалась в журналах/альманахах: «Азь-арт», «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Веретено», «ТарЯне», «Кольчугинская осень». Также в антологии современного иркутского верлибра «Свободные стихи». Живёт в Иркутске.

* * *

Вошёл в огонь и вышел из огня,
как та неопалимая змея —
родня золотокрылого дракона.

И пальцы, перебитые в бою.
И силы удержаться на краю
небесного парома.

Глаза в огранке пепельных ресниц
ни у кого из виденных мной лиц,
с кем я была когда-либо знакома.

Я колыбельную тебе спою.
Я ни одной слезы не пророню.
Солдат, поспи, ты наконец-то дома.

* * *

Кто вас, белолицые, отпоёт,
до кладбищенских донесёт ворот,
разольёт благоуханное миро?

Много у земли нынче забот.
Что посеяно в неё — всё взойдёт,
даже окровавленные мундиры.

Птицы свой планируют перелёт
осенью. Но кто до этого доживёт?
До того, чтобы земля, наконец, остыла.

* * *

Когда опускаются руки
и сводит зубы от сводок.
Мне в каждом летящем звуке
мерещится несвобода.

На каждой странице — вены,
вскрываемые прилюдно.
Седьмое мое колено,
тебе что ни день, то судный.

* * *

Сохрани, Господь, моих девочек.
И чужих, Господь, сохрани.
К Троице надёргают веточек.
А к Петру и Павлу они
выловят зеркальную рыбину.
Блюдо для неё — серебро.
Кто же слово страшное выдумал,
что поверх полей полегло?
Сохрани ростки над пожарищем,
яблоней раскидистый цвет.
В небе, высоко отражающем,
Ангела простой силуэт.

* * *

Деревьев рыбные скелеты кольшутся на дне земном. Летят и падают ракеты и ширится разлом.	и голубь, над землёй парящий, — полягут здесь костями.
У края пропасти стоящий мальчишка лет восьми	Наступит время повечерия, замкнёт собою круг. На миг утихнет артиллерии тяжёлый звук.

* * *

Идёт игра на человековычитание,
закону математики верна.
И никогда нельзя сказать заранее,
кого сегодня выберет она.

Идёт война — в домах, умах, на улицах.
И чёрной нитью шьётся новый день.
Загадывать нельзя, а то не сбудется.
Но волю дай, и буду я кремень.

* * *

Вода не попадает в ноты, когда стучит по козырьку. День замерзает до икоты. А на соседнем берегу подожжены макушки клёнов — контраст с синеющей волной.	Убранство праздничной иконы напоминает город мой. И колокольное звучание вот-вот сорвётся, полетит. И хоровое величание преобразит нехитрый быт.
--	---

* * *

Оставайся на дымном ветру.
Докричись до глухого колодца.
Опалённые ветки в саду
Шелестят: «Никогда не вернется».

Оставайся в развалинах дней,
Где печная труба покосилась,
Где ползет по стене муравей,
а подсолнечник так и не вырос.

* * *

Сентябрь, привет! Не первый, не второй.
Мой тридцать третий раз на этом свете.
Протягиваешь перстень голубой
и время пожелтевшее в конверте.

Откатит суета свою волну
и жар спадёт до ровного свечения.
И я, как избавление, приму
прохладу утра и твоё прощение.

* * *

Читаю ли книгу — думаю о своём,
плету паутину мыслей вокруг сюжета.
Эпоха дует на собственный слом.
Я дую на воду, и мне — ничего за это.

Пишу ли стихи — сливаются в гипертекст.
Одно об одном толчётся в ступе.
Направо пойдёшь — обнимет лес.
Налево — окажешься на уступе.



ЮРИЙ ХАРЛАШКИН



Свинцовое небо

РАССКАЗЫ

Тефтеля

РАССКАЗ-ИДИЛЛИЯ

Тефтели шкворчали на сковороде. Марина стояла над плитой и изредка перемешивала их деревянной кухонной лопаткой. Масло шипело и выстреливало обжигающими капельками. Рука всякий раз рефлекторно вздрагивала. Летала просто гигантских размеров муха и бомбардировщиком жужжала над головой. Марина отлепила блузку от тела и подула в вырез. Но дуновение было горячим, не принёсшим желанную свежесть. Капелька пота скатилась по загорелой шее. Душно.

ХАРЛАШКИН Юрий Станиславович. Родился в 1985 году в Иркутске. Окончил ИГУ, факультет филологии и журналистики по специальности филология; ИФИЯМ ИГУ, факультет филологии и журналистики, магистр курса «Русская литература». Печатался в журнале «Путеводная звезда» («Роман-газета»), альманахах «Первоцвет», «Зелёная лампа», сборниках «Молодые голоса», «Новые писатели 2016» и др. В 2015 и 2017 годах участвовал в Форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Стипендиат Министерства культуры РФ по литературе (2016). Дипломант первой степени Областной литературной конференции «Молодость. Творчество. Современность» в номинации «Проза» (2018). Обладатель литературной премии «В поисках правды и справедливости» (2021). Участник XII Форума-фестиваля поэтической песни и литературы малых форм «Капитан Грэй» (Мурманск, 2022). Живет в Иркутске.

Позвонили в дверь. Марина пошла открывать. Посмотрела в глазок: так и есть, Егор вернулся. Она открыла мужу. Егор протиснулся в тесный полутёмный коридор. Обе руки были заняты пакетами с продуктами. Марина закрыла дверь, прислонив мужа к стене. Она немного задержалась с плохо работающей ручкой от замка.

— У-у, тефтеля, — сказал шуточно Егор опиравшейся на него жене.

Марина вовсе не была полной, она чмокнула мужа в щёку и отправилась на кухню. Тефтели были готовы. Она переставила сковороду на соседнюю, выключенную конфорку и перещёлкнула реле на ноль. Запах пробуждал аппетит. В знойную погоду голод по-особенному притупляется, и ей приходилось готовить так, чтоб пища была крайне аппетитна. На салаты с зеленью они уже не могли смотреть, да и калории организму всё равно требовались, даже если голод и притуплялся. Муха ползала по стеклу, посверкивая изумрудно-зелёным тельцем и приостанавливаясь, чтоб «помыть» лапки. Марина поискала глазами мухобойку, но не нашла.

Егор вошёл на кухню и водрузил один пакет на табурет, другой — на стол.

— Помогай разбирать, тефтеля.

— Всё купил? — тихо спросила жена, обессиленная от духоты.

— У-у, как пахнет, — сказал Егор и весело глянул на сковороду.

Марина посмотрела в пакет, стоящий на столе, и принялась выставлять продукты.

— Окно открой, — сказал муж, склонившись над вторым пакетом и выуживая пакетики со специями.

Марина затворила форточку и отворила раму. Потревоженная муха вновь жужжала над головами.

— Прибила б её, что ли, — проворчал Егор.

— А, потом, — ответила Марина и полезла в пакет.

Егор вытащил упаковку очищенного картофеля и положил на стол. Столешница за минуту оказалась заполнена покупками: тушёнка, консервированные скумбрия и сайра, филе минтая, куриные голени, мраморная говяжья вырезка, упаковки молока и кефира, четыре стаканчика йогурта, пара упаковок спагетти, по килограмму риса, гречки и манной крупы.

— А дрожжи-то забыл! — сказала Марина.

— Не-а, — сказал Егор и достал пакетик сухих дрожжей из кармашка рубашки. — От сердца, — добавил и полез в холодильник.

— Подвинь там, — сказала Марина. — Квас достань.

Егор поставил на стол бутылку кваса и стал убирать продукты в холодильник. Марина налила кваса в стакан, посмотрела на просвет — рубиновый напиток — сделала два глотка. Лёгкий ветерок подул через окно. Стало свежее. Марина открыла шкафчик и принялась бойко складировать в него крупы, спагетти и консервы. Приправы и дрожжи убрала в отдельную коробочку. Муж аккуратно положил на нижнюю полку упаковку картофеля и закрыл дверцу.

— Поедим? — спросил.

— Ах, да, — сказала Марина, — порежь батона.

Егор собрал пустые пакеты, аккуратно сложил их и убрал в тумбочку в прихожей. Марина допила оставшийся в стакане квас.

— Мне подлей, — сказал Егор и достал батон из хлебницы. Муха жужжала.

Марина налила квас в тот же стакан и стала доставать тарелки. На обед было

пюре с тефтелями и салат из молодых побегов папоротника и свежих шампиньонов с заправкой из соевого соуса и семечек кунжута. Муж облизнулся и выпил квас. Прохлада протекла по пищеводу, мурашки пробежали по коже. Посвежело, сердце зачастило, разгоняя кровь по жилам.

Марина накрыла на стол. Супруги сели обедать. Закреплённый под потолком телевизор вполголоса вещал о новостях. С улицы доносились обыденные дворовые звуки: там выхлопывали ковёр, заводили автомобиль, играли в футбол. Ели молча. Муха предпринимала суицидальные попытки добраться до еды и пикировала на головы. Егор отмахнулся от неё. Марина хихикнула. У соседей сверху что-то свалилось на пол. Лампочка качнулась.

Супруги доели. Егор положил себе добавки. Марина разлила квас и достала из холодильника йогурт. Опять сели.

— Владимирские звонили, — сказала Марина.

— Ага, — сказал муж, тщательно пережёвывая пищу.

— В гости зовут, — сказала и отправила йогурт на чайной ложечке в рот. Клубничный йогурт скрылся за белыми зубами, красный язык облизнул ненакрашенные губы.

— Хорошо, — сказал Егор, прожевав. — Только не сегодня. Отдохнуть хочется.

— Хорошо, — сказала Марина и продолжила есть десерт. Йогурт ей напомнил медовый месяц, точнее одно из утр, когда она поглощала клубнику со сливками, разложенную на блюде, покоящемся на подносе, а Егор лежал рядом, обнимал её, и ничего, абсолютно ничего не происходило, только нежность, какое-то её внутреннее состояние, подобно волнам, накатывало и отступало, накатывало и отступало... Марина отсутствовала в настоящем, и муха воспользовалась случаем. Она спикировала из-под потолка, резанула по уху и упала в стаканчик с йогуртом. Влипла и задрезжала крылышками.

— Говорил же, приборей, тефтеля, — заметил Егор и улыбнулся. Он шутиливо вздохнул и пододвинул к ней другой стаканчик, а стаканчик с мухой отправил в мусорное ведро. Присел, чтоб расправиться с добавкой, и посмотрел на жену.

«Тефтеля» плакала.

Свинцовое небо

Я не люблю этот мерзкий городок. Его кривые улочки и грязные домишки угнетают. Здесь небо умудряется быть свинцовым даже в безоблачную погоду. Оно не висит над землёй, а бесстыдно лежит на городе, упираясь в крыши шлакоблочных пятиэтажек.

В детстве я, бывало, поднимался на чердак. Там в полутьме висел запах пыли и кошачьей мочи. Задыхаясь, я выбирался на крышу и долго сидел на тёплых мягких листах проржавевшей жести. Я сидел, вцепившись одной рукой в металлический шов, а другую погружая в небо. Рука быстро уставала: оно действительно было тяжёлое. Просто удивительно, как у птиц хватает сил летать в нём. Почему они выдерживают небесную тяжесть, а я — нет?

В этом городе мы раздавлены небом.словно живые бабочки под стеклом, мы шевелим усиками, дёргаем лапками, но сдвинуться не можем.

Город умирает, он задыхается под тяжестью неба. А вместе с ним и я. Мне тесно.

Год назад родители хотели, чтоб я пошёл на химзавод. А я подумал: глупо коптить и без того свинцовое небо, придавая ему лишь весомость. Чтобы я... да никогда. Лучше буду бродить по ненавистным улицам. Руки — в карманы, голову — под капюшон, кроссовками — по мутным, как негативы, лужам. Буду идти, попиная пустые пивные банки, перешагивая плевки с застывшими пузырьками. Подумать только, это — мой город. Его улицы пропороты трамвайными путями, здания — трещинами, а воздух — гулом трансформаторных будок.

Ещё год назад я мечтал: вот соберу вещи и уеду отсюда навсегда. Теперь-то знаю, что нельзя произносить «никогда» и «навсегда». Слишком громкие это слова для ничтожного городишки. Теперь меня смешит сама их разница. И никуда я не уеду: что мне там делать? Вдруг там нет такого тяжёлого неба. Я не люблю это место, но привык к нему. Привык жить под свинцовым небом. И пусть всё будет, как должно быть. И как и прежде я буду бродить по улицам.

Но всё-таки однажды небо раздавит этот город...

Фотография

Ты была красива. Дул ветер. Твоё платье развевалось, облекая ноги. Ты улыбалась и жмурилась от солнца.

А может, просто... моргнула? Нет, жмурилась. Ты не могла, ты не умела моргать, это так грубо — моргать. Нет, моргать — это не о тебе, это не для тебя; ты выше, прозрачнее. Само слово «красива» — прозрачно, потому оно принадлежит только тебе. Да, ты была красива... Хотя, почему была? Ты жива, с тобой ничего не случилось. Но для меня — была.

Фотография — это кусочек мозаики, из которой состоит прошлое. Оцифрованное воспоминание не поддающихся оцифровке чувств. Они — не двоичны и даже не десятичные, они просто — есть, они просто — суть. А суть — это такой вирус, который заражает компьютер неисчислимостью. Неисчислимостью чисел. Неисчислимостью мыслей. Неисчислимость нас. Но как раз никаких «нас» не было. Не было даже «мы». Потому что чувства не симметричны. Было «ты» и «я». Было «я» и «ты». Так что никакого «мы» не было.

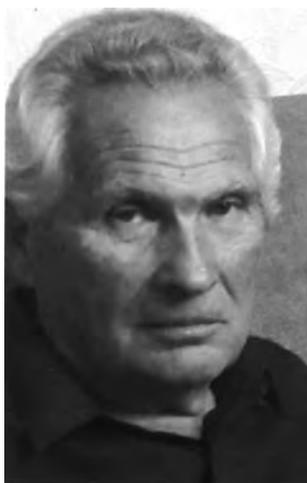
Для тебя я был любой, один из нескольких десятков. А ты для меня одной из трёх миллиардов женщин. Одна. Единственная.

Потому «мы» — не было, потому «мы» — не стало. Но есть фотография, не знающая чувств и говорящая: «мы» — есть. Мы — есмь. Мы — будем. Ведь прошлое — это форточка в грядущее. А настоящее — иллюзия, где реальна только фотография.

ПОЭЗИЯ



ВЛАДИМИР РЫДАННЫХ



«Родство души с душой берёз и сосен...»

Николай Рубцов

Он — бесприютный, маленького роста,
Писал стихи пронзительно и просто.
Неузнанный при жизни, ныне классик,
Подавлен бытом был, бездушьем власти.

Над деревенским кладбищем в Тотье,
«Во мгле заледенелой», в вечной тьме,
Для всех тревожных на Земле людей
Горит, горит звезда его полей.

РЫДАННЫХ Владимир Иннокентьевич родился в 1940 году в Иркутске. В 1959 году поступил на юридический факультет Иркутского государственного университета, после окончания которого был принят на должность ассистента кафедры философии Иркутского политехнического института. В 1979 году переведён на кафедру общественных дисциплин Иркутского факультета ВИПТИ МВД СССР (в настоящее время Академия МЧС). Стихи начал писать ещё в школе. В 1967 году был участником конференции «Молодость. Творчество. Современность». Автор двух сборников стихов: «Сохраните мне Родину» (2006), «Ветер времени» (2008). Живёт в Иркутске.

Эпилог

(из поэмы «Пьяный бык»)

О, Боже наш! В чём тайный смысл творенья,
Разлива рек, волнения морей,
Земли, свершающей во тьме круженье,
И роя звёзд, зависшего над ней?

Для споров жарких много вечных тем,
До берегов всех истин плыть да плыть...
Вопрос вопросов: «Кто я и зачем?» —
Сбивает спесь и укрощает прыть.

Как в паутине, я в сетях забот,
Самим собою заперт изнутри.
Тревожит ум мой славный Дон-Кихот,
Мне дарит крылья Сент-Экзюпери.

Из толщи тьмы, из глубины веков
Мне светит Вифлеемская звезда;
Изгнал из сердца я чужих богов,
Оставив для любви моей Христа.

Куда плывём, к кому мы и зачем,
Быть может, знают волны да ветра;
Наш шар земной, как будто бы ковчег,
Как утлый чёлн апостола Петра.

Слуга Судьбы и обстоятельств раб,
Я на Земле — пристанище людей,
Так одинок, беспомощен и слаб,
Как парусник, что сорван с якорей.

Не разглядеть во мраке маяка.
Всяк сам себе — матрос и капитан.
Спаси, Господь! Открой нам берега,
Дай силы одолеть нам океан!

* * *

Знаешь, мама, я стал суеверен.
Часто снится суровый мне Север,
Дом наш отчий над Леной-рекой
И погост, где нашли свой покой
Наши дальние, близкие предки.
Я был гостем в гнезде нашем редким,
Всё манили другие пути...

Только, всё же, как жизнь ни крути,
Есть земля, где большая родня
И где что-то не так без меня.

Может душу послушать усталую
И вернуться на родину малую?

Там очнись на заре с рыбаком,
По косе пробегу босиком.
Поднимусь к перекату на вёслах —
Моё детство там кануло в вёсны.
Где берёзы потухшей свечой,
И где травы зелёной парчой.
На погосте поправлю кресты,
Положу полевые цветы,
Припаду к сиротливым могилам,
Вспомню пращуров, образ их милый...

Мир их праху и душам их вечным!
Их искать на Пути буду Млечном.
Там по звёздам пройду босиком,
Неземным обжигаясь песком.

Русская сказка

Полыхает зарница, А в оврагах темно-темно. Ищет в поле Жар-птица Золотое зерно?	Как Иванушке в сказке Мне, авось, повезёт: Буду птицей обласкан, Жизнь по маслу пойдёт.
--	--

В предрастветье недолгом, Может, в поле залечь И в шиповнике колком Птицу мне подстеречь.	Не проспать бы вот только Вожделенный сей миг. Ждал удачу я долго, Как у моря старик.
--	--

Гроза

Мой сон близким громом нарушив,
Гроза изливает мне душу.
Что ж, пусть мне поплачется, пусть,
И сон мой развеет, и грусть.
Пусть небо очистит от туч
До звёздных сияющих круч...
Уйдёт, погружая в истому,
Раскатами дальнего грома.

О родном языке

Родной язык — в народе Божий глас.
Не быть нам без него, ему без нас.
Его беречь нам, как зеницу ока,
И пить, и пить из чистого истока...

Чтоб в каждом звуке, в слове и в строке,
В родном для нас с рожденья языке
Смог ощутить потомок самый дальний
Его очарование и тайну.

* * *

О, если б взлететь мне! О, если б Однажды взлететь над землёй: Ни птицей, ни ветром, ни песней, А так вот — своею судьбой!	Тогда б я вернулся в старинный, Покинутый предками дом, Где ласточки лепят из глины Весною гнездо над окном.
---	---

* * *

Любовь спасёт или погубит —
Темно её предназначенье...
И всё же пусть она пребудет
Как свет, как боль, как смысл творенья!

* * *

Пойду в рубашке нараспашку: В лицо мне — солнце, ветер — в грудь. Как хорошо! Представить страшно, Что я умру когда-нибудь: И всё что вижу — не увижу, Всё, чем живу — оставлю вдруг, И не слетят в ночи бесстыжей	Слова любви с горячих губ. А за Вратами не услышу Иерихонских медных труб. Пойду в рубашке нараспашку И крикну солнцу: — Приголубь! Мне хорошо! И сердце пташкой Взлететь готово в неба глубь.
--	--

* * *

Ранним утром в тумане густом В лодке, пахнувшей варом и влагой, Дна касался упругим шестом И душа наполнялась отвагой.	И кувшинки, как девы нагие, Выходили ко мне из воды.
Поднимал я туманы тугие, Покорял и леса, и пруды,	Был я царь. Даже больше, чем царь. Был как Бог в то далёкое лето. Был рыбак я, охотник, косарь. Был я мальчик, с душою поэта.

* * *

Час рассвета, час благословенный!
Как легко проснуться в этот час
И увидеть: Ангелы Вселенной
С высоты просвечивают нас.

И в руках у матери дымится,
Запотев, подойник жестяной.

И светла дорога от порога.
Даль открыта. Солнце в облаках.
От сиянья жмуришься немного,
Как дитя, у Бога на руках.

И роса, как Млечный Путь, искрится,
И туман, как будто Водяной,

* * *

Могучий русский лес!
Природы дикой чудо
Все духи жили здесь,
И сказки все отсюда

Где дом нашли родной
Мой пращур, зверь и птица.

Здесь я шагал тропой,
Где был, как небылица,

Здесь я мечтал в тиши,
Влюблялся в май и в осень,
Открыл родство души
С душой берёз и сосен.

* * *

Наедине с настольной лампой,
Как со звездой наедине,
Из слов сплетаю в тишине
Венок сонетов звучным ямбом.

Слова по смыслу и по звуку,
По вкусу, точности ищущу,
Чтобы, смеюсь я иль грущу,
Любовь в них выразить и муку.

В душе, как ветра дуновенье,
Я ощущаю вдохновенье
И исподволь чеканю слог.

И, может быть, Бог даст, к рассвету
Родиться суждено сонету
Из искренних удачных строк.

* * *

Давно ли здесь босым бродил я,
А сколько утекло воды!
Кого не ждут в краю родимом,
Тот горше круглой сироты.

И вот я в отчем доме гостем.
Легки попутные ветра!
И сын мой ест бруснику горстью,
Не оторвётся от ведра.

Наполнен дом мой голосами,
Хлопочет вся моя родня.
Смотрю весёлыми глазами
В окно, позвавшее меня.

Здесь любо всё, и всё знакомо,
Над Леной ночью — та ж звезда.
Каким мы связаны законом,
Родные, кровные места?

Я возмужал, и край мой тоже
Стал беспокойней и взрослей,
И не вспугнуть неосторожно
Мне стаю кранов — журавлей.

И пусть я гость здесь нынче редкий —
Не праздный я сюда ездок,
И посетил не для отметки
Родное, отчее гнездо.

* * *

Гале

Мне нравится синее платье
И синий цветок луговой,
И речек лазурные глади,
И синь над моей головой.

И я, очарованный синью,
В глаза загляделся твои:
Не видел под небом России
Глубокой такой синевы.



ЕЛЕНА ЧУБЕНКО



Серёжка из-под парты

РАССКАЗ

— Нина Семёновна! Приглядите за новеньким, в вашем классе. Серёжа Быстров. Приехали с мамой из другого региона. Мальчик непростой, побольше тепла ему уделите, — директор школы Анжела Сергеевна пытливо посмотрела на классную, будто сомневаясь, доверять ли ей новенького. Потом решительно захлопнула личное дело.

— Идите, думаю, не мне вас учить. У вас опыта в два раза больше.

ЧУБЕНКО Елена Ивановна — прозаик, драматург. Родилась в 1963 г. в с.Танга Улётовского района Читинской области. С 1981 по 1996 год работала в ОВД Улётовского района. В 1987 году окончила Иркутский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 1996 года по 2007 год трудилась федеральным судьей в районном суде. В настоящее время — судья в отставке. С 2011 года работает корреспондентом районной газеты «Улётовские вести». Автор нескольких сборников прозы, а также пьес для театра, в том числе сценария художественного фильма «Солнцем поцелованные» (режиссер Н. Гадомский), получившего приз Забайкальского кинофестиваля, дипломы Московского патриархата Симферопольской и Крымской Епархии, победителя XXX фестиваля «Золотой витязь» (2021). Член Союза писателей России с 2016 г. Произведения публиковались в журналах «Невский альманах» (Санкт-Петербург), «Сибиряк» (Иркутск), «Слово Забайкалья», «Сибирь» (Иркутск). Председатель Забайкальского регионального отделения Союза писателей России. Лауреат национальной премии «Имперская культура» (2018), лауреат премии им. М. Вишнякова, награждена медалью В. Шукшина (2023). Живёт в с. Улёты Читинской области.

Нина Семёновна, прихватив сумочку и классный журнал, подалась в класс, стараясь держаться попряме, без предательски сгорбленной спины и шаркающей уже походки. Вспомнила про «опыта в два раза больше» и ускорила шаг.

А директор взяла сотовый телефон и тут же перезвонила:

— Олеся Сергеевна? Доброго дня. Отдали Серёжу вашего в надежные руки, к самому опытному возрастному педагогу. Как вы и попросили, не сказала, что из Донбасса. Хотя, думаю, ничуть бы это не повлияло на его адаптацию. Кто вам это сказал? Да, был один случай. Но он был вызван именно бесплатным кормлением детей из семей участников СВО. Дети, они ж максималисты. Не понравилось некоторым, что кто-то ест за деньги, а кому-то привилегии. Нет-нет. Я прослежу, всё будет под контролем. Никто не обидит!

Третий класс Нины Семёновны был такой же, как и везде: в меру хулиганский, в меру начитанный, были тут и свои «ботаны», и свои оболтусы. Беда одна — не очень дружные. Сколько парт, столько «партий». А Нине Семёновне хотелось, чтобы как у неё в детстве: один за всех, все за одного. А они сидят, тайком поглядывают в свои телефоны, на переменах глаз от них не отрывают.

В этот раз всё было не так. За третьим столом никого не было, хотя ранец на нём стоял. Но именно к этому столу были прикованы все взгляды. Нина Семёновна пригляделась, не понимая, в чём дело. И вдруг увидела: под столом сидел мальчик, прислонившись спиной к стенке стола. В классе похихатывали, переглядывались, смотрели на неё, ожидая реакции.

— Доброе утро! Садитесь, — привычно поприветствовала она класс. — Да, я вижу, что наш новенький пока не обрёл себе места. Надеюсь, никто его не обижал? Даже если он нашёл себе необычный уголок, это не значит, что мы забыли об уроке. Итак, сегодня мы изучаем на уроке чтения «Серебряное копытце». Кто-нибудь из вас уже знает, кто написал это произведение? Нет? Кто-то читал о хозяйке Медной горы? «Огневушка-поскакушку»? Тоже нет?! Беда с вами. Вы кроме сотового телефона ничего не читаете, — качнув головой, подошла к доске и начала писать:

— Берём тетрадь и записываем: «Павел Петрович Бажов. 1879-1950 годы», — размеренно-привычно диктовала она новую тему. Потом молча подошла к столу с новеньким, подала ему ранец под стол и тихо сказала:

— Записывай тоже. Если тебе там удобнее, неволить не стану. Но спрашивать буду, как всех, хорошо?

— Хорошо, — прозвучало снизу.

Ребятишки мало-помалу потеряли интерес к спрятавшемуся ученику и втянулись в урок. Даже почитали по ролям, успели до конца урока.

Вместе с прозвеневшим звонком пулей выскочили в коридор, на перемену, толкаясь в тесных дверях.

Нина Семёновна раскрыла планы на столе, сделала пометки в журнале, а потом подошла к мальчику. Придвинув поближе стул, спросила:

— Сережа, тебя никто не обидел в классе, пока я не пришла?

— Нет. Я просто привык так сидеть, как в домике. Мне так спокойнее, — тихо ответил он.

— А в прежней школе ты тоже так учился, под столом?

— Сначала как все, а потом... — он замолчал. — А потом под столом.

— А не хочешь сказать, почему?

— Не хочу.

— Хорошо. Но я тебя буду спрашивать как всех, договорились?

— Да.

Все уроки парнишка так и просидел под столом. Во время одной из перемен вылез, оправил пиджачок и вышел из класса, после того, как все уже убежали в сторону столовой. А потом снова засел под столом.

В это время в класс заглянула директор.

— Нина Семёновна? Все нормально?

— Да. Справлюсь, — успокоила её коллега. Хотя, признаться, была в недоумении: как поступать с заупрямившимся мальцом. Глазами показала на столик, под которым маячила спина парнишки и вихрастый затылок, неровно обстриженный. Директор удивленно замерла у входа, сунулась было к нему, но классная решительно заступила дорогу:

— Спасибо, что зашли... У нас сейчас информатика, — и отрицательно качнула головой в сторону столика. Мол, не надо пока. Директор понятливо отступила назад, кивнула согласно и потихоньку ретировалась.

Новичок, на удивление классу, так и просидел все четыре урока под столиком. Менял учебники и тетради, приловчившись, писал там, устроив тетрадь на поверхности ранца. Вопросов по теме учительница ему пока не задавала: не знала, как поведёт себя, если попросту сесть за стол ещё не решился.

Второй и последующие дни ничем не отличались от первого. Мальчишка, заходя в класс, кивал всем и ... устраивался под столом. Попытки его разговорить ни к чему не привели: он угрюмо молчал. Драться с ним по поводу «затворничества» можно бы было, если бы не страшный шрам на голове и шее, уходящий под воротничок рубашки... Нина Семёновна, на второй день разглядевшая этот страшный шрам, успокоилась со своими педагогическими намётками в этот день, и оставила пацана в покое.

— Пообвыкнется, притрётся, — глядишь и вылезет на свет Божий, — решила она. — Мало ли что там случилось, может, ещё и вспомнить-то страшно.

Одноклассникам при случае, пока новичка не было в классе с утра, строго-на-строго приказала не обращать внимания на необычного ученика, не лезть с вопросами.

— Захочет, сам расскажет. Беда какая-то стряслась, видимо. Такие шрамы так просто не появляются.

На следующей неделе мальчишка вдруг поднял руку на вопрос учительницы. Та спокойно кивнула головой, будто каждый день ей из-под парты тянулась рука.

— Выходи, Сережа, отвечай.

Тот вышел, поправил одежду и с достоинством подошёл к доске. Стоя там, бегло решил написанную задачу и объяснил её.

Только тут все разглядели новичка: худенький, с остреньким подбородком. Прямой нос и упрямая недетская складочка между бровей уже показывали характер. По тому, как парнишка разделался с задачей в три действия, было понятно, что явно не из отстающих.

— Молодец. Садись. Хотя, — принеси-ка свои сегодняшние записи по всем урокам, — попросила учительница.

Класс притих, всем было любопытно, как поведёт себя новенький у доски. Подойдя к своему убежищу, он достал ранец, поставил его на стол, достал нужные тетради и отдал учительнице. Та бегло проглядела записи, удивлённо покачивая головой:

— Ещё раз молодец! Всё в порядке. Я боялась, что у тебя сложности: всё-таки не за столом работаешь. Смотрите! — и показала ребятам вначале одну, потом вторую тетрадь.

Вика Савицкая, — её стол был сразу за Серёжиным, — схватила ранец и тетрадь и пересела под стол, глаза ее блестели от неожиданного поворота урока.

— Серёжа, я с тобой, — прошептала она соседу-затворнику, который немного растерялся от такого участия. Потом демонстративно уткнулся в свою тетрадь, стараясь не глядеть на белоснежные колготки неожиданной соседки.

— Нет, нет, так не пойдёт, — запротестовала Нина Семёновна. — Не станем разгадывать Серёжиных загадок, какие у него причины. Захочет, расскажет нам, не захочет, — значит так надо. Думаю, это пройдёт. А все остальные всё-таки сидят, как положено. Мне нужно видеть ваши глаза, дорогие мои, — поднажала она. Сергей взглянул на неё благодарно из-под стола, и устроился там поудобнее.

Прошло недели три. Класс, к удивлению Нины Семёновны, сдружился. Тех, кто приходил посмотреть на новенького, выпроваживали. Ребяшня не бежала теперь прочь из кабинета на переменах, а окружала столик новенького. Двое неразлучников-бузотёров — Стас и Алька — заныривали под стол и посиживали там, как будто так и надо. Даже Вика, к пальцам которой как будто намертво прилип сотовый телефон, оставила наконец аппарат в покое, и разъясняла Сереже задачу из математики, низко склоняясь со стула под поверхность стола.

Разгадка странному поведению новенького пришла неожиданно, от физрука. На перемене он покатил в коридоре старенький теннисный стол, сложенный книжкой. Колеса были резиновые, шума особо не наблюдалось. Но напротив класса Нины Семёновны порушенная за годы использования половинка стола с ужасающим грохотом свалилась на пол с металлической рамы. Видать, потерялся в пути последний шуруп, который её держал. Звук был такой оглушительный, что все, кто был в классе, вскрикнули от неожиданности. А новенький попросту упал на пол, прикрыл себе голову ранцем и тонко закричал:

— Мама-а-а-а-а, я бою-ю-ю-юсь!

Он намертво вцепился в ранец, так что побелели костяшки пальцев, и крепко прижимал его к голове. И даже подвывал от страха. Это было столь неожиданно, что никто и не подумал рассмеяться. Нина Семёновна стремглав бросилась к малышу. Упала на пол сбитая ею же сумочка. Вытянула его из-под столешницы, прижала к себе:

— Серёжа! Серёжа! Это физрук столешницу уронил, не пугайся. Что ты, что ты? Успокойся.

Тот обхватил учительницу и, пряча лицо в её жакете, спросил:

— Это не обстрел? Правда? — руки его ходили ходуном, зуб буквально не попадал на зуб от страха.

— Нет, Сережа! У нас этого попросту не бывает, какой обстрел? Всё, всё... успокаивайся... — обнимая мальчишку, Нина Семёновна почувствовала под пальцами страшный шрам на затылке, мельком взглянула на остальных детей.

— Я... я... так боюсь снова бомбежки, — всхлипывая говорил мальчик. — Мне часто снится, что я опять там, в Горловке, под завалами. Что я снова спрячусь под какую-то плиту, чтобы меня не расплющило.

— Говори, говори, Серёж, — поглаживала его по плечам учитель. — Выговаривайся... Мы все поможем тебе, не переживай. Да же, дорогие мои? — почти умоляюще взглянула она в класс. И радостно ворохнулось в сердце: ни один из

класса не смотрел насмешливо, а у девочек были на глазах слёзы. Да и сама она вытирала свои глаза, стараясь, чтобы ребята не заметила.

— У нас не бывает этих бомбёжек, честно-пречестно, — первой подбежала Вика, обняла и учителя, и Серёжу. Это было как сигнал: все вскочили со своих мест, окружили троих и обнялись так, что уже не понять было, где Серёжа, где Вика.

— Погодите, дети! Вы меня уроните! Вы же такие уже большие, — пыталась вырваться Нина Семёновна из круга детских объятий. — Давайте уже сядем? Все по своим местам. Да же, Серёжа, да? — освободившись от учеников, она вместе с Сергеем подошла к столу и села. Он примостился рядом, не отрывал от неё рук, всё ещё придерживался за её одежду. Мало-помалу успокоился. Хотя ещё видно было, что край его пиджачка запоздало трясло.

— Все сели? Серёжа, ты прости, я же не знала, что ты из Горловки, — расстроилась Нина Семёновна. — Не знаю, почему меня не предупредили. Но точно знаю, что у нас не бывает бомбёжек. Мы тут как у Христа за пазухой. И не будет никогда. Ты мне веришь?

— Верю, — он совсем по-детски подавил в себе затерявшийся всхлип и рукавом вытер глаза. А потом твёрдо сказал: — Я буду теперь сидеть как все. А когда папа вернётся с войны, и школу отремонтируют, и наш дом, мы вернёмся домой.

— Конечно, Серёжа. И мы всем классом поедem к вам в гости, правда же? — Вика подошла к приоткрытой форточке. Весна сегодня разошлась вовсю. Она крупными каплями стучалась в козырёк над окном. Капли со всего размаху разбивались в водяную пыль, которая просвечивала радугой. Солнце по-хулигански врывалось между оконных переплётов в класс, начисто отменяя дисциплину, которая к концу апреля и так хромала.

И ребятам, как всегда, с приходом тепла так хотелось лета, а ещё больше — мирного неба над головой... Потому что все в классе сегодня поняли, что это самое главное.



СЕРГЕЙ СТАХЕЕВ



Разлилась Благодать до небес

Христос Воскресе

Разлилась Благодать до небес,
Ведь сегодня Христос Воскрес!

Нарекли Иисуса — ЛЮБОВЬ...
Где любовь — там святая кровь.

Веселись, Православный народ,
Светлый праздник Пасхи идёт...

СТАХЕЕВ Сергей Петрович родился в 1952 году в Чите. Окончил филологический факультет Иркутского госуниверситета. Работал учителем русского языка и литературы в Куйтунском районе. Переехал в Тайшет, где с 1986 года преподавал русскую литературу и русский язык в средней школе. И все эти годы писал стихи и песни, которые сам исполнял под аккомпанемент гитары. Участник многочисленных сибирских бардовских фестивалей. Первый рассказ написал в 1974 году, опубликован в цикле «Школьные пылинки» в Куйтунской газете. Затем были победы в региональных конкурсах рассказов «У-совет-у» и «Аллергия». В Тайшетской газете неоднократно печатались его стихи и короткие рассказы. Подборка стихов выходила и в журнале «Сибирь». Член объединения «Тайшет литературный» с 2003 года.

Воскресли Иисуса Христа!
Вместе с ним родилась ДОБРОТА.

Ясный свет от глаз и от лиц,
От улыбок, пасхальных яиц!

Дождик плакал с утра и стих,
Помолюсь я за близких своих,

Всем друзьям поздравления наши,
Нет библейского праздника краше!

Вербное воскресенье

В воскресенье вербное
Вспомню я, наверное,
Жизнь свою печальную,
И отца, и мать.
Одевались в чистое,
И глаза лучистые
Так сияли празднично.
Это... — благодать...

В воскресенье вербное
Вспомню я, наверное,
И свою любимую —
Песни у костра...
Мы бывали грубыми,
Но, целуя в губы, мы
Верили-надеялись
Эта... — до утра!

Дни летели птицами,
Жизни репетиция...
Режиссёр с характером
И, должно быть, крут.
Так что репетиция,
Как шинель с петлицами.
Вон сегодня звёздочка,
Завтра отберут...

Пусть сегодня с вербою
Мне подруга верная
Улыбнется ясно так,
Как родная мать...
Тридцать пять на полюсе,
И ремень на поясе,
И яйцо пасхальное,
Это... — благодать!

Верую...

Верю светлому детскому лику я,
В воды речек весною талые.
Вы сольетесь с Россией великою,
Если в сердце родина малая.

Глазки внуков синие-синие,
Грудь снегирья алая-алая.
Вы сольетесь с большою Россиею,
Если в сердце родина малая.

Благовещенье

Капелью звонкой
Весна всплакнула,
А я, ты знаешь, вообще не плачу...
А я ладошку ей протянула,
Она — горсть солнца к воде в придачу.

А голубь-птица
Крылом взмахнула,
А я, ты знаешь, машу руками...
Подпрыгнуть даже я вверх рискнула,
«Летать хочу я!» — кричу я маме.

Чего ж ты, мама,
Опять взгрустнула?
Благая весть к нам в окно стучится...
А я тихонько так намекнула:
«Пора девчонке уже влюбиться!»

О любви

Любочке

Я ту старую боль воскрешаю...
Утро... Восемь... Скорая... Холод..!
И июль мне напрасно внушает,
Что все-все вот так же уходят.

...Жар в труху превращает губы,
Тело рвет! Где же ты, наука?
Что плохого содеяла Люба,
И за что ей такая мука?

Не предаст и уже не обманет.
Путь житейский где прям, где извилист,
Не придержит фигу в кармане.
Может, предки в чем провинились?

Мы пути своего не знаем,
Тайна смерти еще не открыта.
Ты во внуках, Люба, живая,
Вон, как ты улыбнулся Никита,

Вон, как ты Матвей засмеялся,
Вон, как ты Семен расхотился,
Даже можешь гордиться Сережей.
Это он написал: «Человек — состоялся!
И не важно, сколько он прожил!!!»

Куда уходит любовь?

Было все! Была даже кровь, Ты ушел, я губу прикусила... А куда уходит любовь, Я тебя так и не спросила. Было всё: фата и цветы, «Волга» с куклой, девчонок слезы... Но сегодня ушёл вдруг ты, А в машине я видела розы. Было все: голубой рассвет, А над нами шептались ели...	Как же так? Тебя больше нет, И в квартире со снегом метели. Было всё: Булгаков и Блок. И Большая Медведица в небе... А сегодня из плит потолок И совсем не нужная мебель. Было всё! Постирай... приготовь, В выходные пирог на блюде... Ах, куда уходит любовь, Может, все же подскажите, люди!
---	--

Любопытный разговор

А скажи мне, девочка, Девочка пригожая, Расскажи всю правду, Не кривя душой. Или не отличник я, Иль не вышел рожею, Может, просто-напросто Нос для Вас большой.	Слушай, сокол бравый мой, Правду разлюбезную. Ты, конечно, крепенький, Все равно что дуб. Голова садовая, Сила — вещь полезная, Но мне хилый... с денежкой Нынче больше люб.
Что нам делать девочкам С этими мальчишками? Есть у них извилины? Даже не вопрос! Не играют с куклами, И не дружат с книжками, Про любовь не слышали, И при чем тут нос?	Тайну всевременную Ты раскрой мне, женщина. Розы любишь больше ты, Чем мою сирень. Почему же с детства в нас Через сердце трещина? А к глубокой старости — Мозги набекрень?
А скажи мне, девушка, Ясная, как солнышко, Объясни мне правила Ваших взрослых игр. Я смотрю — накачанный, Прям-таки амбалушка. А по гороскопу-то Так и вовсе тигр.	Ну, так слушай, мальчик мой, Вы ведь жили-не жили... Вам ведь все без разницы: Океан, река... Надо, чтоб Любили нас, Берегли и Нежили. И чтоб это было все Раз — и на века!

Имена

Был бы жив мой отец

Моему отцу —

Петру Семёновичу Стахееву — посвящаю...

Был бы жив той весной мой отец!
О войне я бы с ним ПОМОЛЧАЛ, наконец!

Я бы с ним ПОМОЛЧАЛ просто так в тишине,
Ведь отец не любил говорить о войне.

Я бы громко МОЛЧАЛ о войне, о любви...
Взрыв!
И вот он ползёт весь в крови!

А зелёный фанерный простреленный «ЗиС»
Над громадной снарядной воронкой повис.

Но одной он секунде был сказочно рад,
После взрыва — контузия и... медсанбат!

А потом... А потом... А потом... А потом...
До Берлина и Праги сто сорок потов!

И за Прагу медаль, за Победу медаль,
А за Вену не дали, скандаль — не скандаль!

Это был сорок пятый. В дыму полстраны,
Боже! Как далеко до родной стороны...

Как бы ни был изранен, но греют мечты:
«Доберусь, доползу до любимой Читы!»

Голод город скрутил. А Чита-то не та!
Стала послевоенной родная Чита!

И добрался, дошёл... Чернобров и высок,
Видно, будет красивым и умным сынок!

А сынок — это я! Шевелюры уж нет,
Зато дети и внуки. И добрый Тайшет!

Был бы жив той весной мой отец!
О войне я бы с ним ПОМОЛЧАЛ, наконец!

Рихтер

Не солгу я в первых строках,
Приравняв к приходу Мессии,
В Йокогаме несли на руках
«Золотые пальцы России».

Фудзи тихо ворчала с утра,
Грохотало ЕГО fortissimo,
И гремело раскатисто наше: «Ур-ра!»,
И японское «ошшень брависсимо!»

Танцевали все острова:
«Рихтер — наш!» — ликовала Япония,
Жаль никак не придумать слова
Для «Ноктюрнов» — ночной симфонии.

И проси, не проси Дебюсси
Ни гравюры старик, ни офорта,
Но зато в тональности «си»
Кулаком по клавишам, «forte».

А ещё признание Шопена:
«Как играет меня, как играет!
Человек — не брызги и пена,
А река между адом и раем».

Не солгу ни в ЕДИНОЙ строке,
На могиле лишь веточка пихты,
У любителей классики знамя в руке:
«СВЯТОСЛАВ ТЕОФИЛОВИЧ РИХТЕР!»

Памяти Дмитрия Хворостовского

*Дмитрий Хворостовский умер на рассвете
22 ноября 2017 года, в Лондоне.
Больше двух лет жил с диагнозом
рак головного мозга.*

Плачет Лондон дождём осенним.
Объяснить невозможно, хоть тресни...
А в машине на заднем сиденье
Диск с названием: «Русские песни».

А ещё шансон и романсы,
И любимейший Риголетто,
Вот какие у смерти шансы?
А он думал — дожить бы лета.

Стать, улыбка и дивный голос,
И разбег... аж от Красноярска.
Побелевший с юности волос.
Обокрали — и боль, и ярость!

Посмотрите вот он ...смеётся,
Что-то небо в цвет киновари...
Нас лепили, кого как придётся,
А его ...валя Страдивари!

Памяти Беллы Ахатовны

...ничто чужого пустяка
пустой и маленький туман

Б. Ахмадулина

Много горя. Но ведь было счастье.
Не склонилась головой покорно.
Море обошлось без моего участия,
Но я помню ручеек твой Черный.

Так пустой и маленький туманчик
Превратился в ауру поэта.
Я кладу ее стихи в карманчик,
И Планету, что ее строкой согрета.

Космос этой женщины глазастой
Не объять. Парсеком не измерить!
Мы еще ей долго будем застить,
Что Она взялась перепроверить.

Я не верю клятвам и обетам
И лишь взглядом верность обозначу.
Как по настоящему поэту,
По-мужичьи я без слез заплачу.

Марина Цветаева

Снилось: Париж, и стены Бастилии,
И черные трубы парижских крыш...
Прага, Париж! — и смешала все стили я,
И ты над Парижем паришь и паришь.

Поэзия — это рулетка мыслимых
И даже немислимых наших снов.
Били ли вас по спине коромыслами
Горьких, подлых, обидных слов?

Твердой валютой плачú за огрехи я,
Груды отнятых чешских крон.
Не стили — Душу сломала Чехия,
Оставив в нагане один патрон.

В Европе весна, а уже Елабугой
Дохнуло с немецких черных небес,
Но верю я: еще вспыхнет радугой
Имя мое над Страной Чудес.

Генералу Д.М. Карбышеву

(Письмо ученицы 10 а класса учителю литературы)

Не поверите... Только узнала
И НЕ ЗНАТЬ, как все бы могла...
Это было только начало,
НО живая душа генерала
Души русских солдат зажгла.

Генерал засыпал на минутку,
Ему снились и дом, и мать...
А еще, что война — не на шутку,
Что всё будет долго и жутко,
Что научимся МЫ воевать.

Что от Бреста до Сталинграда
Человеческих груды костей...
Что бойцу в окопе отрада,

И что лучшая миру награда,
Гнать, и аж до Берлина ...гостей!

Немец был сигаретами занят —
Человечий корчился вал...
...Генерал учился в Казани,
Ах, какой был жадный до знаний,
И в гражданскую воевал.

Был в работе — боец и задира,
В жарком споре не уступал...
Он умел сберечь честь мундира,
Верил свято в слова КОМАНДИРА.
Глупо... Взрыв! — И он в плен попал!

Так бывает в пылу атаки,
Где мешается кровь и боль...
В небе «Мессеры», в небе «Яки»,
Вдруг контузия... и не до драки,
И земная закончилась роль.

Звон в ушах и люди двоятся...
И где русские? Немцы? Пойми...
Нас учили: «Врагу не сдаваться!
До последней пяди держаться!»
Вот наган... а попробуй... нажми.

Не нажал... И в ту же минуту
Его ИМЯ в вечность взлетело...
Была ярость в душе и смута,
Тело было раздето-разуто,
Отчего-то сердце немело.

В городах — я сегодня узнала, —
Белый мрамор и серый гранит...
А из глыбы глаза генерала,
Подвиг русского генерала
Моё сердце навек сохранит!

Живу и помню

Я ведь живу и читаю
Всё, что создал Распутин,
Читаю и сердцем таю —
Это ж мои перепутья.

Я ведь живу и знаю,
Что в слове? И что за словом?
Добраться до сути дерзаю,
Отдельно зерно и полова.

Я ведь живу и помню —
Человеку бывает страшно...
Тогда, в сорок первом, в Коломне
Подростки шли в рукопашный.

Я ведь живу и воду
Сливаю в резервуары,
Чтобы тушить всем народом
Невиданные пожары.

Я ведь живу и верю,
Что возродится Матёра...
Вернутся рыба и звери,
Но будет это не скоро.

Неизвестный Распутин



ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

«Судьба моя»: Светлана и Валентин Распутины

В жизни В.Г. Распутина особое значение имели дом, семья, род, запечатленные в его литературном творчестве. Держательницей рода в прозе писателя изображена именно женщина — Анна («Последний срок»), Дарья, Настасья и Сима («Прощание с Матёрой»), Улита, Мирониха и другие. Материнское назначение женщины — стержневое в образах распутинских старух. Старухи сохранили в себе духовные основы русского народа, связанные с христианской этикой — трудолюбием, твердостью характера, терпением, состраданием, самопожертвованием, любовью к людям, благодарностью, тягой к высшему. Дом, семья, род в художественном мире В.Г. Распутина укрепляются женщиной.

Миропонимание писателя имеет биографические истоки. В детстве и юности рядом с Валентином Распутиным была бабушка Мария Герасимовна, его «Арина Родионовна», одарившая мальчика образной речью и певучим приангарским говором. Ее облик и судьба изображены в рассказе «Василий и Василиса». Мама Нина Ивановна, тихая, терпеливая труженица, изображена в автобиографическом рассказе «Красный день»¹, любимая тетя, которую в семье звали Таньчорой (Татьяна Никитична, младшая из дочерей Марии Герасимовны и Никиты Яковлевича Распутиных), чьим именем названа младшая дочь старухи Анны в повести «Последний срок». Среди добрых, жертвовавших собой ради детей женщин рос будущий писатель. Многие качества их характеров воплотились в образах главных героинь его будущих произведений. В кругу близких писателю женщин особое место занимает Светлана Ивановна Распутина, жена. Весна–лето 1960 г. подарили журналисту Валентину Распутину встречу со Светланой Молчановой, студенткой Иркутского госуниверситета. В браке со Светланой Ивановной писатель прожил более пятидесяти лет, 12 октября 2010 г., после сорока девяти лет совместной жизни, супруги обвенчались.

Новые мемуарные, эпистолярные и другие источники (2017–2019 гг.) позволяют наиболее полно представить личность С.И. Распутиной. Публикации Е.И. Молчановой, Е.Е. Николаевой, Г.А. Николаевой, А.С. Гурулёва, В.П. Зыкова, Н.В. Дуловой, А.В. Пантелеева, Н.Л. Крупиной, А.А. Королькова раскрывают биографические, социальные, психологические аспекты семьи писателя, ее атмосферу, особенности семейного общения. Событием для распутиноведов стала книга «...Жить в полную силу». Воспоминания о Светлане Распутиной. Воспоминания, стихи» (2019), ключевая для понимания личности жены писателя В.Г. Распутина.

Ценнейшим свидетельством о детстве, юности, семейной обстановке семьи

¹Распутин В. Красный день [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://prkas.ru/index.php?id=482> (дата обращения 17.07.2021).

Молчановых является очерк Е.И. Молчановой «Моя старшая сестра». В него включены воспоминания, записи и фотографии из семейного архива, стихи, письма И.И. Молчанова-Сибирского к жене Виктории Станиславовне и детям, письма родственников, девические дневники Светланы, два письма В.Г. Распутина 1960 г., письма Светланы Ивановны. Семья Молчановых была большой — шестеро детей. По воспоминаниям Евгении Ивановны, младшей из дочерей, отношение отца к детям было теплым и нежным. В военных письмах к жене муж расспрашивает о детях все мелочи, отправляет на Новый год каждому стихи [10]. Адресованы стихи и старшей из детей, пятилетней Свете: «Вот война окончится, отбушуют грозы. На глазах у доченьки высушу все слёзы. Ласковая ласточка — улыбнись, засмейся. Песенка о доченьке, в поднебесье взвейся» (28 дек. 1944 г.) [9, с. 12]. В 50-е гг. из Москвы отец отправляет детям письма в отдельных конвертах, что приносит адресатам большую радость. После ухода из жизни И.И. Молчанова-Сибирского в 1958 г. Виктория Станиславовна поднимала детей одна, ей помогали старшие дочери — Нина и Светлана.

В доме любили читать, и своих книг было много. «Читала Светлана очень много, у нас была прекрасная библиотека. Когда папа приезжал из Москвы, всегда привозил новые книги, и мы с нетерпением ждали, когда же он начнёт распаковывать чемоданы и вручать каждому долгожданные издания» [9, с. 19]. Традиционными были семейные праздники: дни рождения, Новый год. 1 мая был день рождения папы. «В доме аппетитно пахнет стряпнёй: мама уже достала из печки пироги, булочки с корицей. Она считалась непревзойдённой мастерицей — её сдобное тесто выходило пышным, нежным, а пироги с брусникой, черёмухой, покрытые сверху взбитой с сахаром сметаной, были необычайно вкусны» [9, с. 17]. На семейные праздники собиралось много гостей — соседи, друзья, родственники. Дети были в кругу общения ученых, поэтов, писателей, просто добрых людей — среди поздравлений, шуток, стихов, песен.

Было много людей и в будничные дни: родственники, друзья и подруги детей. «Приходили начинающие и уже известные поэты и писатели, забегали редакторы из нашего издательства, расположенного неподалёку, к нам, детям, приходили друзья-одноклассники или же соседские ребята — и никто не уходил, не отведав вкусного, ароматного, свежесваренного чая. Эту традицию (принимать, выслушивать, кормить и помогать делом ли, советом) сохранила и Светлана» [9, с. 28]. В заботливом отношении к людям и семье, по мнению Е.И. Молчановой, воплотился идеал отца. Дом держался любовью, трудолюбием и терпением матери, поддержкой старших детей. «Ума не приложу, как мама справлялась с таким наплывом людей, ведь в ту пору не было ни горячей воды, ни холодильника, ни газовой плиты. На кухне у нас стояла большая печка, облицованная коричневым кафелем, которую нужно было топить дровами, да обычная электрическая плитка. А сколько стирки приходилось ей делать!», — вспоминает младшая дочь [9, с. 27].

Доверительные отношения сложились у отца с первым своим ребенком — Светланой. На вечер, посвященном 100-летию И.И. Молчанова-Сибирского, в Москве, С.И. Распутин вспоминала: «Мне повезло, конечно, больше всех, потому что я старшая и поэтому больше других общалась с папой. <...> Он учил нас жить. Но не по каким-то дидактически назидательным правилам, а просто своей жизнью, своим примером учил нас доброму и хорошему» [9, с. 25]. Евгения Ивановна вспоминает о сестре: «Светлана всегда заботилась о нас, о своих братьях и обо мне, как самой маленькой, особенно» [9, с. 21]. Будучи студенткой физи-

ко-математического факультета Иркутского университета, Светлана каждое лето работала в стройотряде, чтобы помочь матери. Примером в семье была и Нина, старшая дочь В.С. Молчановой, по профессии детский врач. «Добрая, сердечная, участливая, отзывчивая», — вспоминает о ней племянница Е.Е. Николаева [12, с. 90]. Нина помогала матери вырастить младших, потом, передав эстафету Светлане, уехала в Якутию, где «летала на вертолѐтах в далѐкие улусы, мчалась по первому вызову, спасала, лечила и, порой, просто помогала людям выжить» [12, с. 91]. Она стала главным педиатром Якутска. Стремление помочь людям, идти на помощь было семейным качеством Молчановых.

Светлану в годы студенчества младшая сестра запомнила высокой, стройной, спортивной, красивой девушкой. У Сергея Валентиновича Распутина в семейном архиве сохранился дневник матери, две общие тетради. Записи в дневнике отражают миропонимание девушки до встречи с будущим мужем, ее принципы, открытость, радость жизни, ожидание счастья. Записи запечатлели готовность посвятить себя любви, быть преданной любимому человеку, предощущение большого чувства, определенного острым восприятием времени и ожиданием свершений судьбы. «Я думаю, он живѐт, он ищет меня. Он уже любит меня такой, какой меня сделает любовь к нему...» (9 янв. 1958 г.) [9, с. 18]. Здесь же описание идеала, к которому стремится юный автор. «Всегда, везде быть сильной, независимой. И чтобы все это знали. И никогда не раскисать, по крайней мере, чтобы никто не видел этого» (28 авг. 1960 г.) [9, с. 20]. Эти слова написаны уже в период встреч с В. Распутиным. Знаменательна и другая запись в дневнике от 20 сентября 1960 г. «Часто сейчас мне стало казаться, что В.Р. (так она называла его в дневнике) — судьба моя» [9, с. 32].

История знакомства Валентина со Светланой удивительна непридуманным сюжетом. Когда Валентин от подруги девушки узнал, что Светлана — дочь известного сибирского писателя И.И. Молчанова-Сибирского, он перепугался и решил больше не появляться знакомой на глаза. В этом он признался на вечере, посвященном 100-летию поэта. «Светлана в моих глазах сразу поднялась в какие-то недостижимые высоты и превратилась в некое воздушно-небесное создание. <...> Думаю, куда там мне с моим рылом, что называется, быть рядом с этими небесами» [9, с. 23]. И все-таки молодая семья сложилась. Женившись, Валентин Распутин окунулся в особый мир дома Молчановых. Недолго, года полтора, молодожены жили с Викторией Станиславовной. «Здесь царила такая же добрая, душевная атмосфера, как и в писательском доме. Эта, я бы сказал, добропорядочная обстановка дома, душевный и духовный его климат, его гостеприимство присутствует в нём и по сей день» (2003 г.) [9, с. 24]. О своей теще, сохранившей «молодость сердца и очарование души», о ее семье В.Г. Распутин вспоминал с благодарностью, признавая, что его постоянно тянуло в дом Молчановых, когда они со Светланой и детьми после приезда из Красноярска жили уже отдельно.

О воспитании третьего поколения в семье Молчановых рассказывает Е.Е. Николаева. «Бабушка с детства приучала нас к ответственности и справедливости, к тому, что о себе нужно думать в последнюю очередь. Она много рассказывала нам про дедушку, какой это был чистый, порядочный, светлый человек, и, казалось, мы ощущали, чувствовали его так, как будто он был рядом» [12, с. 89]. Племянница пишет о С.И. Распутиной и созданном ею укладе своей семьи, продолжающем традиции родительского дома. «Светлана всегда оберегала Валентина, она знала, что он талантлив, она любила его. Взяв на себя обязанности личного секретаря,

чтобы он мог спокойно работать, ограждала порой от лишних звонков, от визитов настойчивых посетителей <...>. В доме у Распутиных всегда былолюдно: приходили друзья-писатели, обращались за советом начинающие авторы, заходили подружки Светланы, друзья Серёжи и Маруси. Все, кто попадал в их дом, были обязательно накормлены. Светлана всё делала ловко и быстро» [12, с. 95]. Своей заботой Светлана Ивановна окружила всю большую молчановскую семью, многочисленных племянников — не жалела сил и времени их выслушать, ответить на вопросы, посоветовать книгу, научить шить, вязать. В связанных ею шапках, шарфах, кофточках ходили дети, племянницы, внуки. Всю жизнь С.И. Распутина старалась следовать жизненным принципам родителей, укладу родной семьи.

Г.А. Николаева, подруга С.И. Распутиной, со студенческих лет посещавшая дом Молчановых, вспоминает большую дружную семью с удивительными отношениями младших и старших, приветливую и гостеприимную. Прежде всего, она «была удивлена обилием книг в квартире и чрезвычайно скромной обстановкой» [11, с. 110]. Подруга выделяет значение жены в творчестве В.Г. Распутина как помощника и советника: «она очень его оберегала от навязчивых посетителей, создавала ему необходимую для творчества обстановку. Светочка была той женой, про которую говорят “жена-соратница”. Думаю, что при её литературном вкусе, при её чувстве слова она была первым и самым строгим критиком для своего мужа» [11, с. 118]. «Вспоминается, как вдруг ей захотелось построить на участке маленький дом, чтобы Валя мог там спокойно работать» [11, с. 121]. Задумка была реализована, и у писателя на даче появилось тихое место для литературной работы. Забота С.И. Распутиной о муже была постоянной и воплощалась в большом и малом.

В.П. Зыков, журналист, позднее редактор издательства, познакомившийся с Валентином Распутиным в 1962 г. в областной газете «Красноярский комсомолец», запомнил Светлану Ивановну «женщиной красивой и строгой» [5, с. 199]. «Светлане, как преподавателю и молодому специалисту, дали <...> комнату» в общежитии Сибирского технологического института [5, с. 201], где и бывал автор воспоминаний. В письме к В.П. Зыкову от 26 января 1975 г. сохранилась оценка В.Г. Распутина времени жизни в Красноярске как лучшего периода: «а время-то ведь было самое золотое» [5, с. 205].

Яркие краски к портрету Светланы Ивановны добавляет А.С. Гурулёв, друг В.Г. Распутина [2]. Дружба длительностью в шестьдесят лет позволяет относиться с большим доверием к свидетельствам автора. А.С. Гурулёв в своей книге посвящает жене В.Г. Распутина отдельную главу «Света, Светлана Ивановна, жена Валентина» и тонко, чутко описывает первые впечатления от знакомства с нею, ее характер, роль в жизни мужа, требовательность и твердость в критических ситуациях. «Света была тоненькой, светлоглазой, с чуть выдающимися остренькими скулами, строголицей и, как теперь вспоминается, без особого интереса к косметике и принятой в девичьей среде кокетливости. И, как оказалось впоследствии, внимательной, заботливой и терпеливой» [2, с. 143]. Такой портрет юной Светланы запечатлелся в памяти друга.

А.С. Гурулёв видел «мир семьи Валентина с близкого расстояния», и это обстоятельство позволяет увидеть то, что недоступно постороннему взгляду. Первая поездка Валентина Распутина на родину в Аталанку (весной–летом 1962 г.) с женой и сыном примечательна важной деталью. «В напряжённой суете, незадолго до посадки на теплоход, не знаю по какому поводу, Валя в разговоре с женой

внезапно вспыллил. Запомнился этот случай не столько своей редкой резкостью со стороны Валентина, сколько реакцией Светланы. Несмотря на то, что она и сама была в беспокойстве, да ещё с грудничком на руках, вся в заботах о нём, о маленьком, нашла для своего голоса удивительно успокаивающую тональность и, отвечая мужу, погасила возможный взрыв. Случай крошечный, мимолётный, да и не случай даже, а только его дальний отсвет, но вот запомнился. Думается, что в эти минуты Светлана беспокоилась, прежде всего, не о себе, а о Валентине, оберегая семейную двуединую суть» [2, с. 144]. Не чужим взглядом прохожего или случайного человека, а сердцем друга замечена отзывчивость, ответственность жены за семью, за ее крепость. Преданность, чуткость, самоотверженность сохранились в отношении С.И. Распутиной к мужу в течение жизни.

А.С. Гурулёв выделяет в характере Светланы Ивановны главное для писателя — умение создать особую обстановку в семье: тишину, внимание, отвлечение от бытового, мелкого, случайного, «творческий уют». И объясняет эту редкую способность уникальной писательской семьей, в которой выросла Светлана. «Валентину повезло. Его Светлана прошла спецподготовку по курсу, который бы мог называться “Особенности обращения с творческой личностью”. Дело в том, что её отец, Иван Иванович, был известным в своё время поэтом Молчановым-Сибирским. И она знала такие важные мелочи, что кружка горячего и крепкого чая поутру может помочь творческому человеку обрести себя, обрести рабочее состояние, что нельзя заходить в кабинет, где он пытается отстраниться от всего мира ради своего мира, даже с такими заботами, как “А что тебе приготовить на обед?”. Тем более для решения каких-то проблем. Это всё потом, когда придёт время, когда откроется дверь кабинета, и творец выйдет за очередной кружкой чая» [2, с. 145]. В этом качестве выразилась суть отношения жены к мужу-писателю.

Светлана Ивановна могла быть жесткой, нестигаемой в отстаивании здоровья, интересов мужа, и с этим друзьям писателя приходилось считаться, признавая в душе ее правоту. В политической и экономической ситуации 90-х гг. Светлана Ивановна могла быть «воинственна и непримирима: кто-то чужой пытался разрушить мир, который она создала и оберегала» [2, с. 149]. Твердой она была и в выполнении мужем медицинских предписаний. А.С. Гурулёв вспоминает: «Затем приём лекарств. Светлана это дело отслеживает строго. Валентин принимает лекарства привычно и послушно: у Светланы не забалуешь» [2, с. 147]. Бывая у друга в Москве, А.С. Гурулёв отмечает множество гостей в доме. «В его московской квартире довелось увидеть “золотой запас” русской литературы — Василия Белова, Евгения Носова, Владимира Крупина. Этот список можно многократно умножить: из разговоров я знал и о других не менее ярких писателях, появившихся здесь. И всегда чувствовалось, что “народ” пришёл не случайно, не разово, а привычно, привычно воспринимая душевный уют распутинской гостиной. Тут, пожалуй, требуется некоторое уточнение: Светланиной гостиной» [2, с. 148]. Чтобы дом был притягательным и гостеприимным, необходимо было участие не только хозяина, известного писателя и отзывчивого человека, но и хозяйки, создававшей душевную теплоту и уют. Свидетельство А.С. Гурулёва дополняют воспоминания Н.Л. Крупиной, А.В. Пантелеева, Н.В. Дуловой и других людей, бывавших в московской квартире Распутиных.

Люди близкие В.Г. Распутину отмечали, как тяжело переживал писатель уход Светланы Ивановны из жизни. Даже при его сдержанности и молчаливости видны были признаки страдания. Друзья, стараясь утешить, окружали вниманием и

пытались его отвлечь, но чувство одиночества оставалось в душе человека. Боясь тронуть глубоко затаенное, А.С. Гурулёв отмечает, что мысленно В.Г. Распутин продолжал находиться где-то рядом с женой. «А заговорил он о Свете, о том, что Света была для него надежнейшей опорой, что она никогда не давала даже малейшего повода усомниться в её надёжности, верности, искренности. Быть может, я лишь тогда острее понял, какое чувство одиночества, невосполнимой потери он испытывает: мы говорили ведь совершенно о другом, как теперь понимаю, уже мало значимом в его жизни, а вся суть Валентина колотилась в том прошлом, где была Светлана» [2, с. 146]. Друг писателя уверен, что Светлана была опорой и сутью жизни Валентина Распутина, ее важной, необходимой частью. Подводя итог полувековому знакомству с семьей Распутиных, автор заключает: «Если браки заключаются на небесах и при выборе жены участвуют высшие силы, то светлые силы весьма ответственно потрудились, подбирая жену Валентину» [2, с. 142]. В признании роли Светланы Ивановны в жизни В.Г. Распутина заключается высшая оценка того, что крепость семьи, воздвигнутая любовью и стараниями жены, помогла состояться литературному и общественному таланту писателя.

Н.В. Дулова, друг семьи Молчановых и Распутиных, Светлану помнит с раннего детства. Их матери, В.С. Молчанова и А.И. Басманова, познакомились во время войны, стоя в очереди за хлебом [3, с. 124]. У Н.В. Дуловой в памяти сохранилось впечатление от первой встречи с Валентином Распутиным, показавшимся маленькой девочке молчаливым, застенчивым и добрым человеком. Позднее она удивлялась его нежности к детям, своим и к чужим. По воспоминаниям Н.В. Дуловой, Светлана выросла в большой и дружной семье, щедрой на добро, трудолюбивой, где все помогали друг другу. К Виктории Станиславовне В.Г. Распутин относился с особой теплотой. Замечателен факт, что именно В.С. Молчанова отнесла очерки зятя в редакцию журнала «Ангара». Н.В. Дулова вспоминает: «Виктория Станиславовна рассказывала мне, что отнесла первые рассказы зятя (“Я забыл спросить у Алёшки” и др.) Марку Сергееву, главному редактору альманаха “Ангара”, тот очень похвалил их, но напечатать их в альманахе было не так-то просто» [4, с. 81]. Это было еще в период знакомства Светланы с Валентином Распутиным (кон. 1960 — нач. 1961 гг.). При отце дом Молчановых «был местом встреч городской интеллигенции. Здесь бывали все сибирские писатели, писатели из столицы, которых я почти не помню, но знаю из маминых рассказов о том, как она видела здесь Твардовского, слушала интересные рассказы иркутских редакторов» [4, с. 79]. По мнению автора воспоминаний, семья Молчановых была радушной, гостеприимной, любящей, и напоминала семью Ростовых. «Но только бедность была не “ростовская”» [4, с. 79].

Н.В. Дулова отмечает редкое качество С.И. Распутиной. «Света была крепкая, организованная, всё умеющая, по-настоящему счастливая. <...> Счастье, как известно, всё же мгновенно, длительность счастья — это редкость из редкостей... Свете выпала такая редкость. Но это не внушало ей опасную мысль, что она сама *это заслужила*, что она особенная и достойная. Думаю, что она понимала: счастье — это не столько заслуга, сколько дар небес» (курсив автора. — В.И.) [4, с. 81-82]. Светлана Ивановна любила делать подарки. Такую щедрость и трудолюбие она принесла из своей семьи. «Семья была на редкость гармоничной и гостеприимной. Света всё делала быстро, была настоящей хозяйкой, могла состряпать пироги из деликатесов, а могла на даче — из ревеня. Все Распутины радостно общались друг с другом на отдыхе, но очень много трудились, умея сочетать увлечённость с

самодисциплиной» [4, с. 82]. В семье царил теплая атмосфера, человек испытывал «там особый психологический комфорт», «деликатность и тактичность Светы и ВГ были уникальными», они днём могли говорить шёпотом, чтобы не разбудить гостя [4, с. 85]. И еще одна биографическая деталь. На даче по Байкальскому тракту был построен «зимний дом, в котором Распутин мечтал провести свою старость» [4, с. 84]. На мансарде этого дома была размещена большая библиотека писателя, включавшая книги дочери.

Драгоценны воспоминания Н.В. Дуловой о последних днях Светланы Ивановны, ее стойкости в болезни и заботах о муже. «Будучи больной, она всё успевала, ничего не забывала и думала, как муж будет жить без неё. За месяц до её кончины я сидела рядом с диваном, на который она впервые позволила себе лечь при мне» [4, с. 92]. Тогда же прозвучало и осталось в памяти близкого человека сокровенное желание Светланы Ивановны: «Я бы так хотела умереть с Валею в один день» [3, с. 138] — как свидетельство высшего согласия двух людей. Преданность семье и мужу Светлана Ивановна сохранила до конца своих дней.

В июле 2012 г. А.В. Пантелеев летит в Иркутск, чтобы утешить В.Г. Распутина после ухода из жизни Светланы Ивановны. Он собрал слова поддержки от семей В.Я. Курбатова, И.Ф. Гончарова, Н. Н. Скатова, А.А. Королькова, от В.Н. Крупина и Н.Л. Крупиной и десятка других людей. Все помнили Светлану Ивановну. В московской квартире Распутиных, пишет А.В. Пантелеев, всегда были гости, по одному, чаще по два и более писателей, художников, политиков, военных и даже незнакомых людей. Наблюдательный взгляд оператора и фотографа улавливал привычку гостеприимства в семье, устойчивость порядка, сердечность участия во встрече людей, незаметную поддержку в семье друг другу. «Светлана Ивановна приветливо встречала их в прихожей, потом “передавала” Валентину Григорьевичу, а сама незаметно уходила из квартиры, отправляясь за продуктами, прекрасно сознавая, что хозяйка всегда должна быть в таких случаях “на высоте”. Без видимой суеты и спешки она быстро справлялась с сервировкой стола, никого не привлекая в помощники и отказываясь от непременных в таких случаях предложений и услуг со стороны гостей. Единственной помощницей её в такие моменты становилась Мария...» [13, с. 125]. Порядок приема гостей сохранялся даже тогда, когда хозяйка была больна. В потоке гостей, который был в доме В.Г. Распутина, жизнь Светланы Ивановны была служением призванию мужа, его литературной и общественной деятельности.

Н.Л. Крупина вместе с мужем писателем В.Н. Крупиным, будучи близкими друзьями семьи Распутиных, часто приходили к ним в гости. В.Н. Крупин приезжал и в Иркутск. Двух писателей связывала не только профессиональная дружба, но и крещение В.Г. Распутина, о чем В.Н. Крупин неоднократно писал. Лаконичные слова Н.Л. Крупиной полны восхищения и благодарности. «Несчётное число раз выйдя из метро на Кропоткинской, мы торопились к ним, в их светлую, приветливую, гостеприимную квартиру, где тебе всегда было хорошо, где можно было сказать обо всём, о чём думал, что вызывало твою тревогу, боль, радость, и всегда найти отклик и поддержку» [8, с. 140]. Н.Л. Крупина пишет о том, что оба, Светлана и Валентин, «оба очень чуткие к слову» [8, с. 143], не терпели фальши, и потому их дом был наполнен искренними, теплыми, веселыми словами.

В характере С.И. Распутиной автор воспоминаний выделяет любовь к семье, цельность отношения к мужу как к родному человеку и писателю. «Светлана безгранично любила свою семью: мужа, детей, внуков, родственников. Любовь Све-

ты к Вале была особого свойства: он был для неё не только любимым человеком, но и, несомненно, любимым писателем. Открыто она об этом, конечно, не говорила, но благоговейное отношение к творчеству Валентина чувствовалось во всём» [8, с. 140]. «Светлана делала всё, чтобы он (муж. — В. И.) не знал никаких забот о быте. Распутинский дом держался на ней: его уют, радушие, хлебосольство создавались её руками, душой» [8, с. 142]. Автор называет Светлану Ивановну ангелом-хранителем семьи и детей. Для детей важны были не столько указания родителей, а их поступки и образ жизни, как и в родительском доме Светланы Молчановой. «Как любила она их — Серёжу и Марусю; тревоги и радости Серёжи, Маруси мама делила с ними всем сердцем, проникалась ими и помогала всеми своими силами» [8, с. 144]. Искренняя любовь матери и жены объединяла общим чувством семью, давая сердечную поддержку каждому. С этим чувством связано и чувство близости с другими людьми, душевное с ними родство, которое ощущали те, кто приходил в дом Распутиных.

Вновь в характере Светланы Ивановны подчеркивается выдержанность, самодисциплина, умение справиться с собой, мужество и стойкость. «Но я ни разу не слышала от неё ни слова недовольства чем-то, упрёка, жалобы на усталость, не видела раздражённой, повысившей голос. Светлана была достойной Валентина во всём. Внешне и внутренне красивый, глубокий, разносторонний, со своими убеждениями и взглядами, удивительно скромный человек, она всегда оставалась другом и единомышленником своего гениального супруга» [8, с. 140-141]. Отмечена твердость характера и в преодолении болезни. «Хрупкая на вид, она обладала удивительным твёрдым характером. Она боролась со своей болезнью как боец, никому не показывая, чего это ей стоило» [8, с. 144]. И вновь среди достоинств С.И. Распутиной выделяется скромность, умение вовремя оказаться рядом, помочь кому-то из друзей и близких. «Хочу отметить её удивительную скромность. Державшая семейный свод на своих хрупких плечах, создававшая все условия для работы мужа, она никогда и никаким образом не показывала своей значимости в судьбе близких, хотя все, знавшие семью Распутиных, были уверены в том, что заменить Светлану никто бы не смог. В нужный час, в нужное время она оказывалась рядом с тем из своих родных и друзей, кто более всего нуждался в её участии и конкретной помощи» [8, с. 142]. Это же участие и помощь близким людям в характере С.И. Распутиной выделяют племянница Е.Е. Николаева и подруга Г.А. Николаева.

В памяти Н.Л. Крупиной встают искренние семейные праздники Распутиных и «скатерть-самобранка», возникающая «почти круглосуточным стоянием у плиты» Светланы Ивановны. «А пироги, Боже, какие пироги ожидали гостей! Как гости, знающие Светин талант, ждали этих пирогов! Они вливались в комнату на больших противнях, блюдах, пышные, высокие, торжественно водружались в центре стола и обязательно требовали здравицу за хозяйку дома, за её здоровье, мастерство, объединяющий нас всех человеческий талант, что всегда делалось с большим воодушевлением. При уходе нам всегда вручался со словами: “Для мамы и внуков”, — аккуратно завернутый внушительный кусок Светочкиного замечательного пирога» [8, с. 143]. Вдохновение, с которым выполнялась многочасовая домашняя работа, могло идти только от любящего сердца. Талант гостеприимства, умение слушать человека, принимать душой, умение печь пироги передались Светлане Ивановне от мамы и атмосферы семьи, в которой она выросла, любви, которой окружали детей и людей ее собственные родители. Приемы

гостей, повседневные привычки и детали домашнего уклада семьи Распутиных выдают искренность и открытость хозяев, общий для семьи человеческий талант. Участие к человеку, заинтересованное внимание, желание помочь были характерны для дома Распутиных.

1961 год, начало семейной жизни Валентина Распутина, отмечен влюбленными в жизнь очерками — о Тофаларии [6]. Первый очерк из тофаларского цикла «Край возле самого неба» (12 февр. 1961 г.) [14] дал название первой книге очерков начинающего писателя (1966) [15]. В них автор особенно внимателен, чуток к новому для себя миру народа тофов, вдохновенно его слово. Не заметить этого невозможно, следя за развитием дара писателя в 1960-1961 гг. Старуха-тофаларка из зарисовки «Старая охотница» (1961) [16], опубликованной в газете «Советская молодежь» как очерк «Всех понятней тайга» [17], дала начало распутинским старухам. Этот творческий взлет и вхождение в судьбу писателя состоялись для Валентина Распутина рядом со Светланой Молчановой, ставшей осенью 1961 г. матерью его сына.

После Читинского семинара молодых писателей Сибири и Дальнего Востока (сентябрь 1965 г.), поддержки В.А. Чивилихина, В.Г. Распутин принимает судьбоносное решение. Уже на следующий год, в марте 1966 г. он уходит из газеты «Красноярский комсомолец» [1, с. 49], чтобы посвятить себя литературному творчеству, стараясь напечатать то, что было написано за годы работы в газете, и написать новое. Тогда же в марте Распутины возвращаются в Иркутск. Для начинающего автора это был уход в неизвестность, неопределенное будущее, не обеспеченное даже членством в Союзе писателей. В.Г. Распутин знал о рекомендации В.А. Чивилихина (дек. 1966 г.), собирал документы для вступления в Союз писателей, но само принятие произошло только в мае 1967 г. Уволившись из редакции областной газеты в марте 1966 г., где он был спецкором, журналист отказывался от стабильного финансового и социального положения. Участие жены в решении мужа в этой ситуации было ключевым, поскольку молодая семья оставалась жить на скромный заработок преподавателя в ожидании возможных гонораров мужа. По возвращении в Иркутск Светлана Ивановна устроилась ассистентом на кафедру высшей математики Иркутского института народного хозяйства, где и проработала преподавателем всю жизнь. Роль жены в выборе литературного пути мужа подтверждает Е.И. Молчанова: «по настоянию Светланы, Валентин оставляет работу в редакции и уходит на профессиональную литературную деятельность. Решиться на это было непросто (пресловутый материальный фактор!), но Светлана уже ясно понимала, что её муж — талантливейший писатель — и не должен растрчивать себя на поездки по области, на написание очерков (хотя и очерки у него были необычными), ведь у Валентина уже зарождались темы новых рассказов и повестей, а для их написания нужно драгоценное время» [9, с. 34-35]. О том же пишет и Г.А. Николаева: «Света со всей настойчивостью смогла убедить его оставить работу, и они оказались в очень непростом финансовом положении, когда постоянным был только её заработок. Валя лишь получал гонорары за несчастные публикации в газетах. В “Ангаре”, в “Енисее” появлялись Валины рассказы. Как счастлива была Света, когда вышел сборник его рассказов “Человек с этого света”» [11, с. 113].

Неожиданна мысль одной из родственниц, двоюродной тети Али (Анелии Семёновны Шишловой), высказанная, словно для будущих исследователей, в письме Светлане Ивановне. «Это великое счастье и большая ответственность —

быть женой великого Писателя. И я рада за тебя, что на твою долю выпала такая счастливая судьба. Между прочим, пора бы прочитать в рассказах Валентина Распутина прообраз его жены, простой, истинно русской женщины, по-сибирски сдержанной и по-московски нежной (а может быть, наоборот). Его жена — это чистый родник, целебные свойства которого придают творческие силы писателю. Читатели это чувствуют» (письмо от 14.07.1995) [9, с. 58]. Значимость жены в литературной судьбе писателя в 40-летнюю годовщину их совместной жизни отметил надписью на книге «Сибирь, Сибирь...»: «эту книгу как знак благодарности за подвиг мученичества и любви и как результат наших общих трудов» [9, с. 32]. Общность трудов выделена заключительной позицией слов в высказывании. Младшая сестра убеждена, что «Светлана была очень заботливой, любящей женой, старалась создать Валентину все условия для работы, но вместе с тем — она — первый читатель, строгий и справедливый критик» [9, с. 32].

Главным источником определения значимости С.И. Распутиной в жизни писателя остаются признания самого В.Г. Распутина. Скупые слова, передающие острую душевную боль, в письмах к другу, А.А. Королькову. «С уходом Светланы я не просто без родной жены остался, но и себя окончательно потерял. <...> Не говоря уже о том, что она и кормила, и одевала меня. Ей было за что обижаться на меня, но обижалась крайне редко и сама же потом успокаивала меня, чтобы я не волновался. Ой, да что говорить: осиротел» (письмо от 09.07.2012) [7, с. 263-264]. «Года два, даже три ей пришлось быть не только кормилицей-поилицей, но и моим поводырем, потому что память моя ахнула неизвестно куда, и я мог блудить не только в Москве, но и в Иркутске» (письмо от 21.08.2012) [7, с. 264-265]. «Неделю назад уходу Светланы исполнилось полгода — позвонил Сергею, чтобы не забыл съездить на кладбище, и, чтобы не оставаться в одиночестве, полдня бродил по ближним улицам. Нигде нет покоя измученной душе — ни в Иркутске, ни здесь» (письмо от 09.11.2012) [7, с. 267]. А.А. Корольков убежден: «Конечно, как никто другой, мир Распутина знала и понимала его жена, Светлана <...>» [7, с. 169]. Этой обобщающей, итоговой формулой можно завершить портрет жены писателя В.Г. Распутина.

Два человека, прожившие вместе более пятидесяти лет, — Валентин Григорьевич и Светлана Ивановна Распутины — общей судьбой написали «книгу», красивую, светлую, могущую стать примером в преодолении трудностей и служении высшему. Ненаписанный сюжет которой, возможно, когда-нибудь вдохновит равнодушного писателя. Мемуарные источники, эпистолярное наследие писателя и его семьи, фотографии, документы из семейных архивов помогают объемно представить личность писателя в окружении близких ему людей, создающих условия для творчества и среду, которая это творчество питает. Облик Светланы Ивановны, любящей, строгой, мужественной, выдержанной, дисциплинированной, трудолюбивой, счастливой рядом с мужем, укрупняет личность и творчество В.Г. Распутина. Жена помогла начинающему автору встать на литературный путь и остаться на нем. Сама же отдала себя семье и детям, создавая необходимые условия для писательской и общественной работы мужа. Взяла на себя большую часть хозяйственных забот — обыденных, рутинных, постоянных, опекая мужа во многих болезнях, многих тяжелейших операциях, делах, приемах гостей. И это служение. Рядом с писателем находилась женщина, несущая и хранящая традиции родительской семьи, сумевшая передать дальше полученное из нее тепло, заботу, любовь к людям. Своей верностью, надежностью она подтверждала жизненность

художественных образов, созданных воображением и словом мужа-писателя. Более пятидесяти лет оберегала того, кто сам берег Байкал, Сибирь, Россию. В литературном и общественном наследии В.Г. Распутина содержится и ее часть труда.

Литература

1. Валентин Григорьевич Распутин : биобиблиогр. указ. / сост. Г. Ш. Хонгордоева, Э. Д. Елизарова ; ред. Л. А. Казанцева. — Иркутск : Издатель Сапронов Г. К., 2007. — 472 с.

2. Гурулёв, А. С. Остановиться... и оглянуться. Воспоминания о Распутине. — Иркутск : Издат. центр «Сибирь», 2017. — 192 с.

3. Дулова, Н. В. Молчановы и Распутины в моей жизни / Н. В. Дулова // «... Жить в полную силу». Воспоминания о Светлане Распутиной. Воспоминания, стихи. — Иркутск : Принт-Лайн, 2019. — С. 123—139.

4. Дулова, Н. В. Общение с В. Г. Распутиным / Н. В. Дулова // Александр Вампилов и Валентин Распутин: творческий потенциал «иркутской истории»: материалы Международ. науч. конф. / ФГБОУ ВПО «ИГУ»; отв. ред. И. И. Плеханова. — Иркутск : Изд-во ИГУ, 2017. — С. 79—92.

5. Зыков, В. П. Валентин Распутин. Комсомольские годы в Красноярске / В. П. Зыков // Живём и помним. Воспоминания о Валентине Распутине / предисл. В. Скифа. — Иркутск : Репроцентр А1, 2017. — С. 198—212.

6. Иванова, В. Я. Образы тофов в поэтике Валентина Распутина / В. Я. Иванова // Актуальные проблемы монголоведения и тюркологии : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию бурят. отд-ния ИГУ. Иркутск, 2 нояб. 2019 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ»; отв. ред. В. И. Семенова, Э. А. Яманова. — Иркутск : Изд-во ИГУ, 2019. — С. 126—134.

7. Корольков, А. А. Нравственная философия Валентина Распутина. Очерки. Письма / А. А. Корольков. Дневники. — Санкт-Петербург : Росток, 2018. — 272 с.

8. Крупина, Н. Л. О Светлане Распутиной с любовью: живём и помним / Н. Л. Крупина // «...Жить в полную силу». Воспоминания о Светлане Распутиной. Воспоминания, стихи. — Иркутск : Принт-Лайн, 2019. — С. 140—145.

9. Молчанова, Е. И. Моя старшая сестра / Е. И. Молчанова // «...Жить в полную силу». Воспоминания о Светлане Распутиной. Воспоминания, стихи. — Иркутск : Принт-Лайн, 2019. — С. 7—87.

10. Молчанов-Сибирский, И. И. Из писем к В. С. Молчановой // И. И. Молчанов-Сибирский. Мое предместье : стихи, рассказы, очерки, письма / сост. В. С. Молчанова / И. И. Молчанов-Сибирский. — Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1985. — С. 190—205.

11. Николаева, Г. А. По волнам моей памяти / Г. А. Николаева // «...Жить в полную силу». Воспоминания о Светлане Распутиной. Воспоминания, стихи. — Иркутск : Принт-Лайн, 2019. — С. 110—122.

12. Николаева, Е. Е. Всегда рядом, всегда вместе / Е. Е. Николаева // «...Жить в полную силу». Воспоминания о Светлане Распутиной. Воспоминания, стихи. — Иркутск : Принт-Лайн, 2019. — С. 88—98.

13. Пантелеев, А. Памяти Валентина Распутина / А. Пантелеев // Мир Шолохова. — 2017. — № 1(7). — С. 124—129.

14. Распутин, В. Край возле самого неба / В. Распутин // Совет. молодежь. — 1961. — 12 февр. — С. 3.

15. Распутин, В. Край возле самого неба : очерки и рассказы / В. Распутин. — Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1966. — 66 с.

16. Распутин, В. Старая охотница : зарисовка / В. Распутин // Ангара. — 1961. — № 3. — С. 107—109.

17. Распутин, В. Всех понятней тайга / В. Распутин // Совет. молодежь. — 1961. — 11 мая.



ЕКАТЕРИНА ГРОМОВА



«Неведомым наречьем пел мой лес...»

Симург

Там, где горы клинками разрезали алый рассвет,
и бурлящая кровь грела степи остывшее тело,
роковой стаей птиц пролетающая туча ракет
пела... пела.

Как вериги, монисто из фраз на чужом языке
водрузила на детскую шею война — больно, туго...
Упокойся же с миром в горячем, как лава, песке,
дар от Юга.

Что тогда отражал беспокойно-опаловый взгляд?
Милосердны ли когти, что тщетно пытались поранить?
Жаль, остался невзорванным тлеющий старый снаряд —
память... память.

ГРОМОВА Екатерина Петровна родилась 25.05.1993 г. в г. Петрозаводске (Карелия). Окончила Петрозаводский кооперативный техникум. Работает графическим дизайнером. Принимала участие во многих литературных конкурсах и фестивалях: «Мой поэт» (Петрозаводск, 1 место), Всероссийский литературный конкурс «Литкон» (г. Королёв, 2 место), Лауреат Московского межрегионального поэтического конкурса «Россия — земля моя», Лауреат Всероссийского творческого конкурса «Сокская радуга» в номинации «Поэзия», дипломант молодёжного литературного конкурса журнала «Север» — «Северная звезда 2022».

Все могло быть иначе: ни страха, ни воя ракет,
не пришлось бы задабривать Симурга ради спасенья
от того, что преследует будто бы тысячу лет
жуткой тенью.

О летней поездке

Прохладой озера дышало моё лето,
Неведомым наречьем пел мой лес.
Я предпочту всем странам и планетам
Наш дом за городом — он рай для поэтесс!

Там ощущается природы дикой сила —
Я много раз гуляла в сильный шторм.
В молитве Бога я за жизнь благодарила,
И за семью, и за любимый дом.

Но как бывает строгой мать-природа,
Так и бросает гнев за горизонт.
Под вечер успокоилась погода,
Закат волшебный счастье нам несёт!

Плодовые деревья в мягком свете,
Горит огнями дальняя скала.
Мы будем помнить о коротком лете,
Когда природа грела и цвела.

* * *

Мой путь один: в Ничто и в Никогда
Неотвратимо брэнное стремится,
Все повторится — образы и лица,
На поле жизни долгая страда.

В конце пути — горящая звезда
Своим огнём охватит колесницу,
Ту, что летит в астральную темницу,
Где ждёт перерождений череда.

Сансарный плен —
 есть путь, что бесконечен
И закольцован. Пламенем отмечен
Мой каждый шаг в иную ипостась.

В одной из сот земных цивилизаций
Тебя узнаю в толпах инкарнаций
И позову. С тобой не рвётся связь.

* * *

Мне не устать от внутреннего пламени —
я голый нерв, горящий небосвод.
Дурной пример, который был бы правильным
в иной вселенной, что наоборот.

«Послушай птиц, венком украсив волосы,
Как в тигле плавильшь ты остатки дней!» —
пока звучат помехи чьим-то голосом,
я пьедестал себе сваяю из углей.

В сомнениях — чаще трус и сожалеющий
о том, что не подумав произнёс,
а я — огонь янтарно-багровеющий,
из плоти, карих глаз и горьких слёз.

Меняю платье на доспехи высшей твердости,
На месте «mortem» — «vivo». Не спеша
Ищу очаг в огромной чёрной пропасти —
Возможно, там и есть моя душа.

Ещё раз о патриотизме



ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВА

Патриотизм — это наша ответственность

О КРУГЛОМ СТОЛЕ «ПОСОВЕТУЕМСЯ С РАСПУТИНЫМ» — 2023

В Иркутском Доме литераторов им. П.П. Петрова 21 марта в третий раз проведён Круглый стол «Посоветуемся с Распутиным». Первый был посвящён теме семьи в современном мире (2019), второй — здоровью русского языка (2021). Напомним о поставленной изначально цели — осмысление нынешнего дня с опорой на слово выдающегося писателя и мыслителя, который не только поднимал в своих произведениях острые проблемы современности, но и размышлял о путях их решения.

В нынешнем, 2023 году жизнь выдвинула на передний план тему патриотизма — главную в творчестве и деятельности В.Г. Распутина. И потому девизом круглого стола выбрана известная строчка из публицистики писателя: «Патриотизм — не право, а обязанность».

Внимание специалистов из сферы культуры, образования, властных и общественных структур было заострено на следующих вопросах: какое значение приобретает патриотизм на фоне глобализма и крайнего национализма, как быть, если в Конституции РФ, по сути, запрещена государственная идеология, а современная обстановка требует выработки определённого, объединяющего страну социально-политического курса?

Предлагаем вашему вниманию отрывки из выступлений, прозвучавших в верхнем зале Дома литераторов им. П.П. Петрова 21 марта 2023 года. В роли ведущих круглого стола — директор Дома литераторов писатель Юрий Баранов и критик Валентина Семенова.

В преддверии разговора известный иркутский поэт **Василий Козлов** прочитал фрагмент из очерка Валентина Распутина «Из огня да в полымя» («Интеллигенция и патриотизм») — о состоянии общества, когда патриотизм был отеснён в разряд чувств «биологических» и не только «изъят из общественного обихода», но и предан порицанию со стороны либерального крыла российской интеллигенции.

— Но вот настало такое время, — перешёл Василий Козлов к повестке дня, — когда патриотизм вновь оказался востребованным...

В приветственном слове круглому столу *заместитель министра культуры Иркутской области* **Светлана Каплина** обратила внимание на то, что слова писателя Валентина Григорьевича Распутина «Патриотизм — не право, а обязанность» давно стали афоризмом. Валентин Григорьевич Распутин доказывает, что патриотизм — условие спасения государства и народа. Сегодня мнение Распутина нам необходимо как никогда, чтобы разобраться в себе и современных обстоятельствах.

В ноябре 2022 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

— С принятием этого документа наступил новый этап в совершенствовании работы с молодежью, по патриотическому воспитанию, семейным ценностям, межнациональным и межрелигиозным отношениям.

Указ призван стать основой как для пересмотра уже действующих документов стратегического планирования и нормативно-правовой базы, так и новых прорывных решений, в работе учреждений культуры, основой для ответов на современные вызовы.

Сегодня Указ — это своеобразный фильтр принимаемых решений, причем не только в сфере образования и культуры, но и во всех сферах нашей жизни.

Среди главных ожидаемых результатов реализации Указа — сбережение и приумножение народа России, сохранение общероссийской гражданской идентичности и развитие человеческого потенциала. Эти основы должны быть интегрированы в планы мероприятий учреждений культуры и реализованы в творческих, образовательных и просветительских проектах.

Владимир Потапов, *заместитель председателя Высшего совета при Губернаторе Иркутской области:*

— Сегодня важно перечитывать произведения Валентина Распутина, чувствовать их настрой, содержание, язык. Важно знать писателя и как человека, непосредственно соприкасаясь с ним в жизни. Мы проводили вместе много времени, будучи народными депутатами нашей большой страны, сидели рядом в зале съездов. Я видел пыл Валентина Григорьевича, когда всё искажалось, превращалось в ложь, слышал его речь после выступления представителей прибалтийских республик, решивших отъединиться. То был переломный момент в истории. Но тревожные знаки появились ещё раньше, в том числе со стороны Украины.

Владимир Иванович привёл эпизод из своей недавней книги «О патриотизме истинном и ложном» о том, как курировал цветную металлургию в СССР, находясь в составе ЦК КПСС. Когда после посещения Николаевского глинозёмного завода и Запорожского алюминиевого, вместе с товарищем по командировке услышал фразу от главы Украины Щербицкого: необходимо готовить национальные кадры. И это при том, что немало выходцев с Украины и юга России занимали в то время высокие руководящие посты в государстве. По возвращении в Москву о намерениях руководителя республики было доложено вышестоящему руководству, но... тот, кто мог бы поправить члена политбюро Щербицкого, этого не сделал.

В.И. Потапов также сообщил, что недавно при губернаторе И.И. Кобзеве обсуждалось предложение поставить памятник сибирякам, погибшим под Сталинградом. А что касается патриотического воспитания, то у него, как преподавателя политехнического университета, к молодёжи претензий нет — проблема неавки на его занятия отсутствует.

Павел Новиков, *доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и философии ИрННТУ:*

— Брат известного по приватизации Анатолия Чубайса — Игорь, доктор философских наук, предложил заменить курс истории России на «Россиеведение». Инициатива не была реализована, но Болонская система сократила часы на историю в высшей школе вдвое. Не надо забывать слова Степана Осиповича Макарова: «Помни войну».

Сегодня стоит задача подготовить население к не наивному восприятию действительности. В начале 1990-х годов появились неоправданные ожидания на перемены в сторону Запада. Можно упрекать советскую систему за некоторую блокировку действительности, но национальная память сохранилась через художественную литературу, чистоту русского языка, красивый стиль речи. Тиражи писателей-сибиряков Маркова, Седых, Распутина, Петрова, чьё имя носит Дом литераторов, на несколько порядков превосходили тиражи научных работ.

Опыт использования в СССР в партийно-массовой работе «Краткого курса истории ВКП(б)», как приоритета текущей политической конъюнктуры, нельзя признать успешным. Постепенно историческая традиция вернулась к подходам В.О. Ключевского и его учеников, многие оценки событий дореволюционного прошлого в послевоенный период были сглажены. В этой связи союз научной истории и художественной литературы очень важен. Писатели должны распространять правдивую информацию, обращаться к лучшим образцам романистики и поэзии.

Современное российское студенчество не даёт оснований для пессимизма, оно лишено иллюзий, которые питали их ровесники тридцать лет назад. Главное сегодня — освободиться от навязанного нации комплекса неполноценности. Стремление к самостоятельности — вот что нас вооружает...

Марина Кондрашова, *председатель комиссии по культуре Общественной палаты при Иркутской области:*

— Надо понять очень важный момент. Патриотизм — это чувство, и оно должно быть естественным. Навязать его невозможно. Недостаточно проводить мероприятия исключительно военно-патриотического направления. В рамках работы комиссии по культуре, на дискуссиях мы активно обсуждаем этот вопрос, закладывая культуру и историческое наследие, в том числе знание региональной истории, в важные основы патриотизма. Важно приобщать молодое поколение к истории земли, на которой они растут, истории школы, в которую ходят, улицы, района, города. Дать знания о людях, которые жили здесь когда-то, — из всего этого складывается понимание общих ценностей региона и то самое чувство патриотизма. И тогда вопрос, любишь ли ты свою родину, не будет вызывать недоумения. Резкие меры не нужны, это надо прививать.

Далее Марина Александровна затронула тему учебников.

— Учителя в растерянности: каким должен быть учебник или учебное пособие, чтобы ребятам было интересно изучать родной край, и занятия вести не для галочки, а чтобы вызвать искреннее чувство. За прошедшие тридцать лет многие прежние традиционные ценности были утрачены, а новые не всегда сформированы. Поэтому учителям нужны вспомогательные методические материалы на тему патриотизма. Раньше был издательский план области, который обсуждался, и теперь предлагаю составить хотя бы минимальный план издания необходимой литературы в помощь учителю, в том числе для организации уроков «Разговоры о важном».

Максим Хвостиков, *директор Фонда развития русской культуры:*

— Все понимают, что идёт борьба за души наших детей. Чтобы поднять уровень патриотизма, нельзя применить какой-то антибиотик, чтобы подействовал быстро. Тут лучше подходит гомеопатия, последовательное, постепенное движение. Информационный поток колоссален, но на что дети обратят внимание — одному Богу известно. В прошлом году в это время проходил театральный фестиваль

по произведениям Валентина Распутина. Фонд развития русской культуры готовил его вместе со всеми (было триста представителей театрального сообщества) в течение семи дней на двух площадках. Удивило, что и кинохроника, и Молчановка, и Музей Распутина в эти дни одновременно проводили свои мероприятия, но не было единого информационного поля, единой программы, чтобы было видно, где что происходит.

Предлагаю консолидировать усилия. Пример с деятельностью НКО: они генерируют огромное количество мелких событий, на которые как-то добывают деньги через гранты и субсидии. Я им говорю: ребята, вы лучше проведите одно крупное событие, которое станет известно всей области.

Думаю, таким будет первый театральный фестиваль «Байкальский талисман» на базе ТЮЗа. Уже более двадцати театров желают приехать с детскими спектаклями: из Казахстана, Монголии, Якутии, Белоруссии, Татарстана... Мы подключаем национальные центры — каждый день будет посвящён культуре одного народа, например, татарский спектакль, татарская кухня, одежда. Русский день выпадает на Троицу — всё будет русское. Мы будем все вместе — приходите к нам.

Валентина Семенова:

— Мысль хорошая об объединении усилий. Но план должен быть ещё и календарным, надо избегать совпадения по времени наиболее значимых мероприятий. Так, в прошлом году «Сияние России» и конференция по творчеству Распутина шли одновременно, и не все желающие могли попасть туда и сюда.

Максим Хвостишков:

— Есть Ассамблея народов России. Как представитель от Иркутской области скажу: были рассмотрены все мероприятия, выбраны и поддержаны самые важные...

Валентина Семенова:

— Кто оценивает, кто делает этот отбор?..

Светлана Каплина:

— Позвольте заметить, что в 2022 году был создан портал «Культура38», современный ресурс, где можно найти любую информацию о культурной жизни области. Новости, афиша, статьи об интересных и талантливых людях и событиях.

Что касается Дней русской духовности и культуры «Сияние России» — это большой межведомственный творческий, образовательный и просветительский проект, который наполнен масштабными, содержательными мероприятиями. Министерством ведется работа по созданию Оргкомитета под председательством Губернатора Иркутской области, в который войдут Митрополит Иркутский и Ангарский, министерства и ведомства, администрация города Иркутска, муниципальные образования региона. Сейчас формируется план мероприятий, организована работа рабочих групп.

Юрий Баранов:

— Немного добавлю к выступлению Максима Хвостишкова: предлагаю возродить пресс-конференции перед крупными мероприятиями, такими, как «Сияние России», «День русского языка». Раньше была традиция — пресс-конференция участников совместно с министерством культуры шла по каналам ТВ. Надо чтобы было как можно больше информации, это необходимо для духовного сплочения народа, не все пользуются порталами интернета. Будем помнить: Валентин Григорьевич оставил нам такое замечательное наследство — Дни русской духовности и культуры, надо продолжать их достойно.

Ольга Михеева, специалист по народной культуре, продолжила тему «Сияния России».

— Во главе этих Дней стоял Валентин Распутин. От него исходил духовный посыл, патриотическая составляющая. Но сегодняшние обстоятельства требуют от нас новых подходов и больших усилий, чем мы прилагали в последние годы, новых личностей и тем, раскрывающих суть, заложенную в названии наших Дней русской духовности и культуры «Сияние России», и подтверждение этому можно найти в произведениях Валентина Григорьевича. Комплекс неполноценности в плане патриотизма легко навязать человеку, оперирующему цитатами и лозунгами и не являющемуся, по большому счету, носителем собственной культуры. Тут главное — воспитание. Ребёнку с детского сада должно прививать культуру своего народа. А из нашего образования все это исчезло и, в первую очередь, пение, важность которого нельзя переоценить. Нам всем хорошо известно отношение Валентина Григорьевича к народной песне. Ведь песней можно даже спор разрешить. Запели — и тягота отступила...

Ольга Ивановна задела много проблем. Мы не поём в семье, в школе, в вузах и в трудовых коллективах. Отдельные хоровые и фольклорные коллективы не решают проблемы, так как они объединяют ограниченное количество людей и служат лишь подтверждением нашего бессилия и цифрами в отчетах. Исходя из собственного опыта, О. Михеева поделилась воспоминаниями о работе Школы народной культуры в школе № 32 на основе системы приобщения учеников начальной школы к народной культуре, — через духовную составляющую, фольклор и прикладное творчество.

— Когда с детьми начинали играть, учить простым бытовым народным танцам, как они загорались, как это им было надо — как кислород! Они и учиться начинали лучше. Считаю, этот бесценный опыт надо возродить и распространить. В начальной школе должны быть уроки народной культуры, и не на условиях «эксперимента». Нужно готовить педагогов и осваивать имеющийся опыт. А пока что мы можем? Будем продолжать писать резолюции...

Юрий Баранов:

— О резолюциях. В 2021 году после круглого стола мы приняли резолюцию в защиту русского языка, отправили во все заинтересованные организации. Из областного министерства образования за подписью министра пришёл ответ, в котором, в частности, говорилось: английский язык обогащает русский язык, ну а про уроки народной культуры — ни слова. Значит, некуда деваться — мы будем продолжать настаивать на этом... В воспитании патриотизма главную роль играет русский язык. Будет жить язык — будет страна и будет культура.

Далее Юрий Иванович остановился на снижении профессионального уровня многочисленных книжных изданий, в том числе детских: сложилась практика, когда любой пишущий может назначить себя писателем, заказать в типографии книгу, а потом энергично продвигать её через различные культурные структуры. Привёл в пример и неоправданное употребление иноязычной лексики в сообщениях на сайтах библиотек: «Дмитрий Данилов стал хэдлинером фестиваля», «на фестивале было сто спичей», «это было лайфхаком», а также предложил в лекциях о литературе не давать трибуну тем, кто проповедует прозападный образ мыслей. Поскольку идёт борьба мировоззрений и другого выхода нет — патриотизм начинается с того, о каких книгах мы говорим, что читаем и какие песни поём.

Александр Ипполитов, руководитель школы церковных звонарей (Спасский

храм) напомнил собравшимся, что колокольный звон нигде не получил такого распространения, как в России — даже в православных христианских странах. Школа звонарей в Иркутске — одна из старейших в Сибири, существует уже 15 лет, и ей удалось воспитать большую часть звонарей храмов города.

— Испытываю благодарность и администрации Иркутска, и областному министерству культуры за поддержку фестиваля колокольного звона, который прошёл в пятый раз. Мы готовы принять участие и в «Сиянии России», если нас пригласите. Это не только часть церковной традиции, но и часть нашего русского мироощущения.

В заключение А. Ипполитов пригласил всех в филармонию 18 апреля, на вечер колокольного звона «Повсюду Благовест звучит».

Павел Петухов, *заведующий сектором отдела истории ИОКМ им. А.А. Муравьёва-Амурского, редактор сайта движения «Русский Лад»:*

— Здесь уже говорилось о разнице между западным и русским мировоззрением. В России есть левые и правые, верующие и атеисты, но внутри каждой категории существует как западномыслящее, так и русскомыслящее направления, и задача движения «Русский Лад» это русскомыслящее ядро выявить и поддержать. Руководитель иркутского отделения движения, депутат Законодательного собрания Андрей Семёнович Маслов, проводя творческие мероприятия в районах области, имеет возможность узнать тех, кто занимается сохранением народной культуры. Ежегодно проводится Всероссийский фестиваль-конкурс — это уже не областной уровень, где есть большое количество номинаций: музыка, живопись, поэзия, проза, прикладное искусство, публицистика.

Пока ещё никто не заострял внимание на вопросах, как связаны патриотизм и глобализм, патриотизм и национализм. Тут у каждого своё понимание. Кто-то считает, что национализм — это извращённая форма патриотизма, кто-то, напротив, — что это настоящее проявление патриотизма. Вместо теоретической идеологической работы идут споры о терминах, достаточно бесплодные.

В упомянутой сегодня моей книге «Восхождение к русской идее» я попытался дать своё понимание патриотизма и интернационализма, не соглашаясь с искусственным их противопоставлением. Противоречие между ними снимает цивилизационный подход. Когда возникает вопрос, ты русский или не совсем русский, то надо различать этнический и суперэтнический уровень русскости. Уровнем выше этноса — суперэтнос, цивилизация или культурно-исторический тип, как говорил Данилевский. Для здорового человека из любого народа патриотизм начинается с родного языка и малой родины, и этот местный патриотизм в нормальных условиях работает на благо страны в целом. Конечно, этническое самоопределение малых народов и субэтносов могут использовать внешние враждебные силы, но они могут использовать в своих целях и русский национализм прозападного, «этнического» типа.

П. Петухов рассказал о работе краеведческого музея со старшеклассниками Иркутска, где действует школьный интеллектуальный клуб «Россия. Цивилизация». Его задача: рассмотреть особенности России, обращаясь к великим учёным, писателям, например, таким противоположным личностям, как Данилевский и Кропоткин, попытаться понять, в чём их глубинное русское мировоззрение и что их объединяет. На этом материале дать представление о русской идее школьникам, имеющим интерес к таким вопросам.

Валентина Иванова, *кандидат филологических наук, кандидат культуроло-*

гии, член *Союза писателей России*, вначале коснулась Пушкинской речи Достоевского на открытии памятника великому поэту (8 июня 1880 г.), где говорилось о русской душе и русской отзывчивости. Речь настолько глубинная, что снимает многие политические вопросы в современных обсуждениях.

— Хотелось бы сказать, что военный патриотизм — не так уж плохо, — заметила литературовед. — Это наш иммунитет. Мальчики — защитники семьи, родины. И, если мы заглянем в историю, то увидим, что Олимпийские игры, стоящие сегодня на вершине культуры, возникли как обряд. Но обряд, который решал важнейшие стратегические задачи, — готовил защитников Древней Греции. Поэтому снимать военную сторону патриотизма не стоит.

В. Иванова, занимающаяся в основном творчеством В.Г. Распутина, подчеркнула: патриотизм писателя — это, прежде всего, семья и язык как единое целое.

— Патриотизм у Распутина — это всегда материнство. Понятие родовое. Главное в материнстве — забота. А с ним неразлучно и ответное чувство — сыновнее. И, если мы говорим об языке, то вспомним, что он является выразителем духовности народа. И за примерами далеко ходить не надо. Мы несколько раз в день говорим окружающим «спасибо» («Спаси Бог»). Что мы желаем друг другу? Спасения, вечной жизни. Спасение души — вот нравственный стержень русской культуры. Сохранение языка — это тоже патриотизм.

Низкий поклон за то, что услышала слова о колокольном звоне. Ведь колокольный звон — сквозной мотив творчества Распутина, от повести «Последний срок» (1970) до очерка «На Афоне» (2005). Благодарна всем выступающим. Наши разговоры очень важны, поскольку мы одно целое, и на встречах осуществляется коллективное мышление. Для русской души особенно важны такие разговоры. Это тоже результат, как и наши предложения и дела.

Ольга Михеева продолжила:

— Помните, как в 1990-е годы при участии архиепископа Хризостома были организованы духовно-просветительские лекции иркутских учёных и писателей, на которые мог прийти любой желающий, и доктор наук, и простой горожанин. Может, это стоит вернуть?

Валентина Семенова ответила на вопрос, коротко рассказав об истории Общества духовного возрождения, инициатором которого была составитель-редактор газеты «Литературный Иркутск» Валентина Сидоренко, о его расцвете и постепенном закате. Можно ли повторить — надо подумать: слишком много сегодня всевозможных проектов, клубов, площадок для общения, и человеку непросто выбрать, к чему примкнуть. Потом перешла к другой теме.

— Мы говорим о патриотизме и неизбежно упираемся в проблему воспитания, школьного обучения. Поэтому считаю уместным привлечь внимание к судьбе Иркутского государственного педагогического института — так этот вуз с более чем столетней историей назывался в прошлом. Известно, как с печально знаменитой «оптимизации» 1990-х годов от него начали избавляться. Меня одно название за другим, вуз пытался выжить. Тогда же на глазах у всех исчез Институт иностранных языков, тоже педагогический, вместо него теперь — один лингвистический факультет в госуниверситете.

Приговор институту под последней вывеской «Восточно-Сибирская государственная академия образования» был подписан через несколько лет после того, как перешёл под крышу ИГУ. Было решено слить близкие факультеты по предметам: математика, русский язык и литература (филология), физика, химия и т. д.

Подробно рассказывать можно долго. Это решение было приостановлено губернатором И.И. Кобзевым в 2021 году. На этом всё замерло, но зажим продолжается изнутри. Так, бюджетные места для будущих педагогов изымаются госуниверситетом и распределяются по своим факультетам. Никакие письма в инстанции не помогают.

А в это время идёт и идёт, согласно Указу Президента РФ, Год наставника и педагога. Учителей не хватает катастрофически — цифра по Иркутской области на 2021 год — 3000, острая нехватка даже в областном центре. Директора школ обращаются в Педагогический институт (хотя такой вывески уже нет, на его корпусе по улице Сухэ-Батора крупными буквами выведено «Иркутский государственный университет»), с просьбой: дайте нам третьекурсников, в школе некому вести уроки. Выше, в министерство, директорский корпус, видимо, не ходит: все же на контракте!

С любым человеком поговорите: все понимают всё — никто ничего сделать не может. Говорят, многое зависит от губернатора, в других областях именно они отстаивали пединституты. Я предлагаю внести в резолюцию пункт: обратить внимание на положение Педагогического института, вывести его из состава госуниверситета. Всего-то и надо: взять документы из Министерства науки и перенести в Министерство просвещения, и альма-матер педагогов будет спасена.

Василий Козлов:

— Все, наверное, устали, но я хочу, чтобы моя тема вошла в резолюцию. Назову одну книгу, вышедшую недавно — «Народные рассказы о Великой Отечественной войне». Её составила Галина Зиновьева по записям мужа, известного иркутского фольклориста Валерия Зиновьева. Над страницами этой книги я плакал, сколько не плакал в жизни над книгами. Потрясает правда войны, рассказанная женщинами, стариками, детьми. Теми, кто всё отдавал для фронта, для победы. Порой кажется, что тыловая жизнь была тяжелее, чем фронтовая. Там хоть подвозили еду — здесь по весне выкапывали мёрзлую картошку и ею спасались. Журналист (видимо, сам автор Зиновьев) задаёт вопрос: чем вы держались? Ответ: «А вот мы после работы собирались и русские песни пели». И это в условиях, когда работать иногда приходилось и всю ночь.

В. Козлов поделился воспоминаниями о том, как с раннего послевоенного детства впитывал русскую классику через радио, ведь из круглого репродуктора лилась настоящая поэзия, русские народные и советские песни, шли спектакли «Театра у микрофона». Поэт считает, что связал свою жизнь с литературой в первую очередь благодаря радиовещанию.

— В последние годы возникло множество частных FM радиостанций. Идёт спецоперация, а в стране продолжает звучать музыка стран НАТО и им сочувствующих. Русской песни не услышишь. О каком русском духе можно говорить, если эфир переполнен никчёмной попсой? Включаешь юмористический канал, слышишь от какого-то комика: «Пиво, водка, патриотизм». Гремят взрывы, льётся кровь, а тут ёрничанье по поводу патриотизма. Пятая колонна не стесняется русофобских высказываний. Вести речь о цензуре невозможно, «приличная» в кавычках публика сразу завопит: какая цензура! А вот Александр Сергеевич Пушкин, который тоже подвергался цензуре, тем не менее говорил: «Нравственно образованному обществу необходима нравственная цензура». В указе президента «О духовно-нравственном воспитании» не сформулировано определение нравственности, а нравственность содержит в своей основе и ограничения. Именно ограничения зла и греха прописаны во всех религиях.

Мы недооцениваем роль FM радиовещания в разрушении традиционных основ культуры. Но радио работает во всех автомобилях, и доступно миллионам людей, которые, не имея возможности заняться за рулём чем-то другим, постоянно находятся под воздействием пропаганды низкого смысла. Думаю, это надо прекращать.

Предлагаю внести в резолюцию строку: необходим государственный или общественный контроль за FM радиостанциями.

Ольга Соболева, *иркутская журналистка, сотрудница ИОКМ им. Н.Н. Муравьёва-Амурского.*

— Добавлю: этот грязный радиосум надо обозначить как проявление скрытой пропаганды антигосударственной деятельности, для чего нужна политическая воля.

О пединституте. Это боль просто страшная. Всем известно, в центре Иркутска в школах не хватает учителей в старших классах по основным предметам. До министерства образования мы не доберёмся. Но есть полномочия у региональной власти закрепить законодательно, например, такую меру, как обязанность выпускников медучилищ и педучилищ отработать три года по специальности.

О народной культуре. К сожалению, у нас не различают народную культуру как воспитание на уроках и клубную культуру как выступления коллективов. Я бы напомнила, что министерству культуры, начиная с весны прошлого года, вернули право руководить дополнительным образованием в школах искусств. В этих школах учат классической музыке, рисованию, но есть хоть где-то класс или группа, где бы учили национальной культуре? Нет. А этот вопрос можно решить на региональном уровне. Ведь здесь наши будущие кадры для работы в культуре.

Светлана Аксёнова, *языковед, кандидат филологических наук* сосредоточилась на двух мыслях: во-первых, здесь поднимаются вопросы государственной политики. «Сияние России» должно стать делом государственным, тогда будут решаться финансовые и прочие проблемы его проведения. Во-вторых, как много, оказывается, очагов культуры в Иркутске и области. Но все разрозненны, вот и книга Валерия Зиновьева прошла мимо. Идея такая: надо объединяться.

Вот мы говорим о русском языке. Но надо иметь в виду две его сущности: как родной, родовой язык русского этноса и как язык всей многонациональной России. У Валентина Распутина в основе всего лежала первая сущность. Он болел за русский родовой язык, не обижая другие национальные языки, особенно коренных народов России. Но понятие «родной язык» не звучит ни в школе, ни в вузе.

Уже год говорят об изменениях в образовании, но пока практически ничего не происходит. Думаю, в резолюцию надо записать предложение в защиту родного русского языка. Ведь глобализация идёт не только материальная, русский язык вытесняется английским. Валентин Григорьевич не зря обратил внимание на авиабилеты внутри России, с текстом на латинице.

Татьяна Маякова (*кандидат химических наук*):

— Прежде всего, надо сказать: Валентин Григорьевич был православным человеком и исповедовал православные ценности. Надо помнить: мы не просто русский народ, русский — значит православный. Да, в Конституции РФ идеология не прописана. Когда-то она была прописана, и чем это закончилось. Но у нас есть русская идея, а это сохранение православия до конца времён. Сколько осталось до конца — зависит от Господа и от нас...

Главным итогом круглого стола можно считать достигнутое участниками понимание, что, во-первых, патриотизм — одна из основных базовых мировоззренческих ценностей России, во-вторых, нельзя подходить к воспитанию патриотизма формально-лозунгово, особенно теперь, во время военных действий НАТО против России.

Общий вывод: необходима кропотливая патриотическая работа в учебных заведениях всех уровней; отказ от разрушительной прозападной либеральной идеологии, нанёсшей в последние десятилетия очевидный вред самосознанию российского общества.

После перерыва был заслушан проект резолюции, одобренный общим голосованием. Окончательный вариант, во многом созвучный Указу Президента РФ от 9 ноября 2022 г. «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», размещён на сайте Иркутского Дома литераторов irkdl@mail.ru и разослан по указанным инстанциям.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Круглого стола «Посоветуемся с Распутиным — 2023» на тему
«Патриотизм — не право, а обязанность»

Участники заседания признали необходимость выработки государственными структурами и общественными движениями усиленных мер в утверждении и развитии патриотизма.

В выступлениях иркутских историков, представителей областной и городской власти, регионального отделения Союза писателей России были предложены конкретные меры по оздоровлению духовной атмосферы в Приангарье.

В области воспитания подрастающего поколения:

— в общеобразовательной школе, в начальных классах, ввести уроки народной культуры с включением фольклора, русской народной песни, элементов народных ремёсел;

— в средних и старших классах вести воспитательную работу не на основе прямолинейных лозунгов и пропагандистских клише, а с привлечением ярких примеров из истории и художественной литературы, вызывающих сочувствие к трудной судьбе родной страны и в то же время рождающих чувство гордости за тех, кто защищал и защищает Родину на полях сражений, благодарности к труженикам, обустроившим Россию, Сибирь;

— разработать методические рекомендации по этой теме в помощь педагогам и воспитателям;

— создать учебник по истории Иркутской области;

— в нынешний Год наставника и педагога вернуть самостоятельность старейшему Иркутскому государственному педагогическому институту, попавшему в состав госуниверситета из-за непродуманной политики «оптимизации» вузов, — в городе и области катастрофически не хватает учителей;

— рассмотреть деятельность областных библиотек, проверить книжные фонды на предмет содержания деструктивной литературы, обратить внимание на избыток иноязычной лексики в объявлениях, программах и проч. — в соответствии

с Федеральным законом от 28 февр. 2023 г. «О внесении изменений в ФЗ «О государственном языке РФ»»;

— продолжить совершенствование экспертизы качества книгоиздательских и других проектов, поступающих на конкурс субсидий министерства культуры Иркутской области;

— поднять на более высокий уровень проведение Дней русской духовности и культуры «Сияние России», День славянской письменности и культуры, День русского языка (в день рождения А.С. Пушкина), расширить участие православного священства, духовной музыки и пения, колокольного звона;

— консолидировать культурные проекты на близкие темы, не расплывать силы на мелкие события, составлять сводный план мероприятий на год.

В области СМИ:

— выработать пути государственного влияния на программы частных изданий и радиостанций низкого духовно-нравственного уровня;

— насытить газеты «Областная» (Учредитель: Правительство Иркутской области, Законодательное Собрание ИО) и «Иркутск» (Учредитель: Администрация города Иркутска) материалами, направленными «на усиление роли традиционных ценностей в массовом сознании» — в соответствии с вышеназванным Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г.;

— создать механизм контроля за рекламой и вывесками с иноязычной лексикой и шрифтом.

Резолюция принята 21 марта 2023 г.

Адресована:

Губернатору Иркутской области;

Председателю Законодательного собрания Иркутской области;

Мэру города Иркутска;

Председателю Иркутской городской думы

От имени участников Круглого стола «Посоветуемся с Распутиным — 2023» на тему «Патриотизм — не право, а обязанность» — организаторы, члены ИРО Союза писателей России:

Баранов Ю.И.

Козлов В.В.

Семенова В.А.

Живетьев М.



ТАМАРА БУСАРГИНА

Аравийские свитки

Сравнительно недавно я узнала, что Глеб незадолго до своей кончины всех, кого считал друзьями нашей семьи, просил не оставлять меня. Я чувствую поддержку многих, которых Глеб ни о чём и не просил — это мои личные друзья и сослуживцы. Много-много лет коллега по работе в пединституте Татьяна Фёдоровна Кожевникова, «как рекрут на часах», ежевечерне справляется о моём здоровье, помогает мне не только дружеским советом. Тяжко я пережила внезапный уход из жизни добрейшего, интереснейшего и по-младенчески любопытного к жизни человека, профессора кафедры истории искусств, Владислава Витальевича Есипова. Он, историк по образованию, любил живопись, сам писал интересные, с символическим подтекстом натюрморты, возил меня на выставки, а в памятные дни к Глебу, снабжал фруктами, а зимой сухофруктами, в чудодейственную силу которых крепко верил. Не оставляет меня своей заботой фотохудожник Сергей Иванович Переносенко. Он приходит на помощь не только при всяких бытовых нуждах. Его обширная иркутская летопись фото и кинодокументов, в частности, кинолента режиссёра Ирины Эдуардовны Поповой о Глебе Пакулове «Я годы, как с клубка, мотаю», составленная по его инициативе, очень мне пригодилась в работе. Я пишу эти заметки в большой тревоге: после смерти жены Нины его здоровье сильно пошатнулось.

Часто вспоминаю «молчановок»: две замечательные Афанасьевны, Людмила Мирманова и Лидия Казанцева много доброго сделали для меня и памяти Глеба Пакулова. Они уже на пенсии, но их бесценный опыт, думаю, будет востребован новым поколением «молчановцев». Не погрешив ни на йоту против профессионального смысла и регламента библиографических указателей, составители его сотворили нечто для меня удивительное — явили читателю не только писательский, но и человеческий облик Глеба Пакулова.

В последнее время мы виртуально, только по телефону, подружились с талантливой детской писательницей и интересным человеком Светланой Волковой. Вот уже почти пятьдесят лет дружим с Лилией Ладик, большим знатоком русских и иркутских древностей.

Многих друзей-писателей просил мой муж не забывать меня. Иных уж нет...

Но, слава Богу, двое, самых тех, что просьбу Глеба никогда не забывали (да и без просьбы, я уверена, меня бы не оставили своим вниманием), здравствуют, плодотворно работают. Я спешу отдать им должное. Это Валентина Васильевна Сидоренко, с которой у меня сложилось, в основном, телефонное общение, и Владимир Петрович Скиф — без участия его в моей жизни она, вероятнее всего, сложилась бы как-нибудь иначе. А в творческом плане уж точно по-другому. Я о нём, как могла, уже написала, и те, кому это интересно, могли мои заметки почитать в одном из предыдущих номеров «Сибири».

Он вышел из долины Сенаара...

О Валентине Сидоренко, Сидоре, как почему-то её звал Пакулов, я была слышана заочно, в основном, из рассказов Глеба. Он считал Сидоренко очень талантливой, но в силу своих «хохлацких» корней правоту её собственного, единственно возможного взгляда на вещи, Валентина Васильевна будет отстаивать без малейшей оглядки не только на обычные нормы общежительной дипломатии, но и простого приличия. Я, жившая десять лет с украинцами, только со временем поняла, как Глеб был прав, вот уж точно — «як казав, так и будэ», как что-то положила себе за истину, так тому и лежать во веки веков. И пусть хоть мир перевернётся.

Надо ли говорить о том, что её дорожка в искусство не могла быть гладкой.

Общение с Сидоренко всегда непредсказуемо. Иногда и не успеешь сообразить, что именно в твоём разговоре Валентину Васильевну взвинтило. Я научилась не мучиться этим — оставляю ей право на любовь к «своей» России, к её многотысячелетнему историческому прошлому, о котором не ведают большинство наших профессоров, к довольно агрессивному, на мой взгляд, способу исповедания православной веры, да и многое чего ещё. Я с удивлением узнала (не только я, но и многие её собеседники, друзья-приятели), что всякий не по её вкусу взгляд на вещи пахнет еврейством, масонством и ещё бог знает чем. Она повергает меня, неофита, в ужас начитанностью по этим темам, а на осторожное замечание о том, что книжный багаж, не уложенный хоть в какую-нибудь систему, — просто сведения...

Что ж — университетов не кончали, чем и гордимся.

Пишу об этом без всякого «сердца», Валентине Васильевне всё прощается: подумаешь, бессонная ночь... Зато — она талантлива, ответственно относится к памяти ушедших писателей, друзей, очень помогла мне, растерявшейся от пережитого, соблности требы, положенные православному человеку до погребения — хоронили Глеба Пакулова старообрядцы. Наконец, она единственная, кто поминает ушедших писателей в церкви, подаёт записки о здравии живых, в том числе и моём. Это многого стоит.

Помянник её всё длиннее, записки «во здравие» всё короче...

Валентина Сидоренко всегда писала прозу и стихи. «Года к суровой прозе клонят, года шалунью рифму гонят» — это не про неё. И прозу, и стихи охотно печатают, ничего не напечатанного у неё нет. И не могло быть иначе — уже ранние рассказы двадцатилетней девушки удивили зрелостью, умением разглядеть и отобразить в людях индивидуальность и вместе с тем какую-то чисто русскую предопределённость судьбы, особенно женской. Язык рассказов обратил на себя внимание Валентина Распутина, отныне он самый внимательный её читатель, главный ходатай за принятие её в Союз писателей СССР.

Всё, вроде бы, складывалось удачно с самого начала её литературной работы. Но вот что я слышала на днях от неё и передаю, не потеряв ни слова: «Знаешь, Тамара, я на писательском горизонте Иркутска, Сибири и России числюсь «как беззаконная комета в кругу расчисленном светил». Точно так же, как и Глеб Пакулов». И ведь она права, и уж точно — дело вовсе не в её сложном характере. Дело в том, что можно, но нет смысла (именно нет смысла) писать о ней, а тем более о её стихах с привычных позиций. А других мы не знаем. Мы не знаем толком традиции русских духовных стихов, которую она продолжает, традицию святоотеческой литературы, с которой Валентина Сидоренко близко познакомилась, буду-

чи редактором газеты «Литературный Иркутск». Для многих тогда, и не только в Иркутске, открылись, казалось бы, навеки погребённые пласты русского духа и русской словесности, а для самой Сидоренко воззрения, сложившиеся в результате знакомства с трудами отцов церкви, стали стержнем её мировоззрения, основой её писательской и человеческой позиции.

Есть очень странное место в Иркутске — «болото». Там родилась и выросла Валентина Сидоренко, об этом никогда не забывала. В письме к другу детства она просит:

*Прощай, мой милый,
Помни про болота,
Про вотчину,
Любимую, как мать!*

С «болота» вышли многие пишущие сибиряки — Валерий Хайрюзов, Любовь Сухаревская, Александр Сокольников, Нина Кашина, Михаил Шепель. Эта окраинная часть Иркутска являет собой срез довоенной и послевоенной жизни страны: на Раскулачихе жили семьи раскулаченных ещё до войны крестьян Алтая (откуда и родители Сидоренко), по обе стороны болота поселили сосланных в войну крымских татар, на Ермаковке жили амнистированные, но не рискнувшие показаться на глаза земляков бандеровцы, в самой элитной части «болота» селилась местная аристократия — те, кто работал на мясокомбинате. Валентина была послевоенным, шестым ребёнком в семье, а кормилец был один — солдат ВОВ, разведчик, ничего кроме ранений и орденов с войны Сидоренко Василий не принёс. Принёс Победу.

Я часто думаю — не из детства ли дух поперечности, противостояния? Сама писательница признавалась, что в школе она любила подраться со сверстниками, которых считала идеологически несовместимыми с ней. Как бы то ни было, а впечатления послевоенной жизни на «болоте» многое определили и в жизни, и в творчестве. Всё оттуда — сам дух её крепкой корневой прозы, чувство языка, живое чувство природы, сюжеты с путаными, часто нелепыми судьбами мужчин, спасительная красота русской женщины, чья жизнь во имя семьи-рода естественна — так отродясь жили их матери и бабушки.

О ранних рассказах Сидоренко в своё время писали, а вот о повестях, которые она считает самыми важными в её творчестве, пишут неохотно (спасибо Эдуарду Анашкину — своих не забывает!) Может быть, критикам они видятся словно бы в тени, в кронах раскидистого распутинского лиственя? Не без того. Но, на мой взгляд, есть и кое-что другое: в повестях зрелого, «классического» писателя Сидоренко наметился некий «пунктик», пятый по счёту, который отбивает охоту не только у осторожных критиков, но и собратьев по перу писать о «Шестидесятниках», о «Крахе» и о др. А чего ж бояться? Москва же не испугалась: издательство «Вече» в рубрике «Сибиряда» напечатало и другие её повести, где при желании можно отыскать повод поосторожничать. Но (я в том уверена) где-то в России уже созревают критики, заинтересованные исследователи «провинциальной», сибирской, глубинно русской литературы, к которой относится и творчество Валентины Сидоренко. Проще простого отринуть литературу с «неподобающим» взглядом на вещи, труднее понять предпосылки именно такого его развития. У литературоведов с профессиональным подходом к творчеству обязательно найдётся место Валентине Сидоренко.

Я с опаской листаю увесистую «Русь земную», понимаю — колоссальный труд, да и сами стихи завораживают, заманивают и... вызывают какое-то нетерпение. Это может быть потому, что я эмоционально не готова к таким качелям — не успела еще расслабиться, прочувствовать в стихах музыку не то молитвы, не то плача, как тут же вклинивается нечто тебе знакомое. Всё — Сидоренко уже не до изящной словесности. Не до гармонии, не до поэтических затей и нюансов. Прямое изложение своей позиции, без всяких околичностей и возможностей моих вольных читательских прочтений. Стало как-то скучно, я оставила всю «Русь земную» на потом — остановилась на «Аравийских свитках». Уже при первом прочтении они увлекли меня необычностью темы и художественного строя, смелостью проникновения, да ещё и в стихах, в те пласты истории, куда, как в бездну, и заглядывать-то страшно. «Тише, тише совлекайте с древних идиолов одежды» — советовал в своё время Бальмонт. Сидоренко страха не знает, сомнений в истинности своих суждений о славянорусах у неё нет, а мне-то чего бояться? Я решила эту поэму, сказание (не знаю, как и определить) читать со вниманием, хотя сразу поняла, что пресловутый пятый пункт, возможно, еще явится. Я не ошиблась, он явился, и не просто так, а почти лейтмотивом поэмы, но, несмотря ни на что, при третьем прочтении у меня возникает мысль печатно поделиться своими соображениями, предсказуемыми сомнениями, удивлениями, возражениями, словом, вызвать интерес к «Свиткам», какой они, безусловно, заслужили.

(О еврействе в русской культуре и русской судьбе писали многие. Думать об этом никто не запретит, особенно теперь, когда известные «медиавластители наших дум» бросились спасать не страну, а свои, накопленные на промывании наших мозгов, закордонные капиталы. Недавно почему-то вспомнила бывшего методиста факультета общественных профессий пединститута, которым я тогда руководила, Лилию Леонидовну Римскую. Она, уже жительница Израиля, приезжала в Иркутск, иногда жила подолгу, часто приходила к нам на кафедру. Однажды я не без ехидства её спросила:

— Не скучаете по своей исторической родине?

На что получила ответ тоже не без издёвки:

— Заскучаю — включу телевизор.

Оно и правда — не слишком ли много Галкиных, всесуточных и всепогодных Ургантов в нашем медийном пространстве? Не слишком ли много в культуре людей, сохраняя свою национально-культурную идентичность (да на здоровье!), используют публичные возможности, чтобы по поводу и без повода хаять веками сложившийся культурный код русского народа? Долго бы просидел на государственном французском ТВ какой-нибудь Познер, публично заявивший, что он не любит Францию и считает своей родиной Россию?

Я никогда не приму рассуждение «о русской правде в русской крови», я всегда останусь в уверенности, что Господь создавал ЧЕЛОВЕКА, не имея вовсе в виду нации. Нации — это неизбежно, но божье ли это дело? Думаю, это дело человечье, но не только... Я иногда думаю о Вавилонской башне. Обычное толкование этого ветхозаветного сюжета таково: людей, вздумавших построить башню до неба, Господь решил наказать за гордыню, лишил единого языка, тем самым расстроил их слаженную работу. Господь во всём, конечно, прав, но... тут, как водится, вмешался рогатый. А потому (Господи, прости!) задумал-то Он как лучше, а получилось как всегда. Любовь и доверие к человеку Бога, создавшего его по собственному образу и подобию, т.е. тоже ТВОРЦОМ, богом земным после

Бога Вседержителя, всегда вызывали зависть врага рода человеческого. По божьему замыслу нация — коллективный творец, обогативший общую мировую культурную копилку уникальным опытом своего развития. По сатанинскому же замыслу, разделение человечества непременно должно провоцировать гордыню национального превосходства, соперничество, зависть, стремление утвердиться в войнах. Судьбы у народов всякие, наша русская судьба уж точно не из лёгких, и нашу общую судьбу разделяли около шести миллионов евреев. Именно столько их было в России до ВОВ. Стало быть, им было комфортно, они смогли реализовать свой гений (у всякого народа он свой). Кто не знает наших прославленных учёных, композиторов, музыкантов, предпринимателей еврейской национальности? Про поэтов и не говорю — просмотрите поэзию XX века. Да, мы разные и дополняем друг друга. Пока нас, русских, «жареный не клонул» (это не приведи Бог!), думы-грёзы о жизни будут нам милее самой жизни — эта, бессмысленная на трезвый взгляд, химера входит в наше понятие «хорошо жить». Пока мы рассуждаем о своей судьбе в пространствах вечности и бесконечности, евреи (кто ещё не окончательно обрусел) занимаются делом. Они это умеют. Нам бы поучиться. В «русских бедах» мы виноваты сами.

Это мои собственные, не относящиеся к делу размышления, а потому я взяла их в скобки).

Воззрения Валентины Сидоренко выражены ясно и в прозе и стихах. И я могу с полной уверенностью сказать, что они с молодых лет мало изменились. Недавно я перечла «Народную монархию» И. Солоневича (мы все в молодости с упоением, как нечто неслыханное, читали литературу подобного рода) и обнаружила, что при всей очевидности «особого пути России», повзрослев, многие из нас от наваждения и полемических перекосов авторов этой теории освободились. Валентина Сидоренко не освободилась, реалии жизни, наша история, творившаяся на глазах, не внесла никакие коррективы в её взгляды. Конечно, это не единственный идеолог, повлиявший на мировоззрение писателя. Ей известны взгляды М. Ломоносова на русскую историю и его борьба с немцами по поводу всяких норманнских баек, Сидоренко читала А. Черткова, Е. Классена, Ф. Буслаева, А. Афанасьева и, конечно, всемирно известного Б. Рыбакова. Читала, конечно, Анатолия Фоменко и Юрия Петухова. А. Фоменко мог отпугнуть автора полной безоглядностью на всяческие авторитеты: он осмелился поселить праславян аж в Латинскую Америку, с серьёзным видом уверял публику, что, по учёному мнению неведомых нам историков, Рождество Христово приходится на 1125 год и т. д. Больше доверие вызывал Юрий Петухов, он, на мой взгляд, напрямую повлиял на замысел и дух «Аравийских свитков». Именно поэтому я сочла необходимым кратко рассказать читателю, пока ещё кое-что помню, об основных положениях теории Юрия Петухова, безусловно, самого серьёзного из альтернативных историков дохристианской Руси. Думаю, что знание его теории поможет хоть как-то прояснить загадки «Аравийских свитков». (Конечно, сейчас есть повод осознать, что не всегда подобные альтернативные теории служат лишь занимательному чтению. Вот и наши украинцы, «блудные сыны Руси», начитавшись вкривь и вкось подобной литературы, решили, что это они и есть те самые «славянорусы», а сегодняшние русские просто «татары-москалы». Эти воззрения стали некоей компенсацией комплекса неполноценности народа, в силу исторических обстоятельств долго бывшего «украиной» Речи Посполитой. Фанаберия «русского» первородства, соединившись с недобитым бандеро-нацизмом, вылилась в немис-

лимую болезненную гордыню, ненависть ко всему, что являет собой «Русский мир». Будем надеяться на лучшее — не все малороссы готовы вновь прозябать на задворках Европы).

Дерзновенный замысел Ю. Петухова — разгадать, откуда «есть пошла русская земля», кто мы, русские, и куда идём, вылился в многотомные, потрясающие по своей фактологической, научной базе труды. Я советую поближе познакомиться с его работой «Происхождение древних русов», особенно тем, кто убеждён, что провидческие, завораживающие откровения и догадки, всякие предчувствия и прочие «мистические» методы познания для истории актуальны всегда.

Если кратко, то, по Юрию Петухову, дело было так: индоевропейцы, в том числе и праславяне, имели не одну прародину. Об этом говорят историческая лингвистика, археология, мифы, легенды, поверья Месопотамии, Индии, Палестины, где Ю. Петухов провёл много лет. Кочевья индоевропейцев были вынуждены: постепенное опустынивание земель как следствие развития скотоводства, что всегда сопряжено с уничтожением плодородного слоя земли, ссоры с соседями за место под солнцем — да мало ли что ещё заставляло древние народы срывать с насиженных мест. Судя по народным сказкам, для каждого народа были припасены Господом Богом земли с молочными реками и кисельными берегами, да кто знал их адрес? Кочевали спонтанно, как получится, без плана: «обетованная земля» — поздние выдумки. (Здесь взгляды В. Сидоренко с научными доводами Ю. Петухова, как увидим, не совпадают.)

Расхождение этносов началось с четвёртого тысячелетия до н.э., постепенно появлялись более или менее обособленные образования, ставшие позже немцами, французами, осетинами, латышами, цыганами, славянами-русами и пр. И каждый хранил СВОЮ память о великой прародине: ведь в скитаниях народы изменялись, сталкивались с соседями, ассимилировались, отдалялись друг от друга. Никто из них не смог донести во всей чистоте и полноте свой первозданный язык (что к русам, как утверждает наш автор, не относится).

Способность культурно-этнического сообщества к отбору и усвоению нового, годящегося для развития, способствовала выживанию индоевропейцев, в том числе и ариев-русов, праславян. (Эти термины у Ю. Петухова равнозначны.)

Мифологический космос индоевропейцев, праславян сложился много-много, возможно, десять тысяч лет назад, и остался в корне неизменным до сего дня. Время, новые обстоятельства в кочевьях народов, расцветило, разнообразило общие для всех событийные схемы, приспособило сказания, легенды к новым обстоятельствам их жизни, переименовывало или наделяло старых богов новыми функциями. Поэтому, я от себя добавлю, кочующие от народа к народу сюжеты сказок не должны рассматриваться как факт заимствования, а как свидетельство происхождения от одного корня.

Изучая фольклор, легенды и сказания, дошедшие к нам из первых печатных источников, изучая Ветхий Завет, Ю. Петухов пришёл к выводу, что книги Ветхого Завета есть не что иное, как перетолкование мифов и сказаний славяно-русов аравийскими пустынноиками, евреями, вторгшимися в земли Палестины за два тысячелетия до Р.Х. В те времена Палестина, Иудея были славянскими. Вот почему в Библии есть предчувствие Мессии: о пришествии Христа праславяне знали за 10 тысяч лет до события. Они ждали Христа, и Он явился.

Чтобы никто не догадался о первоисточнике, авторстве ветхозаветных сюжетов, иудеи сожгли хранилище древних свитков, Александрийскую библиотеку.

Валентину Сидоренко в «Аравийских свитках» больше всего заинтересовал месопотамский период славянорусов, он лучше изучен, есть много свидетельств о том, что именно здесь, на пороге третьего тысячелетия до нашей эры, русы и стали определяться как нечто отдельное от других индоевропейцев. Поэт обошёл вниманием минойских русов, русов солнечной реки Ра, Египта, и, что удивительно, историю индуров. История последних, как никакая другая, определила навсегда нашу связь с Индией как нечто мистическое, непонятное для других народов (особенно англосаксов). А чему бы удивляться — у нас с индусами не просто что-то родственное, а попросту наше — на каком языке написаны «Веды»? Разве ни о чём не говорят рассказы новгородского купца Афанасия Никитина — ведь ему в общении с индусами XVII века переводчик не потребовался?

С воззрениями Ю. Петухова спорить трудно, ведь он не один десяток лет изучал лингвистику, археологию, труды ученых, фольклор на землях тех стран и народов, что всеми научными школами мира считаются колыбелью культурного человечества. Из всех открытий и откровений Ю. Петухова и учёных, условно говоря, «петуховской» школы, больше всего пригодились В.Сидоренко утверждения о том, что русское православие прекрасно легло на русское язычество и является его естественным продолжением.

И ещё один вывод можно сделать, исходя из трудов этой школы (вывод, полагаю, особенно должен нравиться историческим романтикам, и не только русским). А вывод заключается в следующем: культура — часть ноосферы, и, как духовная энергия, неуничтожима. Всегда найдутся провидцы, могущие, вопреки «очевидному», увидеть и описать то, что до времени будет слыть за чистую выдумку безумцев, поэтов и сказочников.

В этом ряду и «Аравийские свитки». Стихотворное сказание В. Сидоренко о славянорусах смотрится наособицу. Вот уж точно — «так никто не пишет»...

Как всякий художественный текст, мы, читатели, вольны его свободно интерпретировать, вольны принимать авторскую позицию или не принимать. Но, слава Богу, у В. Сидоренко и до написания «Свитков» были стихи, где о своей позиции забываешь — поэзия отбивает охоту препарировать стихотворение. И это лучшие стихи.

*Ирию, Ирию — рай наш славянский,
Насмерть распахнута к Богу душа!
Вздохом молитвенным, песней и пляскою,
Жаром и жатвой живём не спеша.*

*Ирию-раю, наш путь неукорен,
Прямо проложен — с него не сойти!
Ирию-раю, мы встретимся вскоре,
Ты же с небес в наших битвах и горе,
Ирию-раю, свети нам, свети!*

А вот из «Осенней тетради»:

*О, эта странная тоска
И тяга горестная к ритму...
Как бьётся птицей у виска
Новорождённая строка,
Отточенная острой рифмой.*

*Что будет с ней? Воздаст она
Плоды духовные сторицей
Иль тернием угнетена,
Не долетевши до землицы,
И одинока и одна
Бесплодной высохнет вдовицей?!*

*Бесстыдных глаз не подымая
И не жалея ни о чём,
Что я могу?! Я только знаю,
Зачем он плачет и стонет,
Мой правый ангел за плечом.*

Сознаюсь — перечитывая сейчас эти стихи, я нашла в них некоторую самонадеянность (строка ещё «бьётся птицей у виска», а автор уже уверен, что она явится «отточенная острой рифмой»). Всё равно, строки меня волнуют. В них мысль явлена не в лоб, а, как и должно в поэзии, в образе. По-пушкински: во звуках сладких и молитвах.

А неточности? Так, может быть, это только на мой взгляд.

Ни стихов, ни прозы Сидоренко не правит — это её принципиальная позиция. Как спелось, так и спелось. Главное — ответить творческим волнением на собственное вопрошание — «А зачем нужна строка, где нет Родины и Бога»? Есть они и там, где непосредственно и не обозначены.

*С прощальной тоской обернусь я назад
На медленно меркнувший белый закат,
На белый закат над водою.
Багряной лампадой рябины горят,
Последний свой танец вершит листопад
Под первую белой звездой...*

*Протяжною песней исполнив полёт,
Кричат журавли над студёной землёй,
Вонзаясь в глубокую просинь.
Своей нищетою нагой искусив,
Изгнанницей рыжей прошла по Руси
Моя распоследняя осень.*

С такими неспешными, раздумчивыми с самой собой беседами на закате дня, невзначай приходят и стихи про «медленно меркнувший белый закат, /в который усталые птицы летят». С такими стихами на публику не выйдешь. Их надо читать в одиночестве и неспешно.

Каюсь, в стихе ещё два куплета, но для меня они закончились.

Среди стихов В.Сидоренко о любви, одиночестве и тревогах старости найдутся такие, что достойны отдельного издания. Но о них даже не писали. Честно скажу — не знаю, почему?

А вот почему не вымолвили ни слова о невиданных для иркутской поэзии «Аравийских свитках», вышедших в 2015 году в прекрасно изданном сборнике «Русь земная», я точно знаю. Они выделяются по всему — по замыслу, форме и теме, по страстной убеждённости в правде того, что ею скорее прочувствова-

но, чем доподлинно известно. Высказать своё мнение об «Аравийских свитках» мешает полное незнание славянского язычества, истории дохристианской Руси. Читаем у поэта о вековечной тоске древних русов по своей прародине:

*Но Ория и Яруна, и Буса
Забить не в силах русский человек.*

А как забудешь — да мы и знать их не знаем. Про Ория и Яруна я и не говорю, так ведь и про Буса, вполне реальное историческое лицо, ничего не ведаем. По учительской своей привычке кое-что о нём расскажу.

Бус Белояр — царь Русколани, освободитель Крыма от готов, создатель современного календаря, отец Бояна, прозванного вещим, правил сорок лет землёй аланов-русов. Она начиналась у подножия Эльбруса и занимала чуть ли не всю нынешнюю Евразию. О его рождении в Киеве крымском (днепровского ещё и в помине не было) возвестила звезда Чигирь (комета Галлея), потому мы и знаем дату рождения Буса — 20 апреля 295 года. Знаем и дату его смерти — он был распят на кресте готами-галичанами в 368 году. Тогда же был убит в Иверии его соратник и единомышленник римский легионер Георгий, прозванный Победоносцем.

Крым — родина христианского православия, за идеалы которого и погиб Бус. Его расхождение с римской церковью заключалось в способах утверждения христианства. Бус шёл путём Прави, т.е. не путём меча и вражды, а путём мира, добра и любви.

Как видим, очень много совпадений в судьбе Буса и Христа — не мудрено, что по законам мифологического творчества всё переплелось, и до времени принятия христианства на Руси в сознании русичей Христос ассоциировался с Бусом. Доподлинно известно, что в четвёртом веке ни одно из представленных на Священный Собор евангелий (их было сорок) не содержало сведений о казни Христа на кресте. Ставрос (столп) или дерево — но не крест.

Крымчане, да все мы, должны понимать, почему Христос послал к нам самых верных учеников своих — Андрея, Филиппа, своего родного брата Симона Зилота, а будущим католикам Петра, трижды его предавшего, да бывшего своего гонителя Павла.

О Бусе сведений много. В славянских землях его знают. В Польше ему поставлен большой памятник. Статуя Буса (4 век, надписи рунами) хранится в музее Кремля.

Вот, лекцию пришлось прочитать, может, довольно и нагрешить при этом. Да что делать?

В своё время великий Клюев пытался найти «зарочный перстень Руси», будут и ещё попытки его отыскать, но работа В. Сидоренко, не приближая разгадку вопроса, должна была бы заинтересовать литераторов и критиков. Отпугивает незнание темы? А, честно скажем, читая клюевскую «Погорельщину», «Песнеслов» или «Песнь о великой матери» все ли заглянули в историю, да и где та история? Возможно, Н. Клюев, как создатель, автор стихов знал о предмете всё, а критику что до того, была ли в действительности такая Русь, или она существует лишь в воображении автора, в его фантазии. Нас привлекает колорит, густая образность, неожиданные культурные и всякие прочие ассоциации, ты вживаешься в клюевское Слово, ощущаешь с ним, почти позабытым, кровную связь. Критика должна интересоваться поэзия, художественные способы, к которым прибегает автор, раскрывая тему. В распевном, по преимуществу, звучании стихов «Аравийских свитков» много всяких оттенков — они могут звучать торжественно, как хорал,

(см. «Пролог») и как-то буднично, деловито, как в рассказе чародеи о том, как она всходила на Твердь. А что до фантазии... Да как же в творчестве без неё? Я уверена: все поняли — старуха Дарья из «Матёры», как и многие другие распутинские старухи, сочинённый образ, а он живет всех живых. Таково искусство мастера. Конечно, дыма без огня не бывает. Распутин знал от стариков, от своей бабушки, что на Руси в былые времена, прежде чем разбирать ветхую церковь (рушить не полагалось) её убирали, мыли, украшали цветами, служили молебн. Старуха Дарья, прощаясь с родительским домом, делает то же самое — прибирает его, как малую церковь.

В. Сидоренко тоже не полностью выдумала свою многотысячелетнюю дохристианскую Русь. Она, как и все мы, читала не только серьёзные работы — в перестройку были в ходу и другие. Их сочиняли по преимуществу математики, они, не обременённые фактами, могли дать волю своей фантазии. Сказки любят все — очень скоро маркетологи поработали на славу! Альтернативная история стала успешным коммерческим проектом. Но здесь другой случай — чтение без разбору со временем помогло Валентине Сидоренко обрести тот уровень духовной подъёмности, когда можно уверовать — она готова прочитанное и прочувствованное преобразовать в поэзию: «писанья прикровенных, // прародины таинственные склоны // провидит дух высокий...». У поэзии своя правда.

Тем, кто еще только собирается читать «Аравийские свитки», я советую приготовить себя к встрече с неизвестным. Хотя — почему с неизвестным? Язычество у нас в крови, я его, допустим, ощущаю затылком, и, мало того, каюсь: всё, что есть самого чувственного, поэтического в наших обрядах и праздниках, принадлежит славянскому язычеству. Эта связь навечно.

Кто хоть раз побывал в пустыне, испытал, верно, это странное чувство полной отрешённости от сует: ни времени, ни пространства, ты находишься в какой-то прострации «бытие-инобытие-небытие». Тогда только и может явиться маленький принц с вечными, такими простыми, а потому и неразрешимыми вопросами. Образ пустыни Гоби, так совпадающий с моим впечатлением от пустыни египетской, я нашла у В. Скифа.

*Пожухлых трав седое бденье,
Поблекшая степная шаль.
Застыло жёлтое сомненье
И фиолетовая даль.*

*Былинок тихое движенье
Суглинок,
Марево,
Песок.
Души и космоса сближенье
И жизни тонкий волосок.*

Валентина Сидоренко, насколько мне известно, в пустыне не была, но явила нам её во всём естестве в «Аравийских свитках» — с калёным солнцем, барханами, караванами, козьими шкурами, колючками, с бедуином и «любимцем Аллаха», верблюдом, у бока которого пустынножитель коротает ночь, с манящими путников шатрами блудниц. Ничего удивительного: всякому русскому, а особенно воцерковлённому, пустыня мистически близка.

*На паперть выйду.
У святого храма
Погостного,
Там, где нашла приют
Моя душа
От жизненного срама,
О Палестине
Со слезой поют,
Тоскуя о
Неведомой пустыне.*

У пустыни много тайн, и одной из них, тайной жизни древних русов, владеет бедуин, что веками ходит по пересохшим жилам умерших рек и озёр. Он знает, что

*«Там, в пучинах песков
похоронены сотни селений,
города и культуры
и белые нации спят...*

Провидит бедуин и будущее:

*О пустыня моя!
ты удавом поглотитишь народы,
Жёлтым саваном скроешь
деяния гордых умов.
Нет преграды тебе!
ни науки, ни войны, ни воды
Не расцепят твоих
раскалённых и смертных оков!*

Не только старый бедуин, но и арабийская чародея знала о содержании этих свитков, ведь нет ничего тайного, что со временем не стало бы явным. Память о таинственном и победном пути древних русов всегда жива, живы рассказы об их Твердыне и богах, о помыслах и коварстве врагов, о странствиях древних русов в поисках своей земли под солнцем.

Как же смертным открываются тайны жизни народов, если утеряны явные, в том числе и письменные свидетельства об этом? Это знают поэты.

*Я до рассвета
долгими ночами
Читаю,
словно древний звездочёт,
Те свитки,
что, сворачиваясь сами
Перед моими зоркими очами,
мне сами развернутся
В свой черёд.*

Свитки были написаны задолго до рождения Христа, но проискамы известных врагов еще в древние времена, а потом и их остатки были уничтожены. Приложили к этому руку и немцы петровских времён. О том, что содержали эти таин-

ственные свитки древних русов, понаписано много всякого. Обычно от историка требуют доказательств, а от коллективного историка, народа, и от поэта того не требуется. У них своя задача, может быть и самая важная — выявить подсознание истории. Русский славянин всегда помнил «как льды Арктики и воды Междуречья/ по-русски плачут о своём Творце». Т.е. — переводим всё на прозаический язык — свитки прозревали появление богочеловека — Христа. Вот в это я точно верю.

«Аравийские свитки», входящие в стихотворный цикл «Славянская книга», возникли у Сидоренко, как когда-то песни у вещего Бояна. А он, как известно, когда «хотел песнь творить» становился частью всех природных стихий мира — (мысью (белкой), сизым орлом, серым волком). В зачине «Славянской книги» читаем:

*Все стихи миров мне заложены в кровь,
Все цвета травостоев и светы соцветий.
Из алмазных созвездий небесный Покров
Тайну русского рода хранит во столетях,*

*Из которого вышла в намеченный час,
Чтоб живые созвучья в гармонии Божьей
Не затихли вовек, чтоб их след не угас,
А светили строкой в временах бездорожья.*

Но не только «небесный Покров» хранит «тайну русского рода», были у поэта и другие источники — «пыльный фолиант издревле русской мысли». Какие именно «пыльные фолианты» имела в виду В.Сидоренко, мне, да и многим нашим профессорам, вряд ли известно, но и не будем этим интересоваться. Главное —

*Тайнопись славянских красноталов
Жгла душу мне
Кроваво, изнутри...*

Чем же ей, «вкусившей яблочком» эти свитки, они «развернулись»? Что же открылось поэту? Второй вопрос не главный. Главный первый. Ответ касается нас, читателей. «Развернулась» поэзия необычайная, непривычная, тоже какая-то тайнопись. Соблазн прозреть книгу жизни, тайну русских «изначалий» определяет автора как славянского романтика, пытающегося докопаться до истины сполна, и не как-нибудь, а на грани трёх миров — Яви, Нави и Прави. И пусть всё изображённое поэтом не всегда согласовано «со глубиной правящих небес», да вероятнее всего и не может быть согласовано (тайна сия велика есть!), Валентина Сидоренко предлагает в «Аравийских свитках» своё видение. Анализ художественных средств, использованных ею при написании поэмы, надеюсь, рано или поздно заинтересует наших литературных критиков. Нам бы со смыслом разобраться, что трудно (я повторяюсь) в силу полного незнания славянского язычества.

Итак — первый свиток «Песня старого бедуина». Он, владеющий «тайнством славянских изначалий», современный мусульманин, но и его, как и любого пустынножителя, ждёт «одинокий, как жребий, конец». Люди, наслаждаясь благами цивилизации, с её науками, самолётами и машинами, «не видят того, что видят глаза бедуина», не видят, что пустыня «желтым саваном скроет деяния гордых умов». Но, как уверен старый бедуин, погибнут не все, как «познавшие дар терпенья и веры... останемся я и верблюды... И вечная песня о том».

А песня эта (свиток Б «Шатёр») о том, как по белому зною пустыни затравлено, веками мчит шакалёнок с надеждой напиться воды. Он знает, что есть глубокий колодец у шатра тёмной, как аспид, как пески горячей аравийской блудницы. Она «дочь пастухов аравийских, козлов и шакалов нечистая дочь». Мимо её шатра текут караваны Шумер, «яслей русов», царства городов, храмов, ремёсел. Богатые купцы торгуют золотом, пурпуром, кожей. Низкие своды шатра многих путников привлекают, заглянул в него самый юный купец, и вот... «мой козлёнок в сети». Дорого ему дался сладкий приют аравийской блудницы — «душу иноплеменца пески второпях отпоют». По закону, который начертал Денница, от этой преступной связи будут рождаться дочери-блудницы и сыновья-моты. Это и погубит не только Шумер, но и другие города русов — Вавилон, Ашшур, ведь блудница родом из древнесемитского племени Марту, племени смерти. Так и ушли «чередой-вереницей/ русы в вечное царство по имени Смерть».

Не пришлось шакалёнку напиться воды у шатра блудницы, гнали его от других колодцев. Не суждено ему стать шакалом.

Шакалёнок, на мой взгляд, зримый, яркий образ — это образ целого народа, оставшегося во младенчестве, некий символ не достигшего своего расцвета царства древних русов — «всё бежит и бежит он, всё бежит и бежит...»

Свиток В. «Ибрим». Очень важная часть свитков, где говорится о сговоре врага рода человеческого с Ибримом. Денница приравнял Ибрима себе, обещая, что в свой час они, отмщёнными, будут стоять перед Распятьем рядом.

*...Народы согнут пред тобой
свои гордые спины,
И в беспмятство канут
в суетливых, туманных веках.*

Не всё случилось так, как он хотел, но получилось главное: когда, под напором знойных песков и «алчущих иноплеменников» Белая Русь, ясноликий и гордый первонарод, ушёл в «великую земь ледяного покрова, молчаливую землю воды и снегов», по повелению павшего ангела Ибрим пошёл по пятам непокорного рода. За спиной русьего народа он, Ибрим, неистребим.

*И пошли мы втроём,
я, с козлом отпущенья,
Тот,
чьё жуткое имя таю я как тать.
Кто избрал меня в гное
орудием миценья,
Свою чёрную влив
в мою грудь благодать.*

Вот ещё один образ русов — «козёл отпущенья»...

Свиток «Г» озаглавлен «Чародея». Она владеет тайной русов во всех подробностях — ведь Чародея ещё девочкой всходила на Твердь с отцом русов Орием. С Твердыни ей открылась вся долина Сенаара, города и деревни, она мистическим образом увидела и будущее русов. Чародея вместе с богами смотрела на Чашу Бытия и поняла, что «ко Столпам, что зиждили Отцы, укромно крался Хабр, удав пустыни», а потому поспешила «узорной Влесовицей в Влесовицу», т.е. древнеславянскими буквами записать в свиток всё, что знала о жизни шумеров-русов. Народ пахарей, ткачей, гончаров жил под покровом Пращуров, почитал предков,

жил в труде и довольстве, врачеватели знали толк в целебных травах, чем продлевали жизнь русов, а «бояны сладкозвучные свой стих в былины перекладывали». Русы изъяснялись на райском языке, излучали свет в очах «как божие начало». С вершины Твердыни она узрела и богов русов — Сварога, солнечного бога, русьева Отца, и славных Род.

Идиллию их жизни иссушил «дождь огнеликий», никто не уцелел, и лишь бояны сохранили потомкам песни древних.

Честно говоря, я здесь обрадовалась. Конечно, не очередной катастрофе русов, а за иудеев — на сей раз они оказались ни при чём. Но нет... иудеи умеют до поры до времени скрывать свои коварные замыслы. Но... как может погибнуть народ, когда сама Мами-мать «начало жизни, бога роженица» благословила его на жизнь!

*Под скутиёю —
облачным покровом,
Которым вновь
нас одарил Творец,
Над пра-народом —
Древним, русским кровом,
Свет зазвенел,
как детский бубенец.*

Этот свет не что иное, как свет неведомого Сведереза, северной земли, что позже греки называли гипербореей, и куда судьба прибила русов, вынужденных покинуть долины Сенаара. Там, в новых землях, по замыслу богов, «Русь сохранится, как народ господний». Но заплатят за это дорого — они позабудут свои земли и богов.

*И те, кто выйдет
трепетно из лона
Могучего,
из чресла твоего,
Те не познают
прадедов законы,
Забудут наши
земли и Богов.*

Забудут, чтобы приблизить приход истинного Бога. Это входило в замыслы богов древних русов.

*Но Мать великих русов —
Мами-Матерь
Положит в ясли
русое дитя,
Зачатое
без пламенных объятий
На злобу вражью
и конец смертям.*

На этом, очень важном свидетельстве свиток обрывается —

*А мне, седой
шумерской чародее,
Мне велено
навек замолчать,
Чтоб будущие
злые иудеи,
На наши корни
Наложив печать,
Не истребили
русьего начала...*

Здесь многое недосказано: чью волю исполнял Ибрим — понятно, а кто велел замолчать шумерской чародее, как и почему это способствовало бы «истреблению русьего начала», не совсем ясно. Но, может быть, только мне. Свиток «Чародея» самый информативный для тех, кто, как и я, слаб в славянской мифологии: там многие наши боги упомянуты, а кто хочет знать, кто чем ведал, пусть заглянет в справочники.

Свиток «Д», «Исход». Некто, «ветвь Ория, наследник крепкий Руса», ведёт народ на Север, по взгорьям, сквозь восточный Тавр. Это земля обетованная, там Лада ждёт русов, но надо спешить, ползёт пустыня, а с нею, предупреждает «проводник до светлого Исуса», вползает в русский мир и тот, «чья суть от змия, изгнанного в дюны». Он всегда будет рядом, наше противостояние незримо, но вечно — «Реки, русла, Русь — пустыня, смерть и дым».

*Чужой, кочевник, дикий аравиец —
Тебя он не покинет никогда.
Строжись же, чадо! Ядовит гостинец
В его руках и жжёт он, как звезда.*

Но, несмотря ни на что, народ сохранит главное: память о Творце и Слово — «сладость первозданной русской речи/ с собою понесёт первонарод». (С этим согласны все серьёзные лингвисты мира — донесли, не в пример другим индоевропейским народам, все самое главное, что сделало русский язык великим и могучим на все времена.) Прочитала «Исход», и у меня появилось робкое желание (советов Сидоренке давать нельзя) приблизить эти стихи к какой-нибудь старинной песенной форме — для нынешних боянов и сказителей.

Следующий свиток «Е» так и назван — «Противостояние». Стихи, поданные автором без необычной разрядки, откровенно публицистичны — всё ясно и понятно. Это предупреждение народу, по пятам которого идёт Ибрим.

Всё, что хотел сказать автор, вытекает из предыдущего, всё предсказуемо... Дидактика, разбросанная по всему тексту «Аравийских свитков», в других частях всё-таки разбавлялась поэзией, а тут она голая и, прямо скажем, зловещая.

*Въедаясь в спящих приснозлобным взором,
Туманы вздыбил чешуёй хвоста,
Аспидно-ядовитым, за которым
Ты шествуешь, как тень, сомкнув уста.*

*Не ври, как вран, про избранность народа —
Ты знаешь, кто и как тебя избрал!
Ваш льстивый яд о братствах и свободах
Неизбранных свергает наповал... и т.д.*

Дидактический напор тоже может наповал убить поэзию. В «Противостоянии» всё почти на грани. Но, похоже, это входило в планы автора, который решил под конец написать что-то вроде «мораль сей басни такова».

В «Эпилоге» ещё раз кратко говорится о том, что свитки писались летописцами, жрицами, жрецами и чародеями, что были они сокровенным даром народа, вышедшего из долины Сенаара. Они содержали важные сведения об истории, верованиях русов, живших в Междуречье, но силою климатических и политических коллизий вынужденных покинуть свою колыбель. В скитаниях они прошли к Египту, к Понту и пришли в собственно Русь. В эпилоге поэт обращается к сынам России, просит их не забывать «высокие глаголы Междуречья», а, может быть, и провидчески заново их прочесть. Это не всякому удастся, ведь свитки о прошлом русов давно перетолковали иудеи и всякие прочие немцы, «подделки разослав во все концы». Но русское сердце услышит эти вещие глаголы.

*«По шуму трав,
В молчанье светлом кедра,
В текучести прерывистых стремнин,
В порывах вольных полевого ветра —
Как был велик он,
Русский славянин».*

На мой взгляд, эпилог — прозрачная по смыслу, добрая по духу (ведь она обращена к родному народу), раздумчивая часть «Аравийских свитков». Автор даёт совет молодым учиться «духом высоким» слушать и слышать предков своих. Эпилог и свиток «Чародея», на мой взгляд, наиболее удачные, поэтически цельные части «Аравийских свитков». Но, впрочем, это уже не моя вотчина.

Тайна древних русов, вероятнее всего, навеки погребена в зыбучих песках истории, но тревожить наше воображение будет всегда. Темой для поэзии тоже будет всегда. Стоит только поразиться труду Валентины Васильевны Сидоренко, которая, перемешав действительные факты жизни языческой Руси с прозрениями, догадками, а иной раз и с откровенно фантастическими писаниями авторов исторических апокрифов, создала нечто достойное войти в антологию русской сибирской поэзии.

«Аравийские свитки» — часть цикла «Славянская книга». Может быть, часть эта и не слишком выделяется от всего остального особенностями стиля, художественных приёмов (разве что разметкой строк), но по поставленной задаче, по выверенности, убеждённости позиции автора и ясности её воплощения, даже по композиционному решению поэма-сказание (и так можно определить жанр «Аравийских свитков») отлична от всего сборника. Валентина Сидоренко отважилась поэтически осмыслить незапамятную историю Руси, вместить в небольшой по объёму текст её сакральную и явленную, земную и небесную, светлую и тёмную суть, не имея для этого убедительных, достоверных оснований. А когда их нет, надо, как теперь говорят, выйти в Астрал, в пределы Прави — хоронятся ли эти свитки где-нибудь на земле, неизвестно, но на небесах они точно есть. О чём они — знать человеку, видать, не дозволено, но всегда будет искушение, всегда найдутся ослушники, провидцы, поэты, фантазёры, которые попытаются только им известным способом, недоступным учёным, масоретам и книжникам, вывести кое-что у небес. А нам то и надо. Мы поверим.

Я, в силу своей профессии, кое-как начитана по этой теме, но не это главное.

Я, повторяюсь, просто ощущаю живую пульсацию язычества во всём, в быту и помыслах. И до чего же он цветист, ароматен, до чего же поэтичен, оказывается, наш дохристианский мир, как своеобразны по сути, по драматургии, наша история и наши боги! Сколь они отличны, хоть и от родственных нам, античного и европейского пантеона богов. И самое главное и важное для русской судьбы отличие — в русском язычестве всегда живо предчувствие Христа!

Начиная читать «Аравийские свитки», я и не ждала найти впечатляющие, образно преображённые картины жизни русичей, привычные для меня по живописи, всякие там чарующие волшебные узоры. Как в сказках. Это не её, сидоренковский, почерк, не её задача — всё серьёзно, надо чётко всем понять, что знание того, что знает сам автор, для России судьбоносно. Тут не до словесных завитушек...

Всё в русле нашей дорогой учительной литературы.

Ну и что, успокаивала я себя, публицистика не отменяет поэзию, а может прибавить страсти, конфликтов, эмоций. Они, действительно, были, но чаще всё шло размеренно, без взлётов и падений. Поэма не рождалась под пером, автор записал давно обдуманное. И всё-таки я ещё раз скажу, что «Аравийские свитки» производят впечатление пролога, чего-то поэтически недосказанного, но очень важного в творчестве Валентины Сидоренко. Того, что должно иметь продолжение.

В поэме много удач, например, многоликий образ пустыни, опасной, непредсказуемой, но странно манящей. Это главный образ стихов. Пусть она представляется автору почти бесцветной, далеко не всякий турист разглядит во всех нюансах богатейшую взаимосвязь безоблачного, на поверхностный взгляд какого-то выгоревшего, ровного по окраске неба и жёлто-серой однотонной земли. Там много солнца. Его «семицветик» всё и определяет. Узреть пустыню во всем многоцветье возможно лишь художнику или, что вернее, бедуину, пустынножителю. И всё-таки пустыня, на мой взгляд, поэту удалась хотя бы потому, что обошлось без обычных, принятых у европейцев клишированных её примет: образ строится через судьбы людей и даже животных, которые каждый миг чувствуют её «раскалённые и смертные оковы». Вот пустыня старого бедуина:

*Я родился в песках,
А мне кажется, вместе с песками
У верблюжьего бока,
В его потной горячей шерсти.
Под луной кочевой,
Что мерцает манящими снами
На холодном, как смерть,
Караванном, кровавом пути.*

«Мне пустыня, как мать...», «ухожу я в неё, / как уходит корабль в океаны» и т.д. Пустыня для её жителя — дом родной, а для Клюева «матерь слёз». Для древних русов она была всякой, ведь были же Шумеры когда-то процветающими, а сейчас, на исходе русов, пустыня стала землёй немилостивой, она удушает, поглощает народы и цивилизации. Возможно, образ пустыни в «Аравийских свитках» навеян и сегодняшними обстоятельствами — климатологи бьют тревогу по поводу опустынивания земель не только в Африке и Азии, но в Европе, в России, да и у нас, в Сибири.

Пустыня «Аравийских свитков» образ зримый и загадочный, под её песками погребены тайны, которые узреть человечеству и времени не достанет.

(В скобках скажем, что в русской геномной памяти пустыня многолика и всегда сакральна. Читаем у А. Ремизова: «Мать-пустыня, куда уходили только избранные, горькие, огненные, ПО СУДЬБИННОМУ СУДУ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРЕД РУССКИМ НАРОДОМ и избранным, и призванным и заключённым»).

«Аравийские свитки» породили много поводов для размышлений. Вот одно из них. Человеческий социум — сложная система, примитивные системы, ни биологические, ни социальные не выживают. Климат в судьбе народов важен, но у всякого народа есть возможности, способы, варианты, люфты для развития. Другое дело — как ими воспользовались.

А что же гений русов? Как они его реализовали? Честно скажу, за русов Валентины Сидоренко мне обидно. Больше скажу — мне их просто жаль. Посудите сами — этот козопас веками идёт по их следу, дышит им в спину. Как же это могло стать, что русы ни разу не обернулись, не огрызнулись, не показали этому коллективному Ибриму своего лица? Это опасная ситуация — известно, что даже агрессию собак, волков и медведей гасят смелые, прямые глаза человечьи.

Нет, не мог такой народ создать великую цивилизацию! Идея терпения и всепрощения не отменяет достоинства, умения и желания постоять за себя.

В «Противостоянии», а также в «Эпилоге», автор еще раз сжато, ясно, пусть и несколько декларативно, излагает основную мысль своей поэмы. А она такова: русы «народ великий, крепкий, как скала», он «дал земным народам жизни семя», он «высок и древен», «прошёл таинственным, победным/ ему лишь предназначенным путём/, отстроил, сохранив сквозь мглу и беды/ свой праведный неповторимый дом». Это правда, так ведь, выходит, правда и то, что не так уж и преуспел в разрушительном раже этот «сын проказы, крестник Люцифера»? А зачем же тогда эта ненависть? Чем она оправдана? Да и то, если подойти к этому философски — может быть, Ибрим именно та штука, с которой карасю (народам, и не только русскому) дремать не получалось?

А если серьёзно... Было, было довольно всяких Ибримов на русском пути, да и сегодня их не меньше. Я согласна принять Ибрима Валентины Сидоренко за вполне живучее, осязаемое нами, русскими, вековечно враждебное нам противостояние, будь то «коллективный запад», «англосаксонский фактор» (возьмите нашу уже письменную историю — во всех наших конфликтах, с кем бы то ни было, явственно торчат англосаксонские уши). Вот это реально. Это знает Валентина Сидоренко.

*Вы встретитесь не раз в земных веках,
В последнем из людских — лицом к лицу.*

Похоже, уже встретились. И, как заклинание, скажем: «Победа будет за нами!». За всеми нами, кто никогда не отрекался от нашей русской судьбы. И даже незапамятной.

ЭДУАРД АНАШКИН

Член Союза писателей России, Самарская область

«...На распахнутом настезь просторе...»

В феврале 2022 года наша жизнь изменилась. И все мы понимаем, что прежней она больше не будет. Но мое эссе не о политике, хотя, как и многие, я с удивлением наблюдаю, как «расчехлились» многие известные личности, за последние десятилетия ставшие вовсе не по таланту медийными. Казалось бы, все эти люди, сладко и сытно кормившиеся с руки власти, должны были бы власть поддерживать и в ее внешнеполитических решениях. Но не тут-то было!.. Ответы на многие вопросы, если откинуть политику, сегодня, думается, надо искать не в пропаганде. Эти ответы всегда были и остаются в литературе. Стоит отойти от сиюминутной актуальности, и предстанет картина совсем другая. В очередной раз, посылая России испытание, Бог словно пытается дать нам шанс просветлиться умом и вернуться к самим себе оттуда, где мы напрасно блуждали последние тридцать лет, проживая победы и материальные достатки, завещанные нам отцами и дедами, победителями и созидателями.

Сегодня особенно внимательно надо читать стихи русских поэтов, ведь именно поэты призваны силой своего, данного свыше, таланта говорить о глубинном, а не о поверхностном. Выдающаяся современная российская поэтесса Диана Кан не опустится в своем творчестве до криков ненависти к украинским нацистам, на что в основном нацелена телепропаганда. Ведь русская поэзия не близорука, она совсем наоборот — дальнорозорко провидит будущее, пытаюсь по-есенински понять, «куда несет нас рок событий»:

Мы пока с тобой помолчим об этом...//После битвы-молитвы поделится в стори, //Как икс-игрек вдруг обернулись Зетом //И красуются рядом — да-да! — на заборе. //Без икс-игрека сложно войну осилить. //Не считай икс-игрек презренным матом: //В сорок первом с ним в атаку ходили //Наши деды, вырвав чеку гранаты. //Если ты родился на свет поэтом, //Да не просто поэтом — поэтом русским, //Ты поймёшь, что мы зачеркнули Зетом //Европейские пошлые перезагрузки. //Если ты родился на свет человеком, //А не суетно либеральным фигляром, //Поневоле становишься вещим Олегом, //Чтоб отмстить неразумным новым хазарам. //И пусть песня Победы ещё не спета, //И ещё Христос попускает Иуде... //Мы с тобою поэты эпохи Зета — //Несмотря ни на что — счастливые люди!

Именно в поэзии мистическим образом вдруг из всем привычной нам с детства нецензурной надписи на заборе проявляется, как на фото пленке, то подспудное, которое и есть истина, попранная похабным отношением к ней мутной современности. А эта истина в том, что мы, потомки победителей, почему-то позволили себе забыть о почетном и ко многому обязывающем родстве. Словно блудные сыновья уже почти сорок лет блуждаем в поисках того, что осталось на крыльце брошенного родного дома, ищем то, что искать не надо, потому что дано нам уже по праву рождения. Можно бы сказать, что в том виноваты укронацисты, да ведь понятно, что это не так...

*Целует питерский поребрик //Вольнолюбивый ветерок, //Весь неприкаян,
словно Неприк, //Из коего в столицы сбёг. //Тая к ветрам столичным зависть //
(Чтоб не смотрели свысока!) //Он, в доску стать своим стараясь, //Скрывает
запах полынка.//Скрывает запах мяты дикой //Для сохранения лица, //Ромашки,
кашки, повилики, //Татарника и чабреца.//Дыша духами Незнакомки, //Его
столичные дружки //Вовсю благоухают Блоком //Простонародью вопреки. //А
с ним здороваются сухо //И он взволнован — что не так? — //Пропахший
терпким русским духом //Почти есенинский земляк... //Ах, волжский непо-
седа-ветер, //Ты так столичности искал, //Что, сам того и не заметил —
//Себя в столицах растерял. //Ты льнешь к столичным модным стервам, //
Ища в них брошенных невест. //Ты шаурму зовёшь шавермой, //Парадным ты
зовёшь подъезд. //Ты кацавейку обзываешь //Словечком питерским — бадлон.
//И понемногу обживаешь //Свинцово-серый небосклон. //...Но иногда в часы
заката //Среди столичной суеты //Тебя настигнет запах мяты, //Как запах
преданной мечты.*

Разве это стихотворение Дианы Кан только о волжском ветре, что, захотев идти в ногу с сомнительной современностью, в итоге растерял себя? Конечно же, в ветре увидеть только ветер может лишь скользящий по поверхности стихотворения читатель. Более проникательный читатель понимает, что практически все явления природы в стихах Дианы Кан живые, человекоподобны. И уже тем самым противостоят наглому современному расчеловечиванию нас! Все мы не раз наблюдали, что вот уедет провинциал в столицы, отряхнув землю предков со своих ног, и всячески старается вписаться в столичную реальность, стать столичным человеком. При этом он почему-то уверен, что стать таковым можно лишь в одном случае — забыть о своих корнях, как о чем-то презренном. Так же дерево, утратившее корни, уверено, что вырастет большим...

Выдающийся поэт Анатолий Передреев об этом сказал горько: «И города из нас не получилось, // И навсегда потеряно село...». То есть проникательный читатель увидит в стихотворении о неприкаянном ветре из самарского захолустного поселка Неприк своего современника-россиянина, брезгующего исконными корнями. Но в наше непростое время, думаю, этот проникательный читатель вырастет до понимания геополитического смысла этого стихотворения, которое якобы о ветре. Прочтет о трагедии русского исконного и неповторимого мира, когда русский человек решил в очередной раз стать европейцем. Решил забыть свое русское, корневое, и, что говорится, втелиться в так называемое европейское столичное общечеловеческое. И что же мы имеем на сегодня? И Европы из нас не получилось, и утрачена Россия — хочется верить, что все-таки не навсегда.

Что случилось с нашими славянскими братьями, так восхотевшими стать частью Европы, пусть даже и на задворках Европы, мы сегодня видим, едва сдерживая слезы негодования и сочувствия. Через год затянувшейся спецоперации мы видим, что «российский ветер» начинает осознавать с болью, что растерял себя за последние несколько постсоветских десятилетий. Наступил горький момент истины! Своими для столичных «европ» так и не стали ни Украина, ни Россия! И себя во многом растеряли обе... Сегодня стихотворение Дианы Кан о неприкаянном Неприке вдруг вырастает из пределов России, становясь символом отрыва от самих себя, символом неприкаянного предательства мечты жить по-русски, говорить по-русски, петь-по русски, одеваться по-русски... У каждого из нас, русских людей — свой Неприк, нами преданный. И Россия, если посмотреть шире, не что

иное, как этот самый «неприкаянный Неприк», что заблудился между Европой и востоком, ища то, что никогда и не было потеряно.

Он вел их молча по былинным, //По диким муромским лесам — //Иуд, что верили наивно //В то, что и он иуда сам. //Вел, обходя в пути святыни, //Не тратя понапрасну слов, //Духовно-ядерной твердыни, //Что называется Саров. //Он вел их, Китеж огибая //И светлый болдинский приют... //Знать, на Руси судьба такая, //Что первыми героев бьют. //В пути не раз им повстречался //Шальной разбойник-соловей. //Вослед ведомым так смеялся, //Что листья сыпались с ветвей. //Вел, обходя Урал и Волгу, //Хоть их никак не обогнуть... //Во временах-пространствах долгий — //Единственно возможный путь! //И мысль одна терзала сердце, //Ведомым вовсе не в укор — //Как миновать в пути Освенцим, //И Саласпилс, и Собибор?...//...А дальше, братья-ляхи, сами. //Эх, ни покрывки вам, ни дна... //«Кажись, пришли! — вздохнул Сусанин — //Варшава-матушка видна!..»

Стихи Дианы Кан о России очень часто оказываются пророческими, написанными не на сиюминутную современность, но как бы на вырост, на перспективу. Мы с вами сегодня живем в условиях очередного нашествия коллективных европейских «ляхов». И как сотни лет назад Россия старается вернуть свои исторические территории, но при этом, по возможности, не причиняя этим самым ляхам особенного вреда. Пытаясь вернуть Донбасс в родную российскую гавань... Что это, если не чудачество — воевать, жалея противника?

О чудачествах русского человека немало сказал Шукшин. Разве не чудачество отринуть победительное наследие, променяв индустриальную державу на бензоколонку и рынок, лишь потому, что западные «цивилизованные» благодетели явились к нам не с «Юнкерсами», а со «сникерсами»?

Мы все — немного чудики. //А ты у нас — один! //Нам истину на блюдечке //Преподнеси, Шукшин! //Она, по-русски емкая, //Необходима нам. //И с голубой каемкою, //Конечно, по краям. //Ее ты в муках выстрадал, //Когда ночей не спал. //Но неподкупной истины //Язвителен оскал. //В порыве откровения //Ты нам ее изрек //В угрюмом окаймлении //Сибирских вольных рек. //...Пока молчим растерянно, //Над ней глумится враг... //Подарена... Потеряна!.. //А без неё — никак!

Но однажды глумлению наступает конец, потому что наступает предел русскому долготерпению, и наступает усталость от навязанных чужеземных лекал. Мы сегодня с напряженным вниманием наблюдаем ситуацию на Украине. И порой недооцениваем то, что похожая «украина» может нам грозить и с территории других, некогда братских, республик СССР. К примеру, с юга, где находится некогда братский Казахстан, которому добрые советские чиновники, как и когда-то Украине, подарили множество исконно русских казачьих земель. Пропаганда наша всегда бьет по хвостам, спохватывается, когда пожар уже горит и пора орать «Караул!». А вот поэты смотрят на перспективу. Видимо, очень неслучайно в творчестве Дианы Кан стихотворение об Оренбурге (одно из многих ее стихов о родине предков по материнской ветви). Оно для всех тех, кто сегодня заговаривает о том, что российский город Оренбург был когда-то столицей киргиз-кайсаков, предков нынешних казахов. Для таких «инициативных» Диана Кан, видимо, и написала несколько лет назад стихотворение о российском городе-форпосте, городе отважных уральских казаков. Они веками защищали оренбургскую землю на форпо-

стах, и, погибая за нее, ложились на погосты. Очень бы не хотелось, чтобы этот город, врата России на восток, стал заложником антирусских ветров, дующих не столько с Казахстана, сколько из-за океана...

На распаханном настезь просторе //Город мой, белокаменный князь, // Азиатским ветрам непокорен, //Что приходят, до неба клубясь. //Он расскажет немало историй, //Обойдётся при этом без слов... //Орен, Орен, ветрам непокорен, //Ибо сам — повелитель ветров! //Созерцаем высокие звёзды, //Небосвод зажигаем с утра. //На станицы, погосты, форпосты //Насылаем шальные ветра. //Но всегда вопрошаю при встрече: //«Город детства, да кто ты таков? //Как ты смеешь мне вечно перечить, //Мне, законной царице ветров?..» //Но и он себе ведаёт цену, //Хоть не будет трезвонить о ней. //Горделивый, строптивый, степенный //Повелитель ветров и степей. //Я б, наверно, не стала поэтом, //Пересмешница и егоза, //Если б мы не схлестнулись на этом //Много-много столетий назад.

...Глубокая генетическая память поэтессы даёт ей дальноркость и право говорить современникам жесткие слова. При этом вовсе не по-женски Диана самоиронично называет себя «пересмешницей и егозой». Из таких лирических контрастов перед нами встает образ стоящей «на распаханном настезь просторе» поэтессы Дианы Кан, воительницы нашего противоречивого времени и одновременно дальноркой провидицы будущего...

ПОЭЗИЯ



АННА РЕТЕЮМ



«Изящных трав моих портреты...»

* * *

Улочка тесная-тесная,
ласточек низкий полёт —
если когда-то воскресну я,
здесь совершится исход.
С этими глупыми мальвами,
птицами навеселе,
нежными дальними далями
неба на светлой земле.

РЕТЕЮМ Анна Борисовна родилась в городе Балашове Саратовской области, там же получила филологическое образование, затем окончила аспирантуру Московского педагогического государственного университета и Московский государственный университет печати. Работала в издательствах, преподавала, публиковалась в «Литературной газете», «Нашем современнике», «Русской жизни», «Родной Ладогe», «Московском литераторе», «Дне поэзии — XXI век» и других периодических изданиях. Автор нескольких книг стихов, множества песен, лауреат «Российского писателя» (2019-2022), всероссийского литературного конкурса им. А.С. Грибоедова (2022) и др. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

* * *

Незримо веет сквозь меня, легка,
река покоя, тишины река.
О, как не помешать, дыша навстречь,
великой тишине свободно течь?

* * *

Как бы уподобиться пейзажу — мирным этим, ласковым лугам, молодой осоке вольной также золотым звенящим овсягам; я переняла бы плавность линий, бархатный шалфей взяла в пример,	теплый дух серебряной полыни, утонченность травяных манер. Как бы уподобиться осинам, что величьем дня ослеплены, тополям и ветлам в небе синем, в царских ризах горней тишины.
--	--

* * *

Люди должны жить на воле, плавать в спокойных волнах ветра, и леса, и поля, в гимнах цветущих и снах. Чтоб, не стесняя друг друга, свет велеокий вобрать,	чистые помыслы луга, тихой реки благодать... Есть у нас птичье призванье — ввериться нотам извне, тонким флюидам, дыханью, неба высокой волне.
--	---

* * *

Такие огромные ивы — под стать облакам, наравне, их крон исполинских разливы с ветрами в извечной войне. Их омуты, волны, бурленье — бездребность великих судеб,	и в шелесте бродит забвеньё и память — мы ни были где б. Но если они замирают грядой вечеряющих скал, то древо твоё прозревают — кем был ты из детства и стал.
---	---

* * *

С этим ветром ничто не сравнится, он горячий и шквальный — он мой, дайте ж песней его насладиться в колыбели казачьей, степной. Дух его никогда не остынет, принимая в ладони, любя,	и меня как тростинку обнимет моих предков далёких судьба. Здесь они, на земле этой чистой, хлеб растили и малых детей, и в порывистых гулах и свистах пили силу — из Божьих горстей.
---	---

* * *

Да, это всё моё: и сухойей, и лес,
и млечные стада распахнутых небес,
зелёные холмы, бегущая тропа,
попынные дымы, и над рекой — скопа.
Да, это всё моё и только лишь моё:
дыхание цветов и острое жнивье,
студёное вино ночей — моё, пока
сливаются в одно жизнь, речка, облака...

* * *

Не надо плакать и прощаться — не расстанётесь вы отнюдь, и может статься, может статься, ты соль родной земли и суть; здесь предков мирные могилы, степное небо и лопух,	и, может статься, — ты вместила тех жизней величавый дух; и, простираясь над обрывом, орлиная летит любовь к реке и лесу, чёрным нивам — как песня, сложенная вновь.
---	---

* * *

И хорошо тебе одной — единой, целой, Божьей — нести сладчайший день земной под загорелой кожей, встречать калёные ветра, благословлять долины	под сводом малого шатра, ветхозаветной глины... В осколках движется река, в лоскутках — лета алость, а ты едина и крепка — о чём и не мечталось...
--	---

Из детства

Волосы пахнут солнцем, чистым степным огнём, снятся и не проснёмся, плавая знойным днём.	Лаской его палящей медленно всколыхнёт в памяти-сотах спящий неутолимый мёд.
---	---

* * *

Живи, живи, моя река, неисчислимые века, таинственно искрись — лучей вбирая высь. Целуй приветно берега, где палый дуб или куга, песок или сосна, и света тишина.	Ты видела набеги, зло, и неба синее крыло простёрлось, сохранив тебя в объятьях нив. Петляя, время нанесло к селу, как бусина — село, и городской пейзаж, болотину и пляж.
--	---

Но там тебя лишь узнаю,
где лес холмится на краю,
как первобытья зов,
и клёкоты орлов.

Благословляю и пою
зеркальность чистую твою
и тайну на века,
живи, живи, река.

* * *

Проснись, прикосновенье осязая
на чутких веках или на щеках, —
бушует бликов солнечная стая,
вся комната в весёлых мотыльках;
прими в подарок трепетное утро,
дыханье света в листьях за окном,

полупрозрачность, искры изумруда,
игру ветвей с тихоней-ветерком...
Ну что ещё тебе для счастья надо,
не хватит ли бороться и искать,
ведь в пробужденье собственного сада
ты чудом света можешь обладать?

По лугу

Мама будит меня очень рано:
одеваюсь, по лугу идём
в полусне, в поволоке тумана,
у реки оставляя наш дом.
Как пустынны и ласковы зори —
только травы в сплетенье густом,

голубые цветочки — цикорий,
и развилка у склона крестом.
Ранний ветер ещё осторожен,
и тишайшая высь над холмом...
Вот и звон: он прекрасно-тревожен!
Мы идём, мы идём в Божий дом!

* * *

Мальчик сбегает по склону
в дымке цветов луговых,
донник, сурепка огромны —
вот дорасти бы до них!
Мальчик отважный — по склону,
ветер по злакам скользит,

гонит зелёные волны,
дымкой медовой сквозит.
Нежные щебеты, звоны,
солнце, как клевер, у ног,
в травах небесных по склону —
мальчик бегущий, сынок.

У земли

Осока спелая поникла
в низинной мяте луговой,
где притаилась земляника
медовой каплей огневой.
Графично стебелёк отточен,
и рдеет маленький каскад

в изящной хижине осочин,
как будто опуская взгляд.
И на свиданье с земляничкой
среди стрекочущих миров
ты пропадаешь, как ни кликай,
вплоть до вечерних комаров.

Портреты

Изящных трав моих портреты
в июльском золоте лугов,
эскизы, абрисы, приметы
неповторимых стебельков.
Пером качает сизый вейник,
философ тонкий и пижон,
вскипает пышный подмаренник,
медовой славой окружён;
в атласном платье подорожник,
в парящем кружеве анис —
явил искуснейший Художник,
ты присмотришь, ты оглянись.
Не исчезая, не старея
из рода в род — о летний сонм! —
цветут в сердечной галерее
граф львиный зев, князь синий лён.

* * *

Истомило искусство, измучило,
знаю, можно схватить красоту:
вьётся в белом сиянье излучина,
тихо солнце скользит на плоту.
Эти полные, звучные, летние
мне даны времена неспроста,
великаны-деревья заветные
до последнего чудны листа,
и нетленным теплом улыбается
млечный клевер, трава-мурава —
всё поёт, всё летит, всё сбывается...
Не спеша возвращаться в слова.

Очерк и публицистика



НАДЕЖДА КРУПИНА

Ты, да я, да мы с тобой

*Сыплет небо порошею, все пути хороня.
Помни только хорошее про себя и меня...
Время мчится непрошено, мы уходим, скорбя.
Помни только хорошее, заклинаю тебя.
Помни только хорошее. Скрежеща и круша,
Жизни мелкое крошево перемелет душа...
И омоется молодо, и останется в ней
Только чистое золото отцветившихся дней...*

Владимир Солоухин

Долго откладывая написание этого очерка из-за боязни не справиться и не ощущая покоя и лада, которые необходимы для такого ответственного дела, что-то пролистывая, неожиданно наткнулась на слова: «Жена — это крылья мужа». Подумала: «Какое сравнение!.. Но о всякой ли жене можно так сказать?.. Обо мне можно? — спросила себя. И себе же ответила: — Обо мне нельзя...» Ну какие я крылья? Чтобы быть крыльями, надо самой высоко летать, обладать даром вдохновлять, поднимать, восхищать и восхищаться. А я часто унываю, ухожу в себя, услышав не то слово или поймав не тот взгляд; взрываюсь, столкнувшись не с тем, чего ожидала, или что для меня неестественно... Но через несколько дней, шестого марта 2023 года, будет 57 лет, как мы идем по жизни вместе, переноса радости и невзгоды, потери и потрясения, падая и поднимаясь, то отдаляясь друг от друга, то душа в душу, но, по большому счету, понимая, что нам друг без друга — никак.

Честно скажу, что муж мой не обижается на меня никогда. Даже если я бываю неправа. Только сейчас начала понимать, какое же это счастье. Это я молчанием, слезами и обидой могу ответить на его «не то» слово или какой-то поступок и даже решить, что не буду разговаривать. Но удивительное дело: наутро не всегда могу вспомнить, в чем была вчерашняя «трагедия», на что так рассердилась. А представив, что его может не быть рядом, прихожу в ужас и через какое-то время иду к нему с повинной головой.

Признаюсь: причины быть недовольной супругом бывают. В самом начале 2022 года я упала на скользкой снежной дорожке, вывихнула плечевой сустав и сломала его в нескольких местах. В «Склифе» сделали мне две операции, но неудачно: от тяжелого отека несколько месяцев я почти не спала, мучилась от боли. Три месяца муж самоотверженно возил меня почти ежедневно на многочисленные уколы, процедуры, разработку руки в далекий реабилитационный центр, потому что правая рука моя была беспомощна: я не могла надеть пальто, застегнуть

пуговицы, держаться в переполненном автобусе или метро, донести кружку до рта тоже не могла, что уж говорить о поднятии кастрюли на плиту. Благодаря стараниям врачей и массажистов руке частично вернули подвижность, а пальцы так и остались онемелыми.

По весне, в мае, из питомника нам доставили заказанные еще в декабре минувшего года долгожданный саженец лимонно-желтой сирени и несколько сортов роз. В моей жизни с очень редкими праздниками изысканная сирень, какой на маленьком нашем участке пять кустов, и цветы доставляют мне огромную радость. Но сажать в этот раз я их не могла: рука не держала лопату. Пришлось обратиться к Владимиру. «Конечно! Конечно! — сразу откликнулся он. — Только покажи, куда сажать. И не надо за мной следить. Хорошо?» Зная мужа, попросила: «Только постарайся!» — «Обязательно! Не волнуйся! Пойди почитай, отдохни!» Сердце мое не выдержало, и через полчаса я была на месте мужниных трудов. Трогательный тоненький прутик сирени был уже воткнут в землю, и Володя уже притаптывал ее вокруг саженца. Из земли топорщились ненавидимая мною сныть, мокрица и крапива. Со вздохом взглянула на него: «Володя, ну почему так?» — «А что? Ну, трава. Естественная природа». — «Ты что, даже граблями землю не разбил?» — «Зачем? Дерево должно жить в своей привычной среде».

Мальша мы, конечно, посадили заново. Вынули его из земли, расширили и углубили ямку; я извела сорняки, многократно просеяла землю, измельчая ее пальцами левой руки. Муж, видя, что получается хорошо, без подсказки и с энтузиазмом принес отличной перепрелой земли и удобрения. Саженец, как в колыбельке, уютно устроился на новом месте, был щедро полит довольным хозяином и обещал не подвести. Под чутким присмотром и при активной помощи Володе жены-леворучки и розы избежали сиротской участи расти в «естественной среде». Я была очень довольна. Обида была погашена отличным результатом нашей совместной работы и искренним усердием моей второй половины.

Человек часто устает от людей и нуждается в уединении и отдыхе. Не стоит завидовать публичным людям. Очень часто там, где мы бывали, к мужу подходили читатели. Мы зашли в университетскую Татьянину церковь на Моховой. Поставили свечи, приложились к иконам, вместе помолились у иконы Божией Матери за детей, внуков и здоровье мамы. Уже выходили, когда подошла пожилая милая женщина, представилась: Раиса Андреевна, кандидат наук, доцент географического факультета МГУ, слушает Владимира Николаевича по радио «Радонеж», читает его книги. Хотелось отойти, чтобы не мешать разговору, но муж задержал: «Познакомьтесь. Это моя жена Надежда Леонидовна. Вы ей все расскажите, а она мне. А сейчас, простите, я очень тороплюсь: у меня назначена встреча».

Женщина рассказала о себе, о том, что ее научная тема связана с музыкой великих композиторов, рожденной природой родины. Это вызывает иронию у коллег. А еще она страдает оттого, что, похоронив маму, оказалась брошена родной сестрой и ее племянницей, которых очень любит. Одинокая, она лечила душу передачами радиостанции «Орфей». Когда ведущие обращались к слушателям с вопросом, кто автор и как называется звучащее произведение, она не только отвечала на вопрос, но и увлеченно рассказывала историю его создания, показывая большие знания и эрудицию. Продиктовала Раисе Андреевне номер своего телефона. И в течение семи лет, до кончины, она звонила мне практически каждый день. Обида на коллег и родственников не покидала ее, вызывала тоску, отчаяние, лишала сна. Выводить ее из такого состояния было нелегко, но я старалась:

как могла, поддерживала ее увлечение музыкой и просила писать о музыкантах, опубликовала в своем журнале замечательный ее материал о природе в музыке. Просила не обижаться на родственников, а жалеть их. Это вызывало возмущение: «Жалеть их? Разве не меня надо жалеть?» — «Но ведь они очень несчастные, не понимают самого простого: что такое благодарность, милосердие. А у вас есть Бог, музыка, любимая работа». Бывало так, что после длинных вечерних разговоров я была совершенно обессиленная. Но на другой день раздавался звонок, и не ответить на него я не могла. Спрашиваю: мог ли муж много лет вести эти разговоры, слушать и внимать, быть врачом и утешителем? Правильно ли поступил он, и правильно ли я?

Гости к нам домой приходят часто, званые и незваные. Мне всегда хочется, чтобы я была об этом предупреждена, чтобы что-то приготовить, испечь, убрать. Для Владимира Николаевича это не имеет никакого значения. У нас, считает он, всегда найдется чем угостить, и дом должен быть живым, а не стерильным. Он убежден, что у нас живой. Я начинаю волноваться — он успокаивает; я накрываю стол — он помогает как может. Он умеет поддерживать любую беседу, оживить ее каким-то случаем, размышлением, рассказом. С ним всегда интересно. Но в какой-то момент Владимир Николаевич извиняется и удаляется за компьютер, почитать, а Надежда Леонидовна остается за слушателя, советчика или сочувствующего...

Это не значит, что писатель Крупин избегает людей и высокомерен. Он вообще не любит длинных разговоров и предпочитает конкретику. Сколько по просьбам и без них написано рецензий, рекомендаций, предисловий, отзывов! Тысячи, наверное, писем, до компьютера — от руки. А сколько часов проведено на заседаниях секретариата Союза писателей, издательского отдела Московской патриархии, комиссии по присуждению Патриаршей литературной премии, сколько поездок, встреч, конференций, выступлений! А сколько прощальных слов у гробов умерших дорогих товарищей, а теперь молитв о них... Сколько... Но остановлюсь.

Когда я жалуясь на усталость от переложенных на меня забот, бесед и дел, а муж чувствует, что сделал что-то не так, он пожимает плечами, словно оправдываясь: «Да ничего такого я не сделал». Но через короткое время как-то шутя, легко повинится или позовет пить чай, что означает извинение. Зовет к уже накрытому столу с красивыми чашками и свежей заваркой. С яблочным, самым любимым нашим вареньем. И наступают блаженные, так ценимые мной мир и тишина.

Зная о наших «стычках», а правильнее сказать, о моих «претензиях», дорогой наш духовник, земляк Володи о. Иоасаф, в один из приходов к нам рассказал такую притчу. Приведу её, как запомнила. «Жили рядом две семьи. Одна в постоянных ссорах, а другая в тишине. Ругающаяся жена сказала мужу: „Пойди посмотри, почему соседи так тихо живут“. Муж пошёл, остановился у открытой двери соседей и прислушался. Жена соседа провожала мужа на работу. Он, выходя в прихожую, нечаянно задел вазу и разбил ее. Огорчился и поднял глаза на жену: „Прости, такой я неуклюжий“. А жена в ответ: „Меня прости. Это я не убрала ее на место“. В тихой семье, заключил наблюдавший за этой сценой сосед, каждый считает виноватым себя, а в шумной — каждый всегда прав».

Батюшка, как опытный педагог и наставник, сделал вывод и от себя, чтобы мы лучше запомнили мудрую притчу: «В семье, где хранят любовь, супруг и супруга брали вину на себя, не осуждая свою половину. Всем бы так. И были бы тогда всегда семейный лад и мир».

А вспомнила я эту притчу сегодня, в день Прощеного воскресенья, накануне Великого поста...

Есть у меня еще один чудодейственный способ привести себя в чувство, понять никчемность обид и отказаться от принятых вчера глупых решений: надо открыть любую книгу мужа на любой странице. И через короткое время душа моя умиротворяется и погружается в мир русских людей, живущих на земле под небесами, несущих свой житейский крест без громких слов, как это было до них и будет после них. Эта русская жизнь изливается из прочитанных строчек, как полноводная река, которую не остановить; она вся пронизана любовью к родной земле, детям, старикам, вечным труженикам; она вся наполнена трудом, радостью видеть раду-ду-дугу, веселых скворчиков, нескончаемую реку паломников на реку Великую к Николаю Чудотворцу, пронизана тишиною великого Куликова поля, святостью Афона и Святой земли...

У него никогда не было кабинета. Пристроится, где свободное местечко, и пишет. Боже мой, сколько в нашем доме и на даче сумок и пакетов с записями авторучкой или карандашом на блокнотах, салфетках, театральных, авиационных и железнодорожных билетах, программках, чеках — на всем, на чем можно писать. Где и когда можно было сделать столько записей разговоров, увиденных сцен, услышанных реплик и слов, выписок? Каким слухом, зрением и памятью нужно обладать? Последние годы он начал их тщательно пересматривать и понял, что оставшейся жизни на это не хватит. Мне кажется, что на это нужно несколько жизней. А ведь сколько этого услышанного, увиденного им, запомнившегося уже выпорхнуло из пакетов, сумок и памяти его и увидело свет в «Крупинках» и в дневниковых записях...

Для новой пишущей машинки «Эрика» из уважения к ней рабочее место было найдено на краешке стола. Но чтобы закрывалась дверь, я и дети ходили на цыпочках и не дышали, потому что папа работает, — такого не было никогда. Дети врывались, когда надо было найти альбом или карандаши, рассказать, какая история приключилась в саду, им надо было именно с папой послушать пластинку с «Коньком-Горбунком», которого так здорово читал Олег Табаков, или лермонтовское «Бородино». И я никогда не выдерживала долгой разлуки: и мне надо было, именно когда он работает, обязательно ему прочесть удачное ученическое сочинение, без него я не отдавала ни одной своей статьи в журнал «Литература в школе», только ему надо было срочно прочитать стихи из «Нашего современника», чтобы и он со мною порадовался за автора.

Таков и он сам. Понравился чей-то рассказ, стихи, он что-то прочитал хорошее, кто-то подарил книгу — он загнет понравившуюся страницу и тут же ко мне — читать вслух, хотя видит, что я засела за работу: «Оторвись, Надечка. Послушай, какие прекрасные стихи написал Толя» (или Коля, или Володя. Речь о Гребнев, Рачков, Кострове. И этот ряд можно очень долго продолжать). А когда появился ноутбук, стол был отринут. И с этим достижением человечества на коленках он может сидеть по многу часов в любом месте, где ему в данную минуту приглянется. Правда, дети и внуки уже не донимают, донимаю только я... Но со мной он терпелив, как с маленькими и со старенькими...

Я увидела Володю Крупина в 1964 году, переведясь после первого курса с вечернего отделения литфака Московского областного пединститута на дневное. Вошла в большую аудиторию, полную студентов — шумных, веселых, и растерялась. Меня подхватила полненькая, небольшого роста девчушка и, шумно увлекая

к последним столам, указала на место рядом: «Садись! Свободно!» За несколько минут я узнала о самых примечательных личностях второго курса. В основном это были парни после армии, крепкие, ладные, красивые. Среди них был назван и он, но в этот день, к началу лекций, его не было; как позже узнала, Владимир до занятий работал. Появление его за соседним крайним столом не заметила. Профессор Аксенов вел у нас отечественную историю и, иронично обращаясь к многочисленной девичьей аудитории, вопрошал: «Ну что, будущие домашние хозяйки! Где находился в столице Георгиевский монастырь конца XV века и с какими событиями русской истории он связан?» Показавшуюся бесконечной пронзительную тишину прервал парень, сидевший справа на одной линии со мной. Обратила внимание на волосы цвета степного ковыля (необычность и красоту их подчеркивал черный, как узнала потом, отцовский китель), открытое лицо, высокий лоб. Он единственный поднял руку и получил за ответ похвалу нашего уважаемого преподавателя. По речи поняла, что он не москвич, но Москву знал блестяще. Потом от него же узнала, что много времени он проводит в Исторической библиотеке, в школьные каникулы подрабатывает экскурсоводом, а для этого надо немало знать и интересно рассказывать. Подобные вопросы профессор Аксенов задавал практически на каждом занятии, и всех нас, незнаек из Москвы и Московской области, выручал вятич Володя Крупин.

Интересно, как порой складывается жизнь, соединяя времена: в 1988 году Союз писателей дал мужу после долгих ожиданий и вручений смотровых — в писательский дом в Лаврушинском переулке у Третьяковской галереи и в многоэтажку недалеко от Беговой, у издательства газеты «Красная звезда» (оба раза мы не раздумывая давали согласие, но жилье отдавали другим писателям), — квартиру в самом центре столицы — в Камергерском переулке, соседнем с Георгиевским. Здесь, в школьном дворе, где когда-то стоял Георгиевский монастырь, стали строить спортивную площадку, для этого рыть котлован. И нам открылась страшная картина: было вскрыто монастырское кладбище, и белые кости под нещадным солнцем словно просили о погребении. Владимир брал большую сумку, мы бережно собирали их и везли за город, на кладбище возле нашего домика у храма Рождества Пресвятой Богородицы в Никольском, где было последнее пристанище простого русского человека, нашего добрейшего соседа Константина Эммануиловича, героя повести «Прощай, Россия, встретимся в раю!». В его могилку мы подхоранивали с молитвою косточки монахинь известного когда-то женского монастыря...

Меня удивляло, что Володя Крупин порой спал на лекциях. Мы стекаемся на занятия, а он уже в аудитории и спит за последним столом, подложив под голову руку. Однокурсницы пояснили, что он работал в ночную смену на Микояновском мясокомбинате: сначала в цехе, потом в многотиражной газете. Но стоило профессорам по зарубежной литературе Зое Тихоновне Гражданской или Владимиру Николаевичу Богословскому спросить аудиторию о любом зарубежном авторе или произведении, Володя, как и в случаях с доктором наук Аксеновым, тут же «оживал» и блестяще отвечал. Память у него была (и остается) редкая. И книги он словно не читал, а фотографировал. Не веря такой скорости, девчонки поначалу экзаменовали его, раскрывая перед собой текст, но он пересказывал его почти дословно.

Особое отношение к нему было у нашей преподавательницы диалектологии Анастасии Филимоновны Ивановой. На каждом занятии она просила его что-ли-

бо рассказать и призывала нас вслушиваться и наслаждаться своеобразной певучей речью Крупина.

В 1965 году, когда мы уже неразлучно дружили, Володя по настоянию его коллег пригласил меня в редакцию своей многотиражки. Предложив сменить туфельки на деревянные сабо, чтобы не упасть на скользком от крови полу, Крупин через цеха и холодильники вел меня за руку, заранее предупреждая: «Сейчас закрой глаза. Этого лучше не видеть... А теперь открой». Все же что-то я успевала увидеть, специфических запахов скрыть было нельзя, и, придавленная этими впечатлениями, я с облегчением вошла в небольшую редакцию, глубоко вобрала живительный воздух из открытого на высоком этаже окна и тут же была представлена маленькому и дружному коллективу, уже ожидавшему моего появления. С первой минуты пребывания в редакции было понятно, что моего избранника здесь по-отечески любят... Боже мой, как меня принимали! Никогда в жизни я не ела ничего подобного и такого вкусного. Все изыски экспортного цеха, готовившего свою продукцию для Кремля и правительства, во всей своей красоте и ароматах предстали перед глазами. А потом был душистый чай и хорошая беседа; и казалось, что и главного редактора Александра Николаевича, и машинистку и заодно секретаря Валентину Васильевну, и Володиного друга литсотрудника Леву знаю я давным-давно. А их отношение ко мне Володя выразил вечером по телефону: «Очень понравилась. Передаю привет». Все они были через год на нашей свадьбе.

Вспоминается еще один эпизод, связанный с этим временем. В институт я ездила на электричке от станции Люблино до Курского вокзала, а там шла пешком до улицы Радио.

— Ты во сколько едешь в институт? — позвонил мне из редакции. — Сядь в вагоне у окна с левой стороны.

— И что?

— И после Текстильщиков посмотри вдаль, правее высокой трубы.

— А там что?

— Увидишь!

С нетерпением ждала чего-то мне обещанного. Минули станцию Текстильщики, и, найдя глазами почти на горизонте высокую трубу, я повела взгляд вправо и увидела (как я поняла, на крыше далекого мясокомбината) башню, а на ней едва заметную фигурку, махавшую (мне?!) красной косынкой. Как он туда забрался? Было страшно за него. И радостно. Посланный таким образом привет от любимого был мне очень дорог и, как вы догадываетесь, не мог забыться.

Удивлять он любит и умеет.

После второго курса у нас была обязательная летняя практика в лагере. Деканат собирает нас в красивом актовом зале старинного здания МОПИ, чтобы объявить об этом. Всех служивших в армии парней называют по фамилии и говорят, что им доверено работать в лагере Министерства обороны в Евпатории, остальные поедут в подмосковные лагеря. Всё понятно, и все поднимаются с мест. Но вперед вылетает Владимир, останавливает народ и, обернувшись к президиуму, громко заявляет: «Я без Нади в Евпаторию не поеду. И, если ей нельзя, оставьте и меня для подмосковного лагеря». Обомлела. Не ожидала такого. Представляю, как ему, мечтавшему в детстве стать моряком, хотелось увидеть море. Но в итоге мы оказались в Евпатории.

Работа здесь была практически круглосуточная. Утренние линейки, построения, конкурсы, смотры песни и строя (и всего, чего только можно), соревнования,

кружки, ночные костры, сумасшедшее купание многочисленного отряда в море (только успевай считать по головам вошедших в море и вышедших из него!), укладывание спать (когда кто-то затосковал по папе-маме, а кто-то замыслил ночью испугать девчонок, сделавшись привидением), срочные сборы вожатых, обычно устраиваемые военным начальством после полуночи для подведения итогов дня и постановки задач на завтра... Встречаться нам практически было некогда, не хватало времени на сон. В пересменок, скучая по родителям, я пользовалась возможностью увидеть их, привозя в Москву одну смену и забирая другую. Володя оставался в Евпатории: общежитие обычно летом ремонтировали, и в тихом без детей лагере можно было отоспаться. Но когда я возвращалась, на кипенно-белом покрывале на моей кровати всегда был букет роз. Розы украшали огромные квадратные километры территории нашего лагеря «Чайка». Все это было охраняемо большой армией отставников-пенсионеров, ещё очень крепких и сильных, как подобает военным. Боже мой, как вдохновенно рисовал Крупин операцию по отвлечению охраны лагеря от объекта его посягательств. Привлеченный для помощи друг-однокурсник успешно справлялся с этим тяжелым заданием, а Володя, по его словам, в это время полз на животе к розам и перегрызал их зубами, «чтобы порадовать Надю». Сколько здесь правды и сколько фантазии, думать не хотелось. Важен был результат: огромный букет роз на белом покрывале и вдохновенный рассказ о преодолении непреодолимых преград для доказательства силы любви.

В юности и пока был полон энергии и сил, Володя ездил на родину довольно часто, несколько раз за год. И обязательно звонил из Владимира. Это всегда было ночью: он не ложился, пока не увидит храм Покрова на Нерли. Мобильников тогда не было. И, чтобы позвонить, надо было бежать на вокзал, найти телефонную будку и запастись для звонка пятнадцатикопеечными монетами. Всегда боялась, что он опоздает вернуться и поезд уйдет, и поэтому каждый раз просила не рисковать. Но ни разу этой традиции он не изменил и неизменно звонил, чтобы сказать мне хорошие слова, потому что знал: без него мне одиноко, и я уже считаю время до его возвращения.

В 1981 году Володя, уже автор «Живой воды» и «Сорокового дня», был включен в состав большого писательского десанта в Мурманск и Североморск для встречи с читателями и моряками. Я провожала его. На вокзале видела уже знакомых Сергея Павловича Залыгина, Виктора Ивановича Лихоносова, Володю Личутина, Толю Кима и многих других. Все были вдохновлены и рады друг другу. И в этой поездке уже утром с какой-то станции муж кинулся мне звонить, перебегая через рельсы и устремляясь в здание вокзала. Всегдашний вопрос: как ты, Катюша, Володечка, родители? Обязательные ободряющие слова. На обратном пути дорогу к его уходящему поезду перекрыл другой состав. Обнаружив пропажу Володи, товарищи-писатели все поняли. Мне позвонил Сергей Павлович: «Надя, не беспокойтесь! Телеграмму на станцию дали. Володю посадят на следующий поезд через час. В гостиницу привезут».

Но не беспокоиться о нем нельзя, потому что о себе он никогда не беспокоится. Если этого не делать, он что-нибудь важное обязательно забудет, потому что торопыга, потому что может сначала сделать, а потом подумать и пожалеть о сделанном, потому что часто он не там и не с тем, с кем находится в эту минуту, а где-то: может, в глубине себя, или со своими героями, или в местах, куда в этот момент устремилась его душа...

В 2018 году мы прилетели в Омск на юбилей театра «Глас», поставившего замечательный спектакль «Во всю Ивановскую» по произведениям Крупина, горячо принятый не только в Омске и в Москве, но и во Франции, куда в хорошие времена дружбы народов театр был приглашен. Где бы мы ни были, муж рано просыпается и бежит знакомиться с городом или новым местом. Так и здесь. Проходит время, звонит в номер: «Глянь в окошко!» Подхожу и вижу на свежем снегу крупно вытопанное его ногами слово «НАДЯ» и его, уже за оградой, улыбающегося и машущего мне руками...

Но снова вернёмся в 1964 год. Минуло две или три недели сентября. По давней традиции второй курс откомандировали на уборку картошки. Мне пришлось ехать с тремя учебниками по предметам, которые на вечернем еще не читали. Среди этих предметов самым сложным была для меня диалектология. Перешедшие со мною с вечернего две мои сокурсницы были от колхоза освобождены, так как деканат счел, что досдать в короткое время три дисциплины, целый месяц с утра до вечера работая в колхозе, нереально, и оставил моих подруг в Москве. Мысль освободиться от колхоза в мою голову не пришла, и я поехала в Подмосковье, ничуть потом не жалея об этом. Да, девчонки ложились спать после вечернего костра, а я еще корпела над учебниками. Но я хорошо узнала своих новых товарищей и полюбила их за прекрасные туристические, а вернее сказать, романтические нежные песни, которые для них были новыми, а для меня любимыми и дорогими: дружный класс, в котором я училась, водил в походы мой старший брат — мастер спорта по горному туризму. Он не только учил нас ставить палатки и экономно расходовать спички при розжиге костра, переходить реку, не опасаясь упасть в нее, и заваривать чай собранными травами, но и заразил меня и моих одноклассников любовью к авторской песне, которую мы сохранили до сей поры. И уже совсем скоро мы пели вместе песню Александра Городницкого о красивой стране, так напоминающей родную, но несравнимую с нашей:

*Над Канадой небо синее,
Меж берез дожди косые...
Хоть похоже на Россию,
Только все же не Россия...*

В один из вечеров под звездным небом у тихо говорящего костра мне вспомнилась замечательная «Зимняя сказка» Сергея Крылова, написанная всего год назад, в 1963. Как же она всем понравилась!

*Когда зимний вечер уснет тихим сном,
Сосульками ветер звенит за окном,
Луна потихоньку из снега встает
И желтым цыпленком по небу плывет.*

*А в окна струится сиреневый свет,
На хвою ложится серебряный снег.
И, словно снежинки, в ночной тишине
Хорошие сны прилетают ко мне.*

*Ах, что вы хотите, хорошие сны?
Вы мне расскажите о тропах лесных,*

*Где все словно в сказке, где — сказка сама —
Красавица русская, бродит зима.*

*Но что это? Холод на землю упал,
И небо погасло, как синий кристалл,
То желтый цыпленок, что в небе гулял,
Все белые звезды, как зерна, склевал.*

Полюбилась моим друзьям и новая, только что зазвучавшая песня Юрия Визбора «Ты у меня одна». Все мы мечтали о верной и большой любви, и эта песня выражала надежды каждой из нас услышать о себе такие слова:

*Ты у меня одна,
Словно в ночи луна,
Словно в году весна,
Словно в степи сосна.
Нету другой такой
Ни за какой рекой,
Ни за туманами,
Дальними странами...*

Наверное, покажусь наивной, но я уверена, что те, кто поет и слушает такие теплые, сердечные песни, не могут стать злыми, мстительными, завистливыми. Они добры, искренни, они надежные друзья и умеют любить.

В один из дней к нам в качестве проверяющих приехали преподаватель старославянского языка, любимый всеми Георгий Александрович Хабургаев, и Володя, парторг факультета. Георгий Александрович был весь день на виду. Строгий на лекциях, здесь после работы он, как мальчишка, гонял с парнями мяч, чем немало меня удивил. Владимира за день видела мельком только раз: с кем-то из ребят он проходил мимо нашего девичьего кружка у костра. Не знаю, правда это или выдумка, но позже он рассказывал, что взгляд его случайно задержался на мне и он спросил своего спутника: «Ой! Это кто?» — «Да это Надя. С вечернего пришла». Вопрос Крупина красноречиво свидетельствовал о том, что за месяц учебы он не обратил никакого внимания на «новенькую», и понятно: в это время сердце его было занято Элей, высокой красивой блондинкой, уверенной в себе и не сомневающейся в своей неотразимости. Как такую не полюбить?

Не буду рассказывать историю нашего движения навстречу друг другу. Об этом повесть «Прости, прощай...». Но два эпизода о том периоде вспомню. Кончились занятия, я уже собиралась к Курскому, когда подошла Эля: «Слушай, выручай! Я Крупину сегодня обещала встречу, а меня Романов с инфака уже ждет у входа. Задержи, пожалуйста, Володьку». Сказать ему, что она ушла с другим, не поворачивался язык: «Просила простить: что-то срочное». Так у меня оказался провожатый до Курского вокзала. Ну, проводил и проводил. Другой раз Эля жестко сказала ему, собравшемуся с группой однокурсников в подмосковный детский дом: «Выбирай! Или они, или я!» Крупин выбрал детей-сирот. И больше ей не звонил...

Институтская жизнь была очень насыщенной. На литобъединении «Родник», который посещали почти все парни нашего курса и куда приглашались все однокурсницы, услышала впервые Володиные стихи.

*В сорок седьмом году
Есть особенно было нечего.
В сорок седьмом году
Становились в очередь с вечера.*

*Хлеб давали по спискам мукой.
Раз на землю мешок уронили:
Нагребли на фанерку рукой
И по норме меня наделили.*

*Я тогда до всего не дорос,
Но уже и тогда был не слеп:
Отвернулась мама, чтоб слёз
не впитал суррогатный хлеб.*

*Это было давным-давно,
Как для вас немое кино.
Но с тех пор для меня все равно
Хлеб с землею — понятие одно.*

Мне понравились эти простые, искренние стихи, на них откликалось сердце. В их строках чувствовалось пережитое и осмысленное им самим, в них был сам автор, с его убеждениями и ценностями.

Очень люблю и другое юношеское стихотворение. Все в нем говорит мне о добром человеке, который умеет не только смотреть на мир, но и видеть его красоту, неповторимость, замечает в привычном что-то щемящее и трогательное и выражает свое чувство в необычных и запоминающихся образах.

*Апрель для зимы горек.
Вода проталины вымыла.
Поляна ладошку-пригорок
Из варежки снежной вынула.*

*Листок одеяльцем стелет.
Да разве сладись с ребенком?
На тоненькой ниточке-стебле
Мотает своей головенкой.*

*Расправила хрупкие плечи
Его двухнедельная участь.
Я старше его и крепче,
Но мне бы его живучесть.*

В это время Владимир провожал меня уже не до Курского вокзала, а ехал со мной до станции Депо, и мы шли через высоченный мост над множеством железнодорожных рельсов, пересекали Люблинскую улицу и оказывались у моего дома. Именно тогда услышала я стихи, обращенные ко мне.

*«Ой, ты, Люблино, ой, ты, Люблино!» —
День и ночь повторяю одно.*

*Ой, полюблено, ой, полюблено
Тополиное Люблино.*

*А в том Люблине приголублено
Тюлем забранное окно.
Поправляешь меня: «Да не Люблино!
Говори, как все: Люб — ли — но!»*

*А мне хочется, чтобы Люблино.
Пусть покажется это смешно —
Никогда не будет разлюблено
Тополиное Люблино.*

Договорились, что в день моего двадцатилетия попросим у родителей разрешения пожениться. Оба волновались. Мне казалось, что стук моего сердца был слышен всем. Благословение было получено.

*Уснуть бы, чтоб встать — как родиться!
И улыбнуться солнцу, и рассмеяться ветру —
И ты чтоб рядом!*

*И жить бы, как петь, как слушать!
Работать самозабвенно, учиться взахлеб и жадно —
И ты чтоб рядом!*

*А если ехать — как в сказку!
Чтоб поезда кричали, чтоб пароходы пели —
И ты чтоб рядом!..*

До свадьбы оставалось два месяца...

Уезжая в «Чайку» летом 1966 года, мы еще не знали, что нас уже трое. Володя был старшим вожатым огромного лагеря, а его надо было не только обежать несколько раз за день. Ежедневно три раза мы встречались в столовой, куда он забегал на несколько минут, ел на ходу, всегда торопился. Можно ли было назвать это встречами? Перекинемся несколькими словами, но уже кто-то, пионер или вожатый, тянет его за руку, и он снова бежит словно на пожар. Отработали смену, и стало очевидно, что оставаться в «Чайке» я больше не могу: каждое посещение столовой было для меня непереносимой пыткой. Суровые начальники нас с трудом отпустили. И мы уехали в Тамань к моим родственникам, где в детстве и юности я бывала каждое лето. Володя очень полюбил Тамань и говорил в шутку, что Лермонтов перешел ему дорогу, что после Михаила Юрьевича про Тамань не напишешь. Но рассказ «Песок в корабельных часах», несомненно, таманский, как и стихи:

*Тамань! Вёсла суши!
Тамань — вокруг ни души.
Хочу вас услышать, поэт!
Кричу — только эхо в ответ.*

Но более этих строк мне по душе другие.

*Милой женщине, рядом со мной под темнеющим небом стоящей,
Тихо сказал я: «Твои обнаженные плечи
Ветер вечерний, несущийся с гор, остужает.
Лучше вернемся, на звезды посмотрим с балкона».
«Зябну немного, — она отвечала, — но ветру я благодарна:
Он в детстве таманском далёком моем
Запах полыни из рук моих выкрал и в небе его сберегал.
А сегодня его возвращает.
Видишь, звезды поникли — полынь опустилась на землю».*

Наши родные жили на улице Пушкина у Покровской церкви. В Яблочный Спас Володя заспешил в храм. Как обрадовались, захлопотали станичные старушки, увидев молодого человека! Ведь это было время воинствующего атеизма. Вернулся он оттуда, одаренный виноградом, яблоками, грушами. Все это богатство добрые прихожанки сложили в большую наволочку. Любознательный мой муж на второй день встретился с бабушкой и пришел домой переполненный впечатлениями и с таким рассказом: оказывается, наша церковь выстроена в 1793 году на фундаменте античной. Необычная форма многоколонного храма напоминает корабль, плывущий в Царствие Небесное. Это первый храм на Таманском полуострове. Чтобы сохранить его от турок, жители засыпали его песком. Когда запорожцы их прогнали — раскопали. В нем молились Суворов, Лермонтов, Пушкин. Звонарем этого храма был выросший слепой мальчик, описанный Лермонтовым в повести «Тамань». Судьба храма, как было видно, потрясла и рассказчика, и нашу родню, и меня, и мою маму.

Спустя годы мы узнали, что наше бракосочетание свершилось в день иконы Козельшанской Божией Матери. А эта икона — одна из главных святынь Таманской церкви.

Как-то после сильного шторма мы достали из моря осколок разбитой амфоры с изображением виноградной лозы. В моем детстве и юности такие амфоры часто извлекали после прибоя целыми и сушили на высоком берегу археологи. С находкой решили зайти в музей. Я очень боялась, что ее у нас заберут. Научный сотрудник внимательно осмотрел нашу реликвию и вернул в мою ладонь: «Четвертый век до нашей эры». Мы онемели... Через минуту Володя торжественно изрек: «Между нами и мастером, изготовившим этот сосуд, двадцать четыре века!.. Вдумайся только!..»

Кто-то называет Володю счастливым: всегда жизнерадостен, никогда не жалуется. Но это слово никак не приложимо к его жизни. Верно будет назвать его счастливым человеком. Тендряков, Залыгин, Белов, Распутин видели его природное дарование, но видели и целеустремленность, неутомимость, верность своему отеческому направлению. В его жизни были настоящие испытания на выживание, терпение и смирение: неистовство цензуры, искалеченные сокращениями произведения, года без изданий книг, глухота критики. Да и сейчас многие произведения его не прочитаны, не замечены ею. И что же, падать духом? Не было такого никогда. По большому счету, несмотря ни на что, он счастливый человек. У него были настоящие учителя — книги, которые он читает всю жизнь, старшие товарищи-писатели, была настоящая мужская дружба с замечательными прозаиками и поэтами, были массовые тиражи, дававшие всем талантливым известность, преданные и верные читатели, следящие за его творчеством с первой книжки, сотни писем от них с живыми откликами на прочитанное.

Помню, какими счастливыми выходили мы из Центрального дома литераторов вместе с радующимся за Володю Тендряковым после бурного обсуждения его книги. Возбужденный, Владимир Федорович настаивал, чтобы мы поехали к нему отметить победу, по дороге взволнованно комментируя обсуждение. Дома он в картинках рисовал жене, красавице Наталье, все его перипетии. Он сам предложил Крупину написать предисловие к первой книге. В свое время С.П. Залыгин своей публикацией о творчестве Крупина в «Литгазете» снял табу не только на печатание его книг, но даже на упоминание его фамилии в перечислении с другими писателями. Разве все это не настоящее счастье? Да, он счастливый человек, не изменивший своей отроческой клятве стать русским писателем.

Все трудное все-таки преодолевалось. Родители помогать Владимиру не могли. Да ему и в голову это не приходило. Учился на дневном и все годы работал. Поженились — тоже жили трудно. Стипендия — 21 рубль. Когда родилась Катя, Володя сдавал на молочную кухню сцеженное мною молоко. Денежка за него нас выручала, а его прихода на кухню ждали пять мамочек.

В небольшой квартире жили мои родители, мы с маленькой дочкой и бабушка. На кооперативную квартиру занимали у родственников. Днем Володя работал на новом телевизионном канале, предшественнике канала «Культура», сначала редактором, потом сценаристом. Ночью в ванной, чтобы никого не разбудить, писал пьесы о Ван Гоге, Родене, Федотове, Баженове, Пластове. Выходные просиживал в Исторической библиотеке, для радио «Юность» сделал прекрасную передачу о древнерусской живописи «Белое, красное, золотое — цвета русские», интересными были и его передачи о Бахе, Скрябине. Это были годы такой интенсивной работы, такого внутреннего роста! Раздали все долги, переехали в почти пустую новую квартиру.

Помню, зимой приехали к нам из Керчи моя крестная с дочерью, моей двоюродной сестрой. В середине комнаты только стол и три стула. Мама достала нам настоящую дубовую бочку. О такой можно было только мечтать. Купили 100 килограммов капусты, 10 — моркови, соль и в шесть рук все засолили. Бабушка сшила на бочку стеганный чехол. Бочка эта несколько лет была нашей кормилицей. Её Володя описал в рассказе, так и названном: «Бочка».

Из зарплаты платили за квартиру, детский сад, музыкальные занятия. Почти ничего не оставалось. Были у нас годы бедности и непечатания. Помогали выйти из положения лекции в обществе «Знание». В районе, где мы жили, было много строительных организаций, автобаз, славился на всю страну огромный литейно-механический завод. И все организации заботились о культурном росте своих сотрудников. Сколько интересных и увлекательных рассказов о классике, современных писателях, литературной Москве мы поведали простым рабочим людям, приходившим нас послушать в обеденный перерыв. Помню курьезный случай в строительном тресте, сотрудников которого созвали на лекцию о Блоке. Народ ждал лекции о новых видах блоков, применяемых в современном строительстве. А я пришла с совсем другим. Разочарование, написанное на лицах слушателей, развеял сам поэт: любимое мое стихотворение «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», прочитанное от всей души, и вдохновенный рассказ о том, что оно о каждом из нас, вызвали неподдельный интерес слушателей, и в конце встречи я получила приглашение приходить еще.

За «лекцию» платили 6 рублей 40 копеек. Выходя из ворот завода или из швейного цеха, мы чувствовали себя богатыми людьми. Тогда это была большая сумма,

просто спасительная: десяток яиц или свежих, сочных котлет Микояновского завода стоил 90 копеек, батон вкуснейшего хлеба — 13 копеек, масло — 2 рубля 70 копеек килограмм. Если один из нас приходил с продуктами, он осчастливливал семью.

Я работала в школе допоздна. Тогда ребята не мчались после уроков, как сейчас, к репетиторам и на курсы, их и в школе хорошо готовили к вступительным экзаменам. Почти все после занятий собирались в кабинете литературы. Вместе думали, какой бы спектакль новый поставить, куда сходить в поход, что из вышедшего в журналах обсудить на уроке. В нашем новом микрорайоне тогда не было даже кинотеатра. Каким-то невероятным образом округа узнавала, что в 773-й школе десятый класс будет показывать что-то новое. Зал в день премьеры заполнялся до отказа: кто-то стоял, кто-то сидел на полу вдоль стенок. Все местные хулиганы тоже были тут. Я нервничала, боясь их сюрпризов. Но надо было видеть притихший зал, это замирание зрителей, когда перед ними оживали рассказы Шукшина, или в песнях и стихах разворачивалась судьба Николая Рубцова, когда весь мой класс накануне 9 Мая показывал литературно-музыкальную композицию о войне, разыгрывая сцены из прочитанных и полюбившихся нам книг Астафьева, Курочкина, Е. Носова, Богомолова, Бондарева, Быкова, Васильева. И всегда в такие дни был с нами и Володя, для моих ребят Владимир Николаевич. Он ездил с нами в Мелихово, Ясную Поляну, Шахматово. Когда я поступила в аспирантуру, муж три года до моей защиты проводил за меня уроки литературы. Добрая душа, он, конечно, очень отличался от строгой жены-учительницы. Программа осуществлялась, но он каким-то образом находил время и заразил «моих» детей древнерусской литературой, былинами, пословицами и поговорками, рассказывал о Голубиной книге, русской свадьбе, читал отрывки из «Лада» и «Бухтин» Белова и рассказы Шукшина, Астафьева, Е. Носова. На выпускном вечере мы были у них вместе. И до сих пор с нашими бывшими учениками, уже тоже ставшими бабушками и дедушками, мы поддерживаем связь. Когда мы ведем передачи на радио «Радонеж», они звонят на прямую линию, говорят добрые слова и пересылают своим одноклассникам ссылки на наши передачи.

В десятилетие полного непечатания (1991–2001), когда не вышла ни одна книга и денег катастрофически не хватало, помогли две сослуживицы по предыдущей Володиной работе в издательстве «Современник», прекрасные молодые женщины, настоящие товарищи, не раз выручавшие нашу семью. Они служили уже в Госкомиздате, куда поступали планы издательств со всего Советского Союза. На планы эти надо было писать рецензии. Огромное количество папок, высотой выше стола, содержали тысячи наименований книг и фамилий. Надо было не только перечитать тысячи страниц, но и оценить заявленную к печати книжную продукцию. Не представляю, как с этим можно было справиться, сколько сведений держать в голове. Но Володя справлялся с этой, на мой взгляд, невыполнимой работой. Им были очень довольны, был доволен и он: каторжный труд оценивался достойно, и какое-то время мы могли жить нормально.

Бывали дни, когда мы искали в карманах хотя бы пятак: на него можно было купить четвертинку хлеба. В трудные периоды жизни спасал Валя Распутин. Он приходил и оставлял незаметно для нас, под книгой или журналом, деньги. Потом звонил и говорил, где мы можем их найти. Когда сгорел родительский дом в Кильмези, очень помог Василий Иванович Белов, прислав солидную сумму. И тот и другой категорически отказывались принять от нас деньги, когда появлялась возможность их вернуть.

В 1990–1993 годах Володя работал главным редактором журнала «Москва». Я стала главным редактором журнала «Литература в школе» двумя годами раньше. Работа эта, с одной стороны, очень ответственная, напряженная и нервная. Очень тяжело отказывать авторам. С другой — какая радость опубликовать талантливое произведение или статью, открыть новое имя, развернуть дискуссию по самым злободневным и острым вопросам жизни! Но стало понятно, что о своем литературном труде придется забыть. Володя читал все: поэзию, прозу, публицистику, критику. Чтение рукописей, даже при его способности читать быстро, занимало день и ночь. Они не иссякали, что не могло не радовать редакцию. Но отнимали здоровье и силы, что очень меня огорчало. Когда из редакции позвонили и сказали, что мужу вызвали скорую (держась за стенку, он опустился на пол и потерял сознание), я кинулась на Арбат. Он уже пришел в себя, был очень бледен. Врачи сказали: сосуды. Мне было ясно: работу ему надо бросать не только из-за здоровья, но и потому, что, останься он в журнале, на себе как на писателе надо поставить крест. Через какое-то время мы пригласили к себе Леонида Ивановича Бородина, он работал тогда в отделе прозы, и долго уговаривали его сменить Володю на посту главного редактора. В конце концов он сдался. Но с оговоркой: на два года. Не более. Главным он остался до конца жизни...

Хоть немного скажу о премиях. В отсутствие мужа позвонил Игорь Петрович Золотусский. «Надя, уговорите Володю участвовать в конкурсе „Ясная Поляна“. Я его очень поддерживаю, он заслуживает награды за вклад в русскую литературу». Поговорить я обещала, но была уверена в неосуществимости этого дела. Убеждала, что это почетно, что за него такой уважаемый человек, говорила, что нельзя из-за взглядов Толстого, которые ты не разделяешь, отрицать его величие как писателя, что это, в конце концов, поправит и наши материальные дела. Все было напрасно. Он отказался от престижной Толстовской премии, разделяя точку зрения праведного Иоанна Кронштадтского на учение Толстого, а потом отказывался и от других.

Но не отказался от участия в конкурсе на Патриаршую литературную премию, которая впервые была присуждена в 2011 году. Как раз тогда, когда сгорел дом его детства и юности в Кильмези, где он родился. Шли на церемонию вместе в цветущий майский день. Я знала, что он подал заявление на участие с рекомендациями нескольких епархий. Не знаю почему, но сказала: «Ты иллюзий не строй и не надейся. Ни за что тебе эту премию не дадут». Патриаршую премию вручали в Зале соборов храма Христа Спасителя, потолок которого напоминал высокое звездное небо. Когда Святейший Патриарх Кирилл объявил первого лауреата, моего мужа, переполненный зал встал в едином порыве. Я была ошеломлена. А Володя и сказать не смог ничего торжественного. Только: «Спасибо. Я очень благодарен. У меня дом на родине сгорел, хочу его восстановить и открыть музей православной культуры... Поэтому деньги очень нужны...» Патриарх засмеялся и благословил раба Божия Владимира.

Не отпускали меня все эти дни воспоминания; будили ночью уже ушедшие, но живые в моем сердце люди: родители, учителя и преподаватели, друзья... Вставляли перед глазами места, где мы бывали вместе...

На что уходила его жизнь? Только не на себя. Журнал «Москва» при нем соединил вечные вопросы современности и Православие, и сейчас выходит приложение «Благодатный огонь», созданное тогда, но уже не отдельным изданием, а внутри большого журнала. Он был среди организаторов борьбы с богоборческим

планом поворота северных рек на юг, участником международного Байкальского движения за сохранность запасов пресных вод на планете, за возрождение храма Казанской иконы Божией Матери на Красной площади, за восстановление Страстного монастыря. Много лет он ежегодно участвовал в Великорецком крестном ходе, который неоднократно описывал. Горячее участие его в работе первого Совета по восстановлению храма Христа Спасителя вместе с В.А. Солоухиным, В.Г. Распутиным, Ю.В. Свиридовым, художником В. Мокроусовым отмечено на мемориальной доске в алтаре храма. Он проводил многолюдные вечера по защите природы в Центральном доме литераторов. Обо всем не расскажешь.

Но хотя бы кратко упомяну незабываемое. Прежде всего Святую землю. Володя был там двенадцать раз. И всегда ходил босиком. Исходил ее всю, много писал о ней. Я была дважды, и с ним. И с ним стала свидетельницей схождения Благодатного огня. Фонд апостола Андрея Первозванного разработал программу доставки Огня в Москву, а наш сын Володя (у нас и внук Володя) был одним из исполнителей этой программы. Мужу моему было дано от священноначалия благословение написать молитву о мире в Святой земле, читаемую тогда, во время войны Израиля с Палестиной, во всех православных храмах России и зарубежья.

Навсегда сохранились в моем сердце часы и минуты, когда мы стояли на коленях перед последним земным ложем Спасителя в Кувуклии огромного храма Воскресения Христова. Договорились, что, ожидая схождения Огня, каждый из нас постарается вспомнить как можно больше людей, помянет всех живых и ушедших, связанных с нашей жизнью. Боялась не успеть. Трудно было сосредоточиться: гремели барабаны, раздавались громкие возгласы, скандирования. Арабы взгромождались на плечи друг другу, как Захария в Иерихоне на дерево, чтобы увидеть Господа, являемого в схождении Огня. Последние минуты кажутся невыносимо длинными. Но всё и все замирают, когда Патриарх Иерусалимский входит в Кувуклию. Наверное, всем, как и нам, кажется, что если не будет Огня, то это именно по его грехам. Страшно. Но вот вспыхивает Огонь, зажигающий пучки подставленных свечей, яркий свет заполняет все пространство. Все ликуют. Мой супруг окунает в него лицо, бороду, водит им по волосам и радуется, как все здесь. Я не смогла даже руками его потрогать. «Давай, давай! Не бойся!» — подбадривал он меня. Но я не смогла. Стыд мучает меня и сейчас, когда я пишу эти строки. Стыд за маловерие и горькое сожаление о том, что у меня уже не будет такого случая.

Незабываемая Святая земля... Мы были на самой вершине Сорокадневной горы. Погружались в Иордан. И с палестинской стороны, и с иорданской. В Иордании посетили чудо света — незабываемый город Петру, вырубленный в камнях. Были в монастыре Святого Георгия Хозевита. Трудная дорога. Сын настаивал, чтобы я села на ослика. Но мне казалось, что ему, такому маленькому, будет тяжело, и я наотрез отказалась. Жалеющие, переживающие за меня оба Владимира не отпускали погонщика с осликом, надеясь, что, уставшая, я все же им воспользуюсь. Но нет. Было хорошо и мне, и ослику, ощущавшему на своей голове на протяжении всей дороги тепло моей руки.

Неоднократно Володя был и на Святой горе Афон. Вместе с кинооператором и фотографом Анатолием Заболоцким они издали книгу «Афон. Стояние в молитве».

И как умолчать о паломничестве в Грецию и Италию? Володя описал его в книге «Записки счастливых дней». Говорящее название.

В Бари нас вначале не пускали к мощам святителя Николая. Огорченные, мы

пришли на берег моря и прочли акафист любимому русскому святому. И снова помогла общая молитва. Вернулись к храму — и чудесным образом пред нами распахнулись двери.

А сколько ездили мы по нашей любимой России! Бывали и в Северной Пальмире, и на Алтае, на днях памяти Василия Макаровича Шукшина, и в Красноярске, на 60-летнем юбилее Виктора Петровича Астафьева. Встречает нас и при всех сообщает: «Люблю Вовку, а Надьку больше». Каково?

Из иркутских впечатлений больше всего запомнилась поездка на Ольхон. В делегации были и Валя Распутин, Станислав Куняев и Виктор Потанин. Незабываемая поездка! Тихий песчаный остров с высокими, величественными соснами. Так хорошо, спокойно на душе. Здесь, под высоким небом, казалось, не страшно умереть. На Ольхоне Куняев объявил, что надо обязательно окунуться в Байкал. «Кто со мной?» А осень, холодно. Сибиряки Потанин и Распутин уговаривали отказаться от такого безумного решения, и я пыталась их отговорить. Но муж мой, вятский человек, не захотел уступить калужанину, и погружение в «славное море, священный Байкал» произошло.

В глубине веры своего супруга я не сомневалась никогда. Где бы он ни был: дома, на даче, в гостях, поезде, самолете, в другом городе — утром и вечером при любых условиях будут прочитаны утреннее и вечернее правило, в субботу он обязательно будет на исповеди и вечерней службе, в воскресенье, день малой Пасхи, всегда на ранней литургии и причастии. Стоит только опечалиться, он зажигает свечку, приносит акафистник и зовет: «Давай помолимся». Было время, когда я ждала не молитвы, а его слова, его руки на моем плече. Но время непонимания смысла простых слов «давай помолимся» давно прошло. Общая горячая молитва, я уверена, спасла мою маму от жестокого приговора врачей и продлила ее жизнь на 12 лет. Уже все вместе мы ходили в храм. Она прожила 98 лет. Своего мужа я бы назвала заслуженным зятем России. Он дружил с моей мамой, ценил ее юмор, умение починить все, от телефона до утюга и электричества, находить простые решения сложных для нас бытовых вопросов, восхищался тем, что ее никогда нельзя было застать без дела. Последние три года до ее смерти, когда я тянула свой журнал практически одна, будучи и курьером, и секретарем, и художником, и техредом, Володе пришлось быть с уже очень больной мамой целыми днями и взять на себя все дневные заботы о ней. Маленькая, тихая, мама была неприветлива, и Володе удавалось даже работать. Что-то большое не затевал, но Прасковье Александровне, как он сам говорил, обязан многими «крупинками». Войду тихо в дом, они сидят на кухне: Володя за компьютером, мама напротив, смотрит на него. Оба рады моему приходу...

Наша совместная молитва от сердца, просьба моего мужа ко всем православным друзьям и знакомым, переданная во многие города и села, даже в разные страны, по нашему убеждению, вернула к жизни любимого внука, жизнь которого в шестнадцать лет висела на волоске.

Да, и на прощание — о Вятке. Володя всю жизнь бьется, чтобы вернуть городу Кирову прекрасное имя Вятка. Мне больно наблюдать за этой битвой, на которую безрезультатно ушли годы и так много сил. Уже нет города Горького — есть Нижний Новгород, нет Куйбышева — ему возвращено прежнее название Самара, нет Свердловска — он называется, как прежде, Екатеринбург, нет Молотова — есть Пермь. А что же Киров?.. Прошу мужа успокоиться и отступить, не наживать себе врагов. Но примет ли он такое?

Уже ставила точку, но вспомнился 1974 год. Вышла первая Володина книга «Зёрна». Какими мы были счастливыми, когда узнали об этом! Небольшая, скромная книжечка в матерчатых обложках разного цвета: черного, фиолетового, зеленого, белого. Володя помчался в издательство взять хоть один экземпляр, и мы встретились в центре, на площади Революции, и пошли в Александровский сад, сели на скамейку и в тишине рассматривали и листали это первое его детище. Не хотелось никуда торопиться, хотелось всех любить и всем рассказывать о нашей радости. Но мы молчали. Нам просто было хорошо. Володя взглянул на небо и, обернувшись ко мне, тихо произнес: «Посмотри... Журавли...» Нам казалось, что именно над нами, а не над огромной многомиллионной Москвой летят два журавля. Два — как знак любви и верности. Как добрый знак судьбы.

Жизнь моя, жизнь моя, что ты так быстро пронеслась и что так неостановимо летишь и теперь? Не я — крылья, это жизнь наша — крылья, недавно сильные и дерзкие, теперь уже не такие крепкие, но еще ищущие ветер...

Возвращусь к началу моего повествования. Да, я, конечно, не жена-крылья. Мало помогала мужу, очень много работала; но, как и он, я любила свое дело; как и для него, оно было для меня служением. И мне хочется верить, что мы делали общее дело, и любовь у нас общая: к матерям и отцам, братьям, сестрам, родному дому, детям и внукам, к своему Отечеству. Если все-таки находить сравнение, сравнила бы себя с той никому почти не видимой страховкой, которая крепится к поясу канатоходца, придает ему уверенность и не дает разбиться, даже если он упадет, или со спасательным кругом, который удержит на плаву и поможет достичь берега... А еще — с Коньком-Горбунком, который всегда в нужную минуту оказывался рядом со своим Иванушкой...

Ночь прошла. Легла почти под утро и почти не спала, думала, лежала тихо, чтобы не разбудить Володю. И вдруг слышу: «Надечка! Я Евангелие дня и Псалтирь прочел. Буду сейчас читать утреннее правило. Придешь?»

И я тороплюсь на этот родной голос. И мы, сменяя друг друга, читаем утренние молитвы, молимся за детей, внуков, друзей, родных, близких и дальних, за духовных отцов, о знакомых батюшках и матушках, за наше Отечество и воинство его, о всех прежде почивших отцах, братьях и сестрах наших и начинаем вместе наступивший, подаренный нам Господом новый день, стараясь прожить его, никого не огорчая, никого не смущая, во славу Твою, Господи...

ОЛЬГА СОБОЛЕВА

Дети и отцы

Недавняя премьера Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова по знаменитому роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» вызвала немало споров. В одном широкая публика, как и завзятые театралы, единодушны: спектакль, несомненно, стал событием не только в масштабах нашего города.



Смотреть и видеть

К концу пятидесятых годов XIX в. популярность И.С. Тургенева уже на вершине. Общество (особенно дамское) перечитывает по несколько раз «Дворянское гнездо». Не прекращаются споры о «Рудине». Повести и рассказы известны, читаемы, признаны в литературном мире. И вот, он пишет «Отцы и дети», вызывая шквал разноречивых мнений. Особенно негодуют его постоянные почитатели, разочарованные тем, что автор изменил своему лирическому дару, и вместо увлекательных историй о любви обратился к скучным рассуждениям и утомительным дискуссиям. Но оставим мнения публики. Вот что пишет критик М.А. Антонович: «Вы забываете, что перед вами лежит роман талантливого художника, и воображаете, что вы читаете морально-философский трактат, но плохой и поверхностный». Л.Н. Толстой сразу после прочтения делится в письме П.А. Плетневу: «...он (роман — авт.) холоден, что не годится для Тургеневского дарования. Всё умно, всё тонко, всё художественно, я соглашусь с вами, многое назидательно и справедливо, но нет ни одной страницы, которая бы была написана одним почерком с замираньем сердца, и потому нет ни одной страницы, которая бы брала за душу».

Делаю это отступление в историю литературного процесса намеренно. После спектакля Андрея Шляпина неотвязно возвращаются вопросы: отчего же так категоричны современники, и отчего Тургенев, вопреки ожиданиям общества, ведет разговор в неожиданной манере? И главный — может, смотрели, но не увидели, читали, но до главного, до сути не дочитались?

На афише театра деликатно обозначено: «по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». Называется предлагаемое действие иначе — «Дети», а чтоб не ошибиться о чем речь пойдет, предлагается изображение голубоглазого карапуза в виде куклы. Первое впечатление от сценографического образа, предложенного театром, также из категории «неузнаваемого» Тургенева: черные и серые тона декораций, которые хороши были бы для пояснений про кубы и прямые углы на уроке геометрии. Все не то, что помнится из школьных уроков литературы, не так, как романы русского классика предстали на киноэкране.

С первых же картин понимаешь, что режиссер спектакля Андрей Шляпин и художник Александр Плинт этого и добивались. Они не следуют привычной наезженной колеей воплощений прозы Тургенева, а представляют свой взгляд на героев, не доверяя устоявшимся мнениям. Они предлагают, размышляя над каждой страницей, попытаться не поверхностно, на уровне сюжетных подсказок, войти в события трагической истории романа. Эти предложения настолько очевидно оформлены приемами художественных решений, что зритель не может не двигаться вслед за идеями создателей данной версии прочтения.

Геометрия и графика

Черные кубы и гигантским крестом разделяющие сцену подиумы, на которых происходит все основное действие, обращаются в мир, расцвеченный по воле каждого персонажа. На черном, как известно, белый сияет с большей силой, и световой луч, самый незначительный, наполняется энергией, раздвигающей потемки. Соотнесение черного и белого, света проникающего и стоячей серости на сцене захватывает драматической гармонией, сродни музыкальной (художник по свету С. Насонова).

Все произносимое вслух, любое перемещение в сценическом пространстве, рисунок мизансценирования точны, выверены. Тем самым режиссер открывает возможность проникнуть в неочевидное. Сцена чаепития в доме Кирсановых выстроена как «перекрестный допрос». В незначительной, по сути, беседе (повторяются модные в обществе темы) вслух не говорится ничего, что действительно волнует каждого из героев. Базарову скучно вести светские разговоры. Аркадию неловко за отца. Кирсанов — отец занят мыслями об объяснении с сыном. Павел Кирсанов раздражен присутствием гостя несоответствующего социального статуса. Режиссер усаживает собеседников так, что они разделены и противостоят друг другу на разных направлениях пересекающихся подиумов. Единственное, что объединяет этих мужчин — внутренний монолог каждого с Фенечкой — ее фигурка мечется на перекрестке в центре.

В усадьбе Одинцовой, кажется, даже воздух, нисходящий в зал, пропитан иронией. Диалог между Базаровым и Одинцовой звучит в записи и вновь смысла никакого для героев не имеет. В новой игре, которую выдумывает от скуки Одинцова, соблазняя Базарова, слова ни к чему. Получая от женщины яблоко (вечная история), молодой человек вкушает его, и провозглашенные им рациональные принципы взаимоотношений с представительницами противоположного пола перестают работать. Мизансцены, словно оживающие картины необарокко, в них позы персонажей утрированы, вычурны. Они, как и все выдуманное помещицей правила, неестественны.



Решение режиссером образа Кати (арт. Е. Константинова) представлено с той парадоксальностью сценического существования, в каком пребывает в реальных обстоятельствах этого дома героиня. Старшая сестра — хозяйка всего — уделила ей внимания и места не больше, чем породистой собаке. С первого нелепого появления затравленной Кати очевид-

на отведенная ей роль: она — механическая часть фортепьяно, которое Одинцова по капризу заводит или велит выключить. Эмоции, бурлящие в душе девушки, в полной мере раскрываются в ее игре на инструменте. Фортепьянное исполнение Шопена — неожиданная фантасмагория. Звуки музыки материализуются в снежную бурю, сносящую Аркадия. Особенная привлекательность сцены в том, что режиссерские преобразования действия не утрачивают ироничного привкуса. Толпа в окружении Одинцовой напоминает вырезанные из картона фигурки, которых может довести до обморока хруст свежего яблока.

Геометрическая строгость линий, организующая сценическое пространство, прочитывается не только как сценографический образ. Гигантский крест занимает всю сцену, и его линии определяют места столкновения миропониманий. Персонажи «мечутся на кресте» в духовной борьбе — искушениях, раскаяниях, поиске надежды и веры.

Литература и физика

Невероятно труден переход повести в сценическое действие. Понимая, что большая часть прозаического материала должна была утратиться, после просмотра с удивлением испытываешь ощущение полноты прочитанного. Текст сохранен предельно бережно не в количестве, а в главных смысловых акцентах. Реплики персонажей — вехи, по которым вслушиваешься внимательнее. И открываются новые детали, не замеченные раньше при чтении, но значимые.

Две встречи сыновей с отцами, два разговора: в доме Кирсановых, а затем в доме Базаровых. Ничего, кажется, в них не совпадает — характеры, взаимоотношения, задаваемые вопросы разные. Но есть общая тема. Аркадий сожалеет, что прекрасного леса кирсановского имения уж нет, отец пустил его под топор. А Василий Иванович Базаров с детской радостью сообщает сыну, как выросли деревья в саду. И горшок с цветком, который приносит для сына Федосья Николаевна, надолго остается нелепым зеленым пятном в руках у Базарова. Максимализм отрицания, которым страдает главный герой, на фоне естественных сил жизни растущего сада жалок. Никакой оригинальной философской теории здесь не требуется: кто-то сажает сад, другие рубят деревья. Чехов еще обратит нас к этой существующей и сегодня проблеме, всматриваясь в хватких, рациональных выгодоприобретателей.

Создатели спектакля настаивают на литературном происхождении истории. Периодически перелистываются на огромных стенных проемах, подобно афишам, названия глав. Напоминание о движении событий? Нет, скорее о первородности смысла, заключенного в слове. Модная молодежная компания, увидев Базарова, восторженно шумит, но слов не разобрать. И на балу пространство наполнено звоном эмоциональных реплик. В этом гомоне Базарова цепляет речь Одинцовой, разумная и холодная.

Среди звуков, идущих со сцены, есть не сразу различимый и узнаваемый. Постепенно зритель замечает, что на перекрестье подиумных площадок под ногами персонажей шуршит галька. «Белый шум» — нечто неопределенное, мешающее, неудобное, не позволяющее успокоиться, отстраниться от происходящего, отвлечься ни актерам на сцене, ни публике за рампой.

Еще один сценический прием, соотносящий действие с книгой — иллюзия плоскостного изображения. Толпа массовки в некоторые моменты замирает в черно-серой картине полиграфического оформления книжной страницы. Это даже не иллюстрации, красочно и эффектно дополняющие содержание книги. Персонажи как рисунки на полях, вспомогательные рамочки, линейки, уголки.

Учителя и подростки

Посвятив свой роман «неистовому Виссариону», как считали современники и повторяют несколько поколений критиков, Тургенев отразил устремления молодого поколения, переживающего переход к новой России. И вроде бы, действительно свежи и деятельны эти молодые люди, взявшие идеалами своей жизни превосходство полезного над прекрасным, жесткую бескомпромиссность, отсутствие преклонения перед авторитетами. Как все узнаваемо. Только масштабы иные, и названия изменились. Переустройство жизни в нынешний момент истории катится штормовой волной по всей планете. А то, что называлось «нигилизмом», отличается от «культуры отмены» только размахом уничтожения. Но романиста привлекают не глобальные процессы, а состояние души конкретного человека. В 1860 г. Тургенев произносит речь о Гамлете и Дон Кихоте. Рассуждая о молодом поколении, подчеркивает: «Всем 18-летним юношам знакомы подобные чувства: «То кровь кипит, то сил избыток».

Николай Стрельченко (Евгений Базаров) в этом спектакле наполнен той притягательной энергией, которая держит зрителя, после просмотра возвращая к размышлениям о трагическом герое. Артист выбирает сдержанность во всем — пластическом рисунке образа, особенности речи, точности взаимоотношений с партнерами. Стрельченко проживает судьбу обреченного одиночества, в то же время наполняя каждый жест, любую реплику своего героя скрытой энергией. Он внешне не демонстрирует яркости эмоций, но сила переживаний Базарова, еще не понятая и не осознанная им самим, мучительна, пронзительна. Артем Фальковский (Аркадий Кирсанов) находит для своего персонажа иные краски. Аркадий в спектакле — зеркальное отражение Евгения: он ценит дружбу, увлеченно следует за Базаровым, копируя его, в то же время чувствителен, ищет любви. Юношеские порывы следовать за кумиром, буквально копируя его, артист передает с легкой иронией, которая окутывает образ флером наивной трогательности.

Испытание любовью касается не только главных героев. Кирсановы-старшие — и

отец, и дядя Аркадия также в сомнениях между сердечными порывами и доводами разума. Артем Довгопольй (Николай Кирсанов) сутуловатую осанку, виновато-предупредительные интонации меняет на уверенность в движениях только наедине с сыном и Фенечкой (Алена Бочкарева, Ольга Гарагуля), взаимоотношения с которой для него приятны как игра на музыкальном инструменте. Может быть, на виолончели. Режиссер буквально иллюстрирует эту ассоциацию, обнажая и страсть, и неловкость персонажей. Выпрямленная по-военному спина Сергея Кашуцкого (Павел Кирсанов), застегнутый на все пуговицы сюртук для его героя — выражение не удобства, не силы, а слабости.

Отсутствие любовных сцен и разговоров в спектакле повышает внутренний градус напряжения, которое взрывается отчаянным криком признания в любви Базарова. Разряды, возникающие между героями, простреливают и в зал. В подтверждение тому — не проходящее внимание к действию, хотя длится оно более трех часов.

Общаясь с журналистами, режиссер А. Шляпин сказал о спектакле: «Там наличествуют признаки всех проявлений подростковой драмы — два человека, еще не определившихся в жизни, выбирают свои дороги, и одним из переломных испытаний является любовь». Подростки — все они, герои этой истории, заново прочитанной иркутским драмтеатром. И все мы, нуждающиеся в сочувствии, понимании, любви.

Как проникали в зрителей разряды от столкновений мыслей и чувств мятущихся героев, так, еще с большей силой распространяется тепло и добрый сердечный трепет, когда появляются родители Базарова. Наталья Королева и Николай Дубаков деликатно, оставаясь не на первом плане, занимают весь объем действия и все эмоциональное пространство. Особенная бережная любовь, всеобъемлющая и ничего не требующая взамен, явлена и уже не покидает нас и в те моменты, которые не связаны со стариками Базаровыми. Оттого окутывают Катю и Аркадия белые цветы нежности, оттого сносит в разные стороны их лепестки бурный спор главных героев. Наконец, оттого Одинцова появляется в бредовом сознании умирающего Базарова в подвенечном кипенно-белом наряде. Явлена безусловная любовь. Бесценный дар от стариков Базаровых передают и два персонажа, чье эпизодическое появление становится знаковым. Андрей Винокуров и Елена Мазуренко (слуги Тимофеич и Анфиса), сопровождающие героя в последние минуты, словно притчу произносят.

Умирающий Базаров, наконец, облегченно вздыхает, когда его босые ноги ступают на зеленую траву. В том самом чемодане, куда с настойчивостью на протяжении всего действия он нагребал камни, и объяснял, что пустоту надо заполнять везде, и в душе, в том самом чемодане прорастает кричащей зеленью клочок травы. Финал длится, не позволяя отвернуться от тихой печали вечного прощания. Появляется над могильным холмиком крест, начертание которого угадывалось в расположении декорации с самого начала. В последней картине действия появляется малыш и поднимает голову к светлому лучу.

Но вдруг, в какой-то момент обнаруживаешь посторонние звуки, мешающие прожить этот финал. Иностраным, противоречащим эстетике спектакля оказывается стихотворение Е. Евтушенко. Поэтическая молитва, размноженная в поп-музыке, на эстраде прижилась, вот и оставить бы ее там для любителей.

Закончить разговор хочу словами И.С. Тургенева: «Все минется, — сказал апостол, — одна любовь останется». Нам нечего прибавлять после этих слов».

Книжная полка



Писатели Иркутской области начала XXI века. 2000–2021 : справочник-хрестоматия : в 2 т. / [составители С. В. Зубакова, М.А. Живетьев]. — Иркутск : Сибирская книга, 2022. : фот.

Справочник-хрестоматия «Писатели Иркутской области начала XXI века. 2000–2021» содержит сведения о членах писательских союзов и входящих в них организаций, действующих в 2000–2021 годы в городе Иркутске и области. Издание ставит своей целью осветить творчество писателей на рубеже и в начале нового века, включая тех, кто совсем недавно пришел в литературу и вступил в профессиональный писательский союз. Справочник включает в себя краткие биографические сведения, они сопровождаются фотопортретами и произведениями (или отрывками из них), дающими представление о творчестве того или иного автора. Биографии дополнены библиографией, отражающей наиболее значительные публикации писателей, а также материалы о их жизни и творчестве. Издание носит справочно-информационный характер и адресовано преподавателям литературы, библиотекарям, школьникам, студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся творчеством писателей Иркутской области.





На станции загадочность... : Проза, стихи, критика и публицистика финалистов литературной конференции «Молодость. Творчество. Современность» — 2022. — Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев А. К.), 2022. — 192 с.

В итоговый сборник включены произведения финалистов и победителей областной литературной конференции «Молодость. Творчество. Современность», проводившейся в Иркутске 22–24 ноября 2022 г. С момента проведения предыдущей конференции прошло четыре года. За это время на литературном небосклоне появились новые звёздочки. Восточная Сибирь всегда была богата талантами. Эта традиция не прерывается уже много лет. В настоящем сборнике взыскатель-

ный читатель найдёт и напряжённую мысль, и смелый полёт фантазии, и отточенный стиль. Нет в нём лишь равнодушия и серости.

Мирошников, А.Г.

Простые вещи : [стихи]. — Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 2023. — 128 с.

В шестой поэтический сборник члена СП России Андрея Мирошникова вошли философские, лирические стихотворения, стихи из цикла «Военная тетрадь», а также поэма «Перекрестье». Сам автор говорит о новой книге так: «Этот сборник, как и предыдущие, думаю, и есть очередная моя расчётная книжка... Подтверждение факта, как подростковая надпись на стародавней достопримечательности: "Здесь был я" ...».





Иркутская область. Энциклопедия для самых маленьких / [составитель Е.Ю. Чечельницкая; художник А.В. Свинаярева]. — Иркутск : Принт Лайн, 2022. — 56 : ил.

Эта книга познакомит жителей региона с их малой родиной. Большую часть издания занимают красочные рисунки художника-иллюстратора Анастасии Свинаяревой. Рассматривая их, маленькие жители области узнают, как на территории Прибайкалья жили первобытные люди и кочевые племена, чем отличаются национальные костюмы коренных народов, что такое тайга, и какие богатства хранит в себе иркутская земля. Книга предназначена для чтения взрослыми детям дошкольного возраста и самостоятельного чтения детьми младшего школьного возраста.

Сумочка к ребру



СТЕПАН ПРАВДУРUBСКИЙ

Литературные пародии

Вдохновение

Вот что-то выплывает изнутри,
Само себе там что-то говорит,
Чего-то там под нос себе бормочет.
Я чувствую, внутри меня горит,
Внутри меня избыток, безлимит.
Но я не знаю, как мне с этим быть...

И комкаю исписанный листочек.

Лидия Шаркунова

Процесс

Внутри меня сложился безлимит.
Наружу рвется, пламенем горит.
Заталкивать обратно нет причины.
Появятся ведь новые кручины.

Подброшу внутрь я скомканный листок.
Пусть пламя поджигает кровоток.
Я в пламени готовлю борщ, котлеты,
Словесный мусор и стихов скелеты.

Пусть не волнуется родное МЧС,
Все это поэтический процесс.

Август

Август поздний. Речь сырая,
Приближает к сентябрю.
Говорить о чем не знаю,
Но о чем-то говорю.
День выходит из потемок
Смутной речи невопад.
Хода мысли не раскусит,
И покрутит у виска...
Лето нос прощально куксит,
Увядание. Тоска.

Лидия Шаркунова

Тоска

Увядание. Тоска.
Словно пуля у виска.
Словно вышел из потемок
Незадачливый свиненок.
Он торопится на склад.
Стать котлетой будет рад.
Ухмыльнется, повернется,
И над нами посмеётся,
Бросит рифму под кровать.
Не достать и потерять.
Речь сырую мне не съесть,
Полулежа полусесть...

**120 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ
ГАВРИИЛА КУНГУРОВА**



